АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1985

СОДЕРЖАНИЕ

Десницкая А. В. (Ленинград). Я. Гримм о структурных функциях вокалических чередований (К 200-летию со дня рождения) 3
Степанов Ю. С. (Москва). Герундивы и имена действия в древнейшем строе индоевропейского предложения 13

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Шмальштиг У. Р. (Пенсильвания, США). Эргативность в индоевропейских конструкциях со сказуемым в форме аориста медия 25
Боголюбов М. Н. (Ленинград). Хорезмийские календарные глоссы в «Хронологии» Бируни. II 35
Абаев В. И. (Москва). Parerga I. «Синее вино» в «Слове о полку Игореве»; Русский гидро-, топоним *Орша* 40
Мартынов В. В. (Минск). Глоттогенез славян. Опыт верификации в компаративистике 43
Филичева Н. И. (Москва). Языковая общность как лингвистическое понятие 55
Жеребков Б. А. (Москва). Коммуникативная модель как комплексный метазнак 63
Александрова О. В. (Москва). Некоторые вопросы логики, методологии и философии языка 70

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Кожин А. Н. (Москва). Новые явления в русском языке периода Великой Отечественной войны 77
Шимчук Э. Г. (Москва). О процессах архаизации лексики русского литературного языка XI—XVII вв. 88
Кобозева И. М. (Москва). О границах и внутренней стратификации семантического класса глаголов речи 95

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Первый зарубежный отзыв на «Словарь Академии Российской» (1789—1794) . . 104

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Исаев М. И. (Москва), Токазов Х. А. (Орджоникидзе). Осетинское языкознание: становление и задачи 111
Пшеничнова Н. Н. (Москва). Русская диалектология: итоги и перспективы 123

Рецензии

Щербак А. М. (Ленинград), Галимова Г. А. (Москва), Хакимзянов Ф. С. (Казань). Татар теленең ацлатмалы сүзлеге. Өч томда 133
Белкин В. М. (Москва). Lehrbuch des modernen Arabisch 136
Журковский Б. В. (Москва). *Воронин С. В.* Основы фоносемантики . . 139
Чекмонас В. Н. (Вильнюс). *Мартынов В. В.* Язык в пространстве и времени. К проблеме глоттогенеза славян 142
Кириллова Н. Н. (Ленинград). *Черданцева Т. З., Рецкер Я. И., Зорко Г. Ф.* Итальянско-русский фразеологический словарь 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 148
Указатель статей, опубликованных в 1985 г. 151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания», тел. 202-99-97

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1985 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

Я. ГРИММ О СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЯХ ВОКАЛИЧЕСКИХ ЧЕРЕДОВАНИЙ

(К 200-летию со дня рождения)

В истории языкознания с именем Якоба Гримма обычно связывается открытие закона передвижения согласных в германских языках, который иногда даже именуется «законом Гримма». Сформулированный на основе систематизации ряда наблюдений, некоторые из которых делались и ранее, закон этот сразу приобрел значение, далеко выходившее за пределы германистики. Явившись первой констатацией закономерности звуковых соответствий между родственными языками, он был призван содействовать выработке научного метода сравнительного языкознания, делавшего в начале XIX в. свои первые шаги. Более того, открытие «закона» оказывалось заявкой на определенное направление развития языкознания как научной дисциплины, претендовавшей на точность методов исследования и имевшей дело не с хаотической массой разрозненных фактов, но с системой явлений, которым присущи особые закономерности.

Непосредственный и очень значительный по своим научным результатам эффект этого открытия оставлял в тени другие теоретически важные положения, содержавшиеся в Немецкой грамматике Я. Гримма [1]. В частности, это относится к вопросам, связанным с характером и структурной ролью звуковых чередований, теория которых была также впервые создана Я. Гриммом.

В качестве элементарных основ германистики обычно усваиваются сведения о том, что Я. Гримм создал термины «аблаут» (Ablaut), «умлаут» (Umlaut), «преломление» (Brechung), естественно, в связи с описаниями соответствующих явлений, развернутыми в его Немецкой грамматике. Однако мало кто задумывается над тем, каким научным достижением были определение характера всех этих явлений, систематизация их роли в структурах отдельных германских языков, описание динамики их существования в отдельные исторические периоды. Все это надо было проследить, описать, обобщить, осмыслить с точки зрения определяющих закономерностей, а также структурных функций различных видов вокалических альтернаций, составляющих характерную особенность германских языков. Иначе говоря, надо было создать теорию. И такая теория последовательно создавалась Я. Гриммом.

Хотя концепция вокалических чередований была разработана Гриммом только на материале германских языков, лишь с некоторыми экскурсами в область общей индоевропеистики, значение ее выходило за пределы собственно германистики. Если говорить о началах морфонологии как особой лингвистической дисциплины, то справедливость требует упоминания о наблюдениях и обобщениях Я. Гримма.

Проблема вокалических чередований занимает большое место в Немецкой грамматике, и последовательная ее разработка проходит сквозной линией через прижизненные издания этого фундаментального труда. Единственный том первого издания, вышедший в 1819 г., был построен именно как грамматика в собственном смысле слова, включив в себя только описание системы словоизменения и функций частей речи. Примечательной чертой уже в этом первом варианте явилось сравнительное изложение материалов всех германских языков, преимущественно в их древ-

них состояниях. После теоретически важного Введения, содержавшего критику предшествующих грамматик, обоснование метода грамматики исторической, а также обзор источников по всем древним германским языкам, в основной части тома изложение строилось в традиционном порядке следования разделов: 1) Склонение существительных, прилагательных, числительных, местоимений; 2) Спряжение. Раздела о звуках не было, однако при изложении систем склонения и спряжения уже были даны сведения о морфологическом использовании фонетических чередований — умлаута и аблаута. Так, в разделе «Пояснения к склонению существительных в немецком языке» читаем: «В немецком склонении используются два основных средства: присоединяющиеся окончания и обусловленный умлаут. Но так как последний не выступает сам по себе, а только лишь кажется иногда самостоятельным [явлением] и собственно обусловлен окончанием, то именно употребление окончаний следует считать истинной закономерностью, полностью определяющей склонение» [1, с. 131]. И далее Гримм указывает, что умлаут обнаруживается не всегда и не во всех германских языках и что, в частности, он отсутствует в готском.

Таким образом, отведя умлауту роль одного из формальных средств, используемых в построении системы именного склонения в немецком языке, Гримм сразу же существенно ограничил его роль указанием на сопутствующий характер умлаута как грамматического средства и на его обусловленность фонетическим составом окончания (речь идет о влиянии гласного *i* в окончании на гласный *a* корневого слога).

Можно заметить, что уже в своем первом опыте составления историко-сравнительного описания грамматического строя германских языков Гримму удалось сформулировать основы фономорфологического подхода к явлению умлаута — учтены не только его фонетическая обусловленность, но и степень его функционального использования в качестве грамматического средства. При описании склонения в отдельных германских языках Гримм подчеркнул своеобразие развития умлаута в древнесеверном (т. е. в древнеисландском), проявлявшееся не только в интенсивности проведения перегласовки корневого *a* под влиянием гласного *i* в окончании, но также и под влиянием гласного *u*, например, в форме дат. п. мн. ч.: *dögum* [*dǫgum*], *mögum* [mǫgum] и др. [1, с. 168—169].

В отношении склонения в средневерхненемецком языке Гримм специально обратил внимание на то, что, хотя в падежных окончаниях уже не было гласного *i*, вызывавшего переход *a* в *e*, умлаутированный гласный в корневом слоге продолжал сохраняться и более того, обнаруживался также переход *o* > *ö*, *u* > *ü*. И в этой связи Гримм говорил о значительной «свободе» языка в отношении использования или неиспользования умлаута, находившейся, как он полагал, «в тесной зависимости от все возраставшей склонности языка к тому, чтобы полностью отбросить окончание *e*» [1, с. 176].

В главе, посвященной общей характеристике германского спряжения, Гримм очень решительно высказал развивавшуюся им в дальнейшем мысль о том, что аблаут — это структурное явление, определяющее основную систему построения глагольных форм, а также связанное с глаголом словообразование.

Гриммом была категорически отвергнута традиционная для старых немецких грамматик оценка аблаутных глаголов как «неправильных» [1]. Наоборот, он усматривал в этих глаголах высшую степень упорядоченности, в которой, как он полагал, проявилось действие «языкового духа». Представляя себе древнейшую германскую систему спряжения по образцу готской, Гримм отметил также значение удвоения корневого слога как второго после аблаута средства построения «сильных», т. е. основных и древнейших глаголов, которым он противопоставлял «слабые» — производные и имеющие более позднее происхождение. Эти положения, изложенные Я. Гриммом в первом варианте его большого труда, развивались

[1] Почти столетием ранее аналогичная точка зрения получила развитие в труде голландского ученого Л. Тен Кате [2].

и углублялись им в процессе дальнейшего изучения и описания грамматической структуры германских языков.

Вариант 1819 г. остался предварительным наброском широко задуманной Немецкой грамматики, полное издание которой начало выходить в 1822 г. Первый том этого издания открывался специальным разделом «О буквах» («Von den Buchstaben»). Мне представляется упрощенным нередко высказываемое мнение о том, что Я. Гримм будто бы еще не достиг понимания различия между «звуком» и «буквой». Такое суждение о тонком лингвисте, каким был Гримм, по меньшей мере наивно. Заглавием «О буквах» он скорее всего хотел подчеркнуть принадлежность соответствующего раздела к грамматике в собственном смысле слова. Грамматику он понимал как дисциплину, рассматривающую значимые формы и образующие их значимые звуковые элементы; соотношениям между этими элементами, выражающимся в закономерных чередованиях, он отводил очень большую роль при изучении внутреннего строя германских языков.

Говоря о «подразделениях букв» (Einteilungen der Buchstaben) и пользуясь термином «вокализм», Гримм подчеркнул особое положение вокализма в германских языках, в которых этот последний имеет «особенно глубокую значимость» (besonders tiefe Bedeutung) [3, с. 4]. При этом он указал на важность вокализма не только для грамматики, но и для этимологических исследований, т. к. признание регулярных соотношений между огласовками позволяет сделать «наиболее надежные и содержательные выводы касательно происхождения слов и их производства (Ableitung)» [3, с. 5]. Весьма существенным следует считать сделанное Гриммом краткое замечание о необходимости четко различать «между значением и историей гласных в корне слова и в окончаниях» [3, с. 5], а также учитывать значительную степень изменяемости гласных в окончаниях.

Останавливаясь специально на явлениях умлаута, Гримм во втором варианте Немецкой грамматики большее внимание уделил фонетической стороне вопроса. Исходной позицией для него явилось предложенное им подразделение гласных на «чистые» (reine) или «густые» (dichte) и «замутненные» (trübe) или «тонкие» (dünne). К первым он отнес *a*, *o*, *u*, ко вторым *e*, *ö*, *ü*. Гласный *i*, не способный, как он полагал, к «замутнению» (Trübung), занимает промежуточное положение. Умлаут Гримм определил как «замутнение гласного корня, причиняемое последующим гласным» [3, с. 9]. Способностью вызывать умлаут обладают гласные *i* и *u* (последний только в древнеисландском). Действие умлаута может сохраняться и после отпадения вызвавшего его гласного (versteckter Umlaut). Следовательно, «каждый умлаут предполагает существующую или, по меньшей мере, ранее существовавшую двусложность слова; *i* или *u*, действуя из второго слога, вызывают умлаут внутри корня» [3, с. 9].

С исторической стороны Гримм характеризует умлаут не как первоначальное и общее для германских языков явление, но как явление, возникающее позднее и по-разному развивающееся в отдельных языках. И именно с этой точки зрения он противопоставляет умлауту аблаут, определяемый им как «присущее всем германским языкам существенное соотношение различных вокалических чередований». И далее: «В результате действия определенных закономерностей, вплетенных во внутреннее строение нашего языка, гласные звуки (Vokallaute) самих корней сменяют друг друга без какого-либо воздействия со стороны окончаний» [3, с. 10].

В главе о спряжении специально подчеркнута роль аблаута как средства (наряду с удвоением) образования сильного претерита, который Гримм выразительно характеризовал как «главное украшение» (Hauptschönheit) немецкого языка [3, с. 836].

Во втором томе Немецкой грамматики, вышедшем четырьмя годами позже, Гримм снова обратился к вопросу о роли аблаута в строе германских языков, на этот раз в связи с темой словообразования. В предисловии к этому тому он подчеркнул мысль о том, что «основная форма нашего сильного спряжения пронизывает собою все остальные типы образования слов» [4, с. 8]. Далее Гримм старается обосновать свой тезис о тесной взаи-

мосвязи, существующей между аблаутом и природой корней. Он подчеркивает «вероятность того, что как между корнями и основным принципом (Grundsatz) аблаута, так и между аблаутом и природой корней существует определенная общность. Все это соотношение надлежит показать с помощью отдельных фактов» [4, с. 8].

Средством обоснования этого тезиса явилась развернутая во втором томе Немецкой грамматики попытка классифицировать древнегерманский корнеслов, распределив его по трем разрядам: 1) сохранившиеся сильные глаголы; 2) утерянные сильные глаголы; 3) «осиротевшие», т. е. изолированные корни (verwaiste Wurzeln). Установленные Гриммом 74 лексических гнезда представляются во многом спорными с точки зрения современного уровня этимологических исследований, особенно если учесть несоответствие гриммовской реконструкции формулы аблаута позднее установленной научной интерпретации закономерностей индоевропейского вокализма. И тем не менее концепция аблаута, развернутая в Немецкой грамматике Я. Гримма, интересна как смелая попытка определения общих структурных принципов взаимосвязи фонетических и морфологических явлений, характерных для внутреннего строения германских языков. «Господство над корнями аблаутного принципа» (die Herrschaft des ablautenden Prinzips über Wurzeln) было, как полагал Гримм, свойственно древнейшей структуре германского формо- и словообразования.

Следующим шагом в развертывании концепции Гримма было обращение к семантике. Исследование «анатомии формы» (die Anatomie der Form) должно быть, как он полагал, дополнено обращением к значению, которое является «душою слов» (die Seele der Wörter). Надлежит обнаружить след «тайных ходов и различений языкового духа» («geheimen Gängen und Unterscheidungen des Sprachgeistes auf die Spur geraten») и связать изучение формы с принципами образования значений, проследив «превращения материи и смысла» (Verwandlungen des Stoffs und des Sinns), на взаимопроникновении которых основывается в конечном счете богатство языка [4, с. 77—78].

Обрисовав эту общую перспективу семантического исследования, в решении конкретного вопроса о значениях, связанных с отдельными ступенями аблаута, Гримм, естественно, не мог продвинуться дальше констатации их соотнесенности со значениями времени, числа и наклонения в системе рядов германского сильного глагола.

В предисловии к третьему изданию Немецкой грамматики Гримм писал: «После восемнадцатилетнего перерыва... я заново обрабатываю широкое поле немецких звуков и флексий (теперь уже в последний раз)» [5, с. XI]. В этом очень содержательном тексте отразились глубокие раздумья автора относительно путей исследования языкового материала. С одной стороны, Гримма привлекал филологический путь, ориентированный на изучение литературных памятников и через них открывавший возможность постижения содержательной стороны языковых форм. Но, с другой стороны, Гримм видел и оценивал важность для науки другого пути — пути проникновения во внутреннее строение языка, исследования, при котором именно познание самого языка является непосредственной целью. В соответствии с идеями сравнительного языкознания, получившими развитие к середине XIX в., он считал возможным сопоставлять методику лингвистического исследования звуков и форм родственных языков с методами расчленения и сравнения явлений, применяемыми в сравнительной анатомии. И в этой связи он решал очень важный для всей его историко-грамматической концепции вопрос об отношении германистики как специальной лингвистической дисциплины к индоевропейскому сравнительному языкознанию. Гримм полагал, что было бы нелепо отрицать или умалять преимущества, которые для изучения германских языков дает сравнение с фактами других родственных языков, т.к. оно позволяет лучше понять и объяснить «собственное языковое достояние, а также перекинуть мост к далеким временам и странам, с которыми было некогда связано его [языка] прошлое». Однако Гримм считал неразумным преувеличивать значение принадлежности германских языков к древнейшему язы-

ковому единству при изучении живого своеобразия их строения. Он усматривал преимущество изучения немецкого и других непосредственно родственных ему языков в том факте, что «теория их форм еще твердо не сложилась и что лишь недавно начались попытки их исторической интерпретации». Отсутствие установившейся грамматической традиции создает возможность, как он полагал, более гибкого подхода и концентрации внимания в первую очередь на том, что составляет своеобразие этих языков. «Именно этим путем,— заключил свое рассуждение Гримм,— я шел в интерпретации аблаута» [5, с. XV]. Скрытым подтекстом этого заявления была полемика с Фр. Боппом, подвергшим критике гриммовскую концепцию аблаута с точки зрения сравнения ее с древнеиндийской схемой вокалических альтернаций [6].

Примечательно следующее программное заявление Я. Гримма, в котором он со всей определенностью подчеркнул свое убеждение относительно своеобразия, присущего каждому языку, а также требование исторического подхода при изучении языковых фактов: «Каждый язык стоит на своих собственных ногах и сам себе предписывает законы; однако только история открывает нам тихую связанность (den stillen Zusammenhang) нашей современности с древностью, открывает причины возникновения нынешних правил из совершенно иных, более ранних» [5, с. 2]. В атмосфере всеобщего увлечения открывшейся перспективой индоевропейских реконструкций, с непременным обращением к грамматике санскрита, по образцу которой в середине XIX в. представлялось строение праязыка, Я. Гримм настойчиво и уверенно отстаивал право обоснования собственной оригинальной концепции структурных особенностей германских языков. В первую очередь это касалось, как он сам признавал, проблем вокализма.

В разделе, озаглавленном «Учение о звуках» (Lautlehre), Гримм изложил свою теорию первоначальной «органической» троичности основных кратких гласных (Grundvocale) *a*, *i*, *u*, схематически изобразив ее в виде треугольника. В расширенный вариант этой схемы включены также: гласный *e*, помещенный между *a* и *i*, и гласный *o* — между *a* и *u*, которые Гримм считал возникшими в результате «преломлений» (Brechungen). Совершенно ясно, что исходной моделью для Гримма послужил вокализм готского языка. Дополнительную аналогию давала также схема древнеиндийского вокализма, установленная в индийской грамматической традиции и отразившая характерную для древнеиндийского языка утрату различия между тремя индоевропейскими краткими гласными (**e*, **o*, **a*).

Основная формула индоевропейского аблаута (**e* : **o*) в то время еще не была выделена, а обращение к фактам греческого языка не казалось достаточно убедительным. Роль сонантов в построении формул аблаута также, естественно, еще не могла быть учтена. Поэтому не приходится удивляться тому, что Гримм построил свою схему рядов аблаута сильных глаголов, основываясь прежде всего на материале самих германских языков, из которых готские, поражавшие своей структурной упорядоченностью, представлялись ему в наибольшей мере отражающими исходное состояние.

К сравнению с чередованиями гласных в других индоевропейских языках Гримм обращался и ранее, причем наиболее сходными с германскими ему казались греческие формы. Однако в новом издании Немецкой грамматики он нашел нужным специально остановиться на отличиях германского аблаута от древнеиндийских вокалических чередований, обозначенных в индийских грамматиках термином «гуна». Вопрос этот был полемически поставлен Боппом, и Гримм отвечал на его критику с позиций собственной концепции. Сущность спора состояла в том, что, в отличие от Боппа, который доказывал чисто фонетическую обусловленность смены огласовок в древнеиндийских формах соответственно «тяжестью» или «легкостью» окончаний и предполагал аналогичную фонетическую зависимость также и для германских аблаутных форм, Гримм считал аблаут чисто «динамическим» явлением, существующим в качестве средства выражения глагольных значений, вне какой-либо связи с фонетическим

окружением. Он полагал, что аблаут, развившийся как организующий принцип глагольного формообразования, в дальнейшем превратился в общий закон структуры германских языков, в чем и заключается ее своеобразие. «Для истории немецкого языка и для определения его сущности,— писал он,— вряд ли можно выделить более важное явление, чем подвижные и гибкие соотношения гласных звуков, образование которых, выходя за временные пределы наших древнейших письменных памятников... до сих пор сохраняет свой неизменяемый тип» [5, с. 574].

В отношении явлений умлаута, который теперь был лаконично определен как «воздействие на гласный корня гласного последнего слога» [5, с. 553], в новом издании Грамматики снова был подчеркнут факт его функционального использования в структуре германских языков, в особенности немецкого: «первоначально лишь сопровождая флексию, в нововерхненемецком языке он почти превратился во флективный принцип» [5, с. 554]. При этом, конечно, было указано на относительно позднее появление и постепенность развития, а также на неодинаковую степень распространения этого явления в отдельных германских языках.

Гримм считал роль умлаута в структуре немецкого языка более значительной, чем роль «преломления» и других звуковых явлений. «Но все эти изменения гласных,— писал он,— совершаются на поверхности языка», они «не проникают собственно в построение корней», в отличие от «закона аблаута, который ведет нас во внутреннюю мастерскую языка и позволяет проникнуть взглядом в его глубочайшие тайны» [5, с. 556]. И тем не менее Гримм признавал, что в немецком языке роль умлаута существенно изменилась и он превратился из чисто фонетического явления в одно из используемых языком флективных средств. Если переформулировать содержание концепции звуковых чередований в германских языках, последовательно развивавшейся Я. Гриммом от издания к изданию его Немецкой грамматики, в терминах современных лингвистических понятий, то можно сказать, что это было открытие одного из определяющих признаков языковой структуры германских языков. Уже в ранних изданиях наметились подходы к этому открытию. В последнем издании, первый том которого появился в 1840 г., а также в Истории немецкого языка [7] Я. Гримм изложил свою теорию структурной роли вокалических чередований с полной определенностью, хотя и в характерной для него романтической манере выражения. С этой точки зрения интересны следующие его мысли, высказанные в первом томе 3-го издания Немецкой грамматики: «...существует удивительная взаимосвязь между законами звуков (Gesetze der Laute) и флексиями» [5, с. 21]. «В аблауте я усматриваю подлинную жизнь, иначе говоря, дыхательную силу немецких корней; в этой приятной смене гласных выражается полнота нашего вокалического благозвучия» [5, с. 35]. Аблаут — это важнейший вокалический закон, «проникающий в самое внутреннее ядро (ins innerste Mark) отношений между словами... Образуются определенные ряды, в соответствии с которыми закономерно чередуются по меньшей мере два, обычно три, иногда даже четыре гласных звука внутри одного и того же слова» [5, с. 34—35]; «...господство аблаутного принципа простирается не только на корни. Я думаю, что мне удалось показать, что с его формулами также непосредственно связаны гласные именных и глагольных флексий, как и типы словообразования» [5, с. 35].

Признавая наличие аблаута также в греческом языке, Гримм подчеркивает особенную силу и закономерность его проявления именно в германских языках. «Греческий и еще решительнее германский аблаут, разросшись, превратились в общую закономерность, охватывающую спряжение и словообразование» [5, с. 577—578]. Даже если согласиться с тем (Гримм частично был готов уступить критике, исходившей от Боппа), что при возникновении его определенную роль могли играть фонетические условия, «то в дальнейшем языковой гений не мог не воспользоваться преимуществом, которое давало звуковое чередование внутри корня для выражения темпоральных и модальных значений» [5, с. 578].

Может показаться, что Гримм чрезмерно увлекся, считая аблаут

основной закономерностью, определяющей всю структуру древнегерманского корнеобразования. Вероятно, именно так это воспринималось современниками, а в дальнейшем представителями младограмматического позитивизма, с их атомизирующим подходом к истории звуков и форм, в которой они видели лишь рядоположенность отдельных причинно-следственных линий развития и корректирующих их процессов аналогического выравнивания. Романтик Я. Гримм стремился к познанию общих закономерностей, определяющих структуру целого, иначе говоря, системы, и в этом отношении его понимание структурной роли германского аблаута в известной мере предвосхищало исследования строения индоевропейского корня в трудах компаративистов нового времени. Прозрения Гримма основывались, однако, скорее на острой научной интуиции, чем на систематическом изучении поставленной проблемы; методика его лингвистического анализа была еще очень далека от современного подхода к закономерностям индоевропейского вокализма.

Жизненность древнего аблаутного принципа Гримм усматривал, в частности, в явлении экспрессивных звуковых повторов, характерных для современной немецкой разговорной речи. «Я считаю древним и значительным следующее явление, которое до сих пор еще у нас в ходу. Когда мы, особенно в ходе живого и доверительного рассказа, образуем с помощью удвоения существительные и междометия или раздельно повторяем один и тот же корень, то мы пользуемся гласными *i*, *a*, иногда *i*, *a*, *u*, т. е. чередованиями, идущими из первого или второго глагольных спряжений: *wirrwarr*; *klingklang*; *singsang*; *tischtasch*; *ripsraps... klippe klappe ... frau kitze*, *frau katze...*» [5, с. 562].

Древний индоевропейский аблаут Гримм рассматривал как фономорфологическое явление, продолжающее быть релевантным для структуры позднейших германских языков, и соотносил с ним более поздние вокалические чередования, включившиеся в одну общую с аблаутом систему. В третьем издании Немецкой грамматики он снова подчеркнул структурную роль умлаута, приобретенную им в немецком языке нового времени. Так, например: «Новонемецкий умлаут выступает как необходимое для флексии вспомогательное средство, тогда как ранее он лишь сопровождал ее» [5, с. 96]. И в другом месте: «В древнем языке он сопровождал флексию, лишь случайно оказывая воздействие на гласный корня; в новом языке он стал почти необходимым, помогая замещать утерянные флексии» [5, с. 578].

Взгляд на аблаут, умлаут и преломление как на элементы установившейся в новонемецком языке единой системы функционально значимых вокалических чередований отчетливо выражен в «Истории немецкого языка»: германский аблаут «развернулся в удивительный закон, управляющий флексией всех сильных глагольных корней и от них распространившийся на другие части языка. Преломление и умлаут, которые первоначально имели только фонетическое значение, также стали необходимыми рычагами флексии. В сравнении со всеми другими диалектами это направление развития отчетливее всего проявилось в немецком языке» [7, с. 204].

Из приведенной формулировки с полной ясностью следует, что называя аблаут «законом», Гримм не имел в виду закономерности звуковых изменений, проявляющихся в диахронии, но имел в виду закон-формулу, согласно которой значимые элементы (в данном случае — глагольные основы) как бы самоорганизуются в определенную систему. В более строгом виде эта мысль сформулирована в Истории немецкого языка: «Аблаут — это динамическое применение вокалического закона к древнейшим глагольным корням, имеющее своим результатом выявление различия между настоящим и прошедшим временами в чувственной полноте (in sinnlicher Fülle). Именно потому, что он включает в себя все соотношения гласных, он коренится во внутреннем основании языка. С ним связаны благозвучие и притягательная сила (zutrauliche Gewalt) нашей речи» [8, с. 587]. И далее: «Язык настолько пронизан аблаутом, что, можно сказать, отдельные слова сами собой в него устремляются (von selbst in ihn rinnen)...» [8, с. 597].

Собственно говоря, Гриммом был открыт один из законов языковой формы, проявившийся в историческом развитии языковой структуры германского типа.

Теория вокалических чередований Я. Гримма, если ее понимать как определение высокой степени морфонологизма, характерной для строя германских языков, содержала в себе теоретически важное открытие организующей роли внутренних структурных факторов, проявляющейся в процессе формирования и исторического существования языковых систем. Открытие это не было оценено последующей наукой подобно тому, как до сих пор не привлекли к себе должного внимания интересные мысли, высказанные Э. Сепиром более 50 лет тому назад. Напомню некоторые из высказываний Сепира, сохраняющие, как я полагаю, свою теоретическую значимость: «И фонетическая и концептуальная структурность языка обнаруживает его инстинктивное тяготение к форме» [9, с. 44]; «...мы не можем не умозаключить, что языковая форма может и должна изучаться со стороны типов моделирования, независимо от ассоциированных с ними функций. Мы тем более вправе прибегать к такого рода методу, что все языки обнаруживают любопытную тенденцию к развитию одного или нескольких грамматических процессов за счет других...» [9, с. 47]; «...мы выяснили, что у каждого языка есть своя внутренняя фонетическая система, отвечающая определенной модели. Теперь же мы усматриваем, что у каждого языка есть определенное ощущение модели и в области грамматического формообразования. Обе эти скрытые в языке и властно его направляющие к определенной модели тенденции действуют как таковые, безотносительно к потребности выражения тех или других понятий и к задаче внешнего оформления тех или других групп понятий. Само собой разумеется, что эти тенденции могут реализоваться только в конкретном функциональном выражении. Ведь для того, чтобы сказать каким-то определенным образом, мы прежде всего должны иметь, что сказать...» [9, с. 48]. И наконец: «В основе каждого языка лежит как бы определенный чертеж,... у каждого языка есть свой особый покрой. Этот тип, или чертеж, или структурный „гений“ языка есть нечто гораздо более фундаментальное, нечто гораздо глубже проникающее, чем та или другая нами в нем обнаруживаемая черта. О природе языка мы не можем составить себе точное представление при помощи простого перечисления различных фактов, образующих его грамматику» [9, с. 94]. Интересно, что Э. Сепир иллюстрировал свои общие соображения относительно самодовлеющего характера законов формального строения языков фактами взаимодействия отдельных типов вокалических чередований в германских языках.

Если в изучении различных типов конфигурации фонологических систем было многое достигнуто за последние 50 лет, если типы просодических систем всегда признавались в качестве факторов, оказывающих влияние на морфологическое строение языка, то в отношении самих морфологических характеристик, в особенности в том, что касается языков флективного типа, состояние исследований, как это ни покажется парадоксальным, в сущности не очень далеко ушло от уровня классификаций XIX в. В этих классификациях флективный синтетизм древних индоевропейских языков рассматривался в сопоставлении, с одной стороны — с изолирующим и агглютинативным типами, с другой стороны — с аналитизмом части новых языков индоевропейской семьи.

Внутренние закономерности исторического существования флективных структур в сущности мало изучались, если не считать специальных разработок Н. С. Трубецкого и его последователей в области морфонологии славянских языков [10, 11].

Возвращаясь к проблеме морфонологизма, который еще Я. Гриммом был открыт в качестве одной из закономерностей формального строения германских языков, следует, заметить, что материалы отдельных языков индоевропейской семьи далеко не в равной мере релевантны в отношении роли этого структурного фактора. В частности, славянские языки, исследованные в этом плане Н. С. Трубецким, обнаруживают довольно ограниченное морфологическое использование фонологических различий,

хотя количество и разнообразие формул звуковых чередований в них относительно велико.

Есть языки, в которых морфологическое использование фонологических оппозиций менее широко в количественном отношении, чем в славянских, но однако играет большую роль в строении парадигм. Наоборот, есть языки, в которых такое использование является минимальным или вовсе отсутствует. Наконец, есть языки, для морфологической структуры которых характерна особенно высокая степень грамматизации чередования. Ясно, что с изучением каждого из этих структурных типов связаны свои особые аспекты теории морфонологии.

Наибольший интерес для общей теории морфонологии представляют языки с более высокой степенью морфологизации фонологических оппозиций, т. е. с высоким уровнем морфонологизма в качестве принципа структурной организации. К этому типу относились древнегерманские языки, а из новых германских — немецкий. Из других новых индоевропейских языков особое место в этом отношении занимает ирландский. Очень примечателен своим морфонологизмом албанский язык, для которого характерно морфологическое использование как вокалических, так и консонантных чередований [12]. Факты албанского языка разнообразят наши представления о возможных путях образования флективных способов словоизменения. Оказалось, что в процессе регенерации флексий, совершавшемся в древнеалбанский период, морфологическое использование возникавших в языке новых фонологических оппозиций и фонетических чередований играло очень существенную роль. Как показало специальное исследование [13], происхождение некоторых флективных формантов в парадигмах именного и глагольного словоизменения связано с фономорфологическими процессами. Строгая упорядоченность парадигм албанского именного склонения, детерминированная фономорфологическими условиями, может быть сопоставлена с некогда образовавшейся упорядоченностью фономорфологических разрядов сильных глаголов в древнегерманских языках, т. е. с систематизацией рядов германского аблаута, которая явилась важной морфологической инновацией на пути развития от общеиндоевропейского состояния к древнегерманскому. Древнегерманская система рядов сильного глагола представляла собой проявление высокой степени морфонологизма, выразившееся в создании целой серии изоморфных парадигм — на основе комплементарной дистрибуции вариантов индоевропейской схемы аблаута, в зависимости от фонетического состава глагольных основ.

Можно предполагать, что роль морфонологических процессов в образовании языковых структур флективного типа была более значительной, чем это до сих пор учитывалось. И в этом отношении «романтические» прозрения Я. Гримма заслуживают более пристального внимания.

Закончив на этом рассмотрение непосредственной темы данной статьи, остановлюсь еще на одном вопросе, возникающем в связи с теорией вокалических чередований Я. Гримма. При этом воспользуюсь случаем высказать некоторые мысли, возникшие у меня в процессе изучения лингвистических теорий первой половины XIX в. Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что авторы их были отнюдь не столь наивны, как мы часто склонны повторять за позитивистами конца прошлого столетия, иногда прямо высмеивавшими их с позиций так называемого «здравого смысла» (вспомним хотя бы известное высказывание И. А. Бодуэна де Куртенэ о лингвистических взглядах А. Шлейхера).

В наиболее романтически окрашенных и кажущихся наивно-субъективными формулировках Я. Гримма не раз встречаются оценки явлений аблаута с их эстетической стороны. Он говорил о благозвучии, о динамической силе, привносимой в язык аблаутными чередованиями, называл сильный претерит «главным украшением» немецкого языка и т. п. В сущности все это относится к оценочной характеристике закономерностей языковой формы, к которым можно добавить наблюдаемые в различных языках явления изоморфизма, определенного рода симметрии, связанные с наличием релевантных звуковых чередований, звуковых повторов, даже

если за ними не закреплены определенные грамматические функции, наконец, законы сингармонизма.

Принцип эстетической оценки формальных явлений, образующих структуры языков в их особенности и неповторимости, но также, возможно, и в их соответствии определенным типологическим моделям, не может, разумеется, ограничиваться сферой фономорфологии. Он может быть распространяем на все, что относится к области языковой формы, т. е. быть применен к любым формальным элементам, слагающимся в регулируемые внутренними законами языковые структуры.

В этой связи приходит мысль о том, что для современной лингвистики, возможно, настала пора пересмотреть ставшее традиционным высокомерно-пренебрежительное отношение к теории «языковых организмов», выдвинутой на заре развития исторического языкознания и разделявшейся рядом выдающихся языковедов первой половины XIX в. Конечно, сравнение «языковых организмов» с природными допустимо лишь в известных пределах. Разумеется, не может быть даже речи ни о каких «законах старения» языков, «выветривания» и т. п. «Органичность» языка в понимании языковедов XIX в.— это подчиненная определенному структурному принципу строгая упорядоченность соотношения формальных элементов, составляющих конкретную языковую систему. И если в отношении поражающих своей красотой объектов органического мира эстетический подход представляется чем-то вполне естественным, то может быть не столь наивно и даже по существу не столь парадоксально было бы сравнение целесообразности и красоты форм естественного языка с целесообразностью и красотой форм развесистого клена, лошади или дельфина. Однако до сих пор не принято оценивать в эстетическом плане структуры естественных языков, не принято говорить о законах формы, определяющих внутреннюю гармоничность составляющих их элементов, которая проявляется на всех уровнях. Между тем такие моменты, как строгая выдержанность структурных признаков, богатство форм, избыточность грамматических показателей, или же, наоборот, доведенный до пределов лаконизм формального выражения — все подобные свойства естественных языков могли бы послужить материалом для разработки особого аспекта языкознания — эстетики языковых структур. Эстетические законы естественно сложившихся языковых форм, возможно, могли бы оказаться полезными при конструировании искусственных языков, подобно тому, как законы бионики принимаются в расчет при техническом конструировании. В целом, однако, вероятно придется примириться с тем, что эстетика искусственных языков вряд ли когда-нибудь сможет подняться выше эстетики, закладываемой в роботов.

Что касается обусловленных потребностями технического прогресса опытов формализации естественных языков, то это в сущности перевод изучения этих языков в совершенно иное измерение. Теория кодовых функций, присущих любой языковой системе, составляет определенный и, по-видимому, необходимый аспект современной лингвистической науки, но она не может и не должна подменить собой языкознание в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Tl. I. Göttingen, 1819.
2. *Ten Kate L.* Aenleiding tot de Kenisse van het verhevene Deel der niederduitsche Spraeke. Amsterdam, 1723, S. 544.
3. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Tl. I. 2-te Ausgabe. Göttingen, 1822.
4. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Tl. II. Göttingen, 1826.
5. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Tl. I. 3-te Ausgabe. Göttingen, 1840.
6. *Bopp Fr.* Vocalismus oder sprachvergleichende Kritiken über J. Grimm's grammatik und Graff's althochdeutschen Sprachschatz mit Begründung einer neuen Theorie des Ablauts. Berlin, 1836.
7. *Grimm J.* Geschichte der deutschen Sprache. Bd. I. Leipzig, 1853.
8. *Grimm J.* Geschichte der deutschen Sprache. Bd. II. Leipzig, 1853.
9. *Сепир Э.* Язык. М.— Л., 1934.
10. *Troubetzkoy N. S.* Sur la morphonologie.— TCLP, 1929, 1.
11. *Troubetzkoy N. S.* Gedanken über Morphonologie.— TCLP, 1931.
12. *Десницкая А. В.* Некоторые вопросы морфологии.— В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. статей к 70-летию акад. Н. И. Конрада. М., 1967.
13. *Десницкая А. В.* Морфонологические процессы в образовании вторичной флексии в албанском языке.— В кн.: Звуковой строй языка. М., 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

СТЕПАНОВ Ю. С.

ГЕРУНДИВЫ И ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ В ДРЕВНЕЙШЕМ СТРОЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Под условным названием «герундивы», или «деепричастия», выбранным исключительно для краткости, мы объединяем такие формы и.-е. языков, как латинские герундий и герундив, т. е. формы на *-ndo*, древнеиндийский абсолютив на *-am*, литовское деепричастие (pusdalyvis) на *-damas* и соответствующую латышскую форму и некот. др. Их происхождение и первоначальный морфологический состав, в особенности этимология суффиксальных элементов, остаются невыясненными. Например, возникновение латинских герундивных форм, являющееся, как известно, «белым пятном» латинской грамматики, породило огромную литературу, состоящую почти целиком из контроверз (см. из основных работ [1—3] и др.). По-видимому, морфологический подход к этой и аналогичным проблемам можно считать исчерпанным и не ждать на этом пути существенно новых решений. Такой вывод уже определенно наметился в ряде работ [2, с. 41; 4, с. 115; 5, с. 203].

Ниже делается попытка обрисовать синтаксический подход к морфологическим проблемам. Есть основания считать, что в основе образования названных форм лежат не морфологические и не словообразовательные, а синтаксические процессы, и что эти формы представляют собой синтагмы, закрепившиеся в определенном фиксированном наборе своих синтаксических показателей (т. е. применить тот самый подход, который, в частности, давно уже стал обычным при объяснении индоевропейских инфинитивов). Как индивидуальные материальные элементы эти показатели могут быть нетождественны в разных и.-е. языках, но они черпаются из одного и того же класса слов и их функции определяются одним и тем же строем предложения.

Уже полвека назад Э. Бенвенист выдвинул гипотезу, что латинский герундий-герундив разлагается на элемент **-do*, который присоединяется к глагольной основе, распространенной посредством **-en/-on* [6, с. 176]. Например, *oriundus* «происходящий из» состоит из **ori + on + do-*; *uoluendus* «вращающийся, возвращающийся» — из **uolu + en + do-* и т. п. Образование на **-en/-on* Э. Бенвенист определил как отглагольное имя с нерасчлененным, «медиальным» залоговым значением находящее соответствие в индоиранских, германских (инфинитивы на **-ono-*), греческом языках. В греческом, по Бенвенисту, ему соответствует инфинитив на -εν. Хотя последний трактуется обычно как инфинитив активного залога, это расхождение с латинским, по-видимому, легко объяснимо тем, что в греческом языке показатель -εν, оказавшийся в исходе слова, специализировался позднее, путем его противопоставления показателю медиального инфинитива -σθαι. Эта часть реконструкции Э.Бенвениста представляется хорошо обоснованной (ср. также ниже новую точку зрения Ж. Одри).

Что касается элемента **-do*, то Э. Бенвенист квалифицировал его как италийский суффикс и отождествил с латинским суффиксом **-d-* в образованиях прилагательных от непереходных глаголов: *tepidus* «тепловатый», *callidus* «искусный, ловкий», умбр. *kalersu*, *kaleřuf* и т. д. Однако здесь возникают два вопроса, на которые нельзя ответить, исходя из реконструкции Э. Бенвениста: 1) каким образом «суффикс» мог присоединяться к полному слову, «инфинитиву на *-en*», т. е. следовать после флексии?; 2) почему среди форм латинского отглагольного имени — герундия отсут-

ствуют формы номинатива, тогда как формы всех косвенных падежей представлены?

Эти вопросы получают ответ, если отождествить элемент, следующий за *-en/-en, с анафорической энклитической частицей, существующей самостоятельно в виде лат. *dum*. Ее первоначальным значением было, очевидно, просто подчеркивание говоримого: «вот это, здесь, в данный момент». Отсюда все ее остальные употребления в латинском: 1) с императивом и другими формами: *dicdum* (Плавт) «скажи же», *age dum* «ну же! делай же!», *quidum* (Плавт) «как же?»; 2) в сращении с другими частицами: *nondum* «еще нет», *neque dum satis* «еще недостаточно» и т. п.; 3) как союз «между тем как», «в то время как», «пока», «пока не», «лишь бы»; особенностью *dum* как союза является то, что при нем первоначально употреблялась только форма настоящего времени, каково бы ни было время всего высказывания, ср.: *dum haec in conloquio geruntur, Caesari nuntiatum est...* (Caes., Bel. Gal., I, 46, 1) «Пока эти вопросы обсуждались (букв.: обсуждаются), Цезарю сообщили...»; 4) как относительная частица в паре с *cum* (*quom*): *cum... dum* «когда... тогда». В латинском языке *-dum* может быть сопоставлено с другими энклитическими частицами — *-dam* (ср. *quīdam*), *-dem* (ср. *īdem*) [7, с. 187], и таким образом восстанавливается целая парадигма: *-dum*, *-dam*, *-dem*.

Полное соответствие последней обнаруживается в древнегреческом в виде параллельных суффиксов наречий *-δον*, *-δα*, *-δην* (дорийск., беотийск. *-δᾱν*), где *-δα* может соответствовать как лат. *-dam*, так и *-dum* (<*-dm̥*); *-δην* соответствует лат. **-dēm* > *-dĕm* (ср. аккузатив *rēm* > *rĕm*). Эти суффиксы присоединялись к первичным глагольным корням, в результате чего получались наречия-деепричастия со значением побочного действия или отглагольные имена со значением образа действия, характеризующие главное действие в самый момент его протекания (черта, свойственная также литовско-латышскому герундиву на *-dam-*, др.-инд. абсолютиву на *-am* и древнейшим латинским наречиям на *-tim*). Ср. от корня со значением «встать»: ἀναστᾰδόν «вставая, стоя»; от корня со значением «иметь(ся)»: σχεδόν «поблизости, рядом», где суф.-δον сам по себе выражает идею «совсем рядом» [8]: ...Μαρὶς δ'αὐτοσχεδὰ δουρὶ/Ἀντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθεὶς,/ στὰς πρόσθεν νέκυος (Ил., 16, 319) «Марис же, (находясь) телом к телу (врукопашную), бросился с копьем на Антилоха, вспыхнув гневом за брата; стал перед павшим».

Суффикс -δον является, по-видимому, первичным; возможно, что он был осознан как номинатив-аккузатив ед. ч., и в параллель к нему были подстроены суффиксы -δα, -δᾱν выступавшие в качестве аккузативов мн. ч. [9, с. 626]. Этот суффикс обнаруживается и в сложении с предшествующим элементом как -ινδον, -ινδα, -ινδην. Такие наречия специализировались для обозначения игр и различных юридических процессов: βασιλίνδα «игра в царя», φαινίνδα «игра в мяч» (от φαινεῖν «светить, являть»); ἀριστίνδην (юридич. термин) «выбирая наилучших» (от ἄριστος «наилучший») и т. п. При этом происхождение всего суффиксального комплекса представляется исследователям не поддающимся объяснению [10] (как и следовало ожидать, принимая во внимание исчерпанность морфологического подхода в таких случаях). Тем не менее элемент -ιν-, предшествующий здесь основному суффиксу, допускает включение в несколько систем соответствий:

1) Прежде всего греч. -ιν- может представлять старое -εν-, где -ε- испытало сужение под влиянием последующего носового. Такое явление отмечено для предлога аттич. ἐν, который в аркадо-киприотском диалекте стал ἰν; для причастия на -μενος, арк.-кипр. -μινος и т. д. [11]. Образование на **-en*, предшествующее «суффиксу», может быть, отождествлено с древнейшими греческими инфинитивами на -εν.

Ж. Одри показал, что такие греческие инфинитивы являются отглагольными именами в синтагме с другим именем с синтаксической функцией субъекта или объекта, причем первое имя лишено показателей падежа, а второе стоит обычно в дат. падеже и его показатель оформляет синтагму в целом (т. е. имеет место то, что мы предположили для частицы *-dum*,

-δον), ср. др.-инд. *índrāya pā́tave* «Индре (дат. п.) для питья (второй дат. п., но без формального показателя)»; *vṛtrā́ya hántave* «Вртре (для Вртры) для того, чтобы его поразить» [4, с. 115, 133]. (Нужно, впрочем, заметить, что греческие примеры Ж. Одри далеко не так однозначны и ясны, как их древнеиндийские параллели.) Еще ранее А. С. Мельничук постулировал сходные праславянские обороты как источник многих типов славянских предложений с инфинитивом, в частности и специфического славянского будущего типа русск. *буду спать* [12]. Данные Ж. Одри и А. С. Мельничука служат дополнительным косвенным аргументом в пользу нашей исходной гипотезы о латинском герундии-герундиве (см. выше). Тогда греч. -ινδον как суффикс наречия-деепричастия может прямо соответствовать лат. -endum. Но такому отождествлению не противоречит и следующая более традиционная точка зрения; она в конечном счете указывает на то же, но лишь более косвенным образом.

2) Элемент -ιν может отождествляться с и.-е. адвербиальным показателем *-*in* или *-*im* [9, с. 627], и таким образом греческие, а также и латинские формы входят в круг наречий-деепричастий вместе с лат. наречиями на -*tim* (*statim*, *ductim* и т. п.), оскско-умбрскими инфинитивами на -*um*, др.-инд. абсолютивом на -*am*. Все эти элементы — лат. -*im*, оск.-умбр. -*um*, др.-инд. -*am* — прямо сопоставимы с греч. -ον, -αν в указанных суффиксах, а сами суффиксы оказываются тогда содержащими *-*in* дважды: -ιν-δ-ον. С элементом -δ- сопоставима, по-видимому, частица δέ(δή), служащая для связи слов и целых предложений, обычно в паре μέν(μήν)...δέ(δή), но употребляемая и отдельно: (2) ...φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη (Ил., 10, 245) «...(он), любит которого Афина Паллада».

Таким образом, вскрывающаяся при сопоставлении греч. -δον и лат. -*dum* и.-е. энклитическая частица *-*dom*//-*dem*//-*dm̥* оказывается, возможно, разложимой на части, имеющие самостоятельное значение (см. ниже). Но прежде всего напрашивается ее истолкование (для определенного, довольно позднего исторического этапа) как цельной анафорической частицы, и в таком случае бросаются в глаза древнеиранские и прусские соответствия.

Др.-иран. энклитика -*dim*, засвидетельствованная в Авесте, является единственной, т. е. неизменяемой, формой, которая, будучи осознана как аккузатив, дала затем начало всей парадигме этого относительного местоимения. Все это, далее, является полным соответствием к прусскому [13]. В прусских текстах чаще всего представлена форма аккузатива ед. ч. муж. и жен. рода -*din*, все остальные формы встречаются реже, а форма муж. р. ед. ч. *-*dis* вообще не засвидетельствована; имеется также форма -*di* в значении немецкого *man* [14, с. 103] и слово *dīgi* в значении связующей частицы «так же» (*di* + *gi*), ср.: (3) „Kawīdans Grīkans tured*i* Grīkaut? Ettrais. Pirsdau Deiwan turri*di* wissans Grīkans sien skellānts dātunsi *dīgi* stans kans mes *digi* niersinnimai kāigi mes en Tawa Nouson seggēmai" (Enchiridion, 65, 15—19) [15] «В каких грехах должно исповедоваться? Отвечай. Перед богом должно во всех грехах себя виновным считать, также и в тех, которых мы так же не знаем, как мы в „Отче наш" делаем».

Несомненный параллелизм имеется в употреблении этих прусских частиц и в др.-греч. μέν(μήν)...δέ(δη) [16]. Кроме того, типологическую, а частично и материальную, параллель составляет, по-видимому, в тохарском А одна синтаксическая группа: абсолютив (на -*or*, -*ar*) регулярно сопровождается постпозитивной частицей -*me*ⁿ (реже частицей -*sa*). Те же частицы сопровождают тохарский аккузатив (casus obliquus). Этимология частицы -*me*ⁿ представлялась неясной [17], но в свете синтаксического сравнения в ней следует видеть, наверное, одну (первую) из двух сопряженных и.-е. частиц, тождественную греч. μέν(μήν), тогда как вторая, тождественная греч. δε(δή), также отдельно представлена в прусск. -*din*, *digi* и в лат. -*dum*. Еще одну параллель, в другом отношении, составляет то синтаксическое явление, что в хеттском языке в перифрастическом спряжении *hark* + пасс. причастие на -*an* форма причастия всегда неизменяема, несогласуема,— по существу это отглагольное наречие [18], как и «первичный» латинский герундив.

Весь этот комплекс черт, в особенности то, что формы авест. *dim*, прусск. *din* являются, несомненно, исходными и, следовательно, внепадежными формами, лишь позднее осознанными как аккузатив, заставляет поставить их в прямое соответствие с лат. *dum*. Подчеркнутая нами особенность не является случайной чертой сохранившихся текстов: анафорическое местоимение, к тому же не находящееся под сильным ударением, естественно, должно было очень редко употребляться там, где субъект (подлежащее) предложения был только что упомянут и сохранялся неизменным в качестве субъекта, т. е. в форме номинатива (ср. неестественность повтора *он* в русск. *Он пришел и он сказал*).

Этим же обстоятельством объясняется отсутствие формы номинатива в парадигме латинского герундия: в латыни классического периода ее роль выполнял инфинитив а к т и в н о г о залога на *-re*, тогда как все остальные падежи имели показатель *-nd-*. Таким образом, синтаксическая парадигма латинского герундия имела такой вид (только ед. ч.):

Nom. *dormire*	«спать, спаньё»
Gen. *dormiendi*	«спанья»
Dat. *dormiendo*	«спанью»
Acc. *(ad) dormiendum*	«(для) спанья» (или как Nom. или супин на *-tum*) или равен Nom. в обороте «Винительный с инфинитивом»
Abl. *dormiendo*	(или супин на *-tu*)

Как и в др.-перс. *dim* и прусск. *-din*, латинская форма на *-dum* была, несомненно, единственной исходной формой, которая была осознана как аккузатив муж.-ср. рода ед. ч. и дала начало всем косвенным падежам, стала «склоняться».

Хотя в силу грамматической традиции герундий считается отглагольным именем с активным значением [19, с. 338], в действительности эта характеристика относится к инфинитиву соответствующего глагола, т. е., например, если *uidere* «видеть» — активный глагол, то и форма *uidendo* «видя» оценивается как активная. Реальное синтаксическое употребление герундия не согласуется с этим, ср., например, (4) *ūrit uidendo femina* (Virg., Georg., III, 215) «женщина разжигает (мужчину) видя» (т. е. «когда ее видят»).

Однако характеризовать герундий здесь как неактивный и непассивный, нейтральный в залоговом отношении (как делается в [20, § 537]) тоже было бы неточным: суть такого употребления герундия — просто в том, что он не относится к подлежащему и сам не является подлежащим.

*

Какие синтаксические черты можно вывести из этих морфологических особенностей?

1) Форма на *-dum* — первоначально неизменяемая, «несклоняемая» по падежам, родам и числам. 2) Ее неизменяемая примета *-dum*, являясь анафорической частицей, служит отсылкой данной формы к какому-то другому члену предложения, в силу субъектно-объектного строения индоевропейского простого предложения — либо к субъекту (подлежащему), либо к объекту (прямому дополнению). 3) Эта же неизменяемая примета *-dum* совпадает (с самого начала или впоследствии) с формой аккузатива ед. ч. муж.-ср. рода, и вся форма вследствие такого совпадения воспринимается как согласованная с объектом, т. е. из двух возможностей, заложенных во втором признаке — служить отсылкой либо к субъекту, выраженному номинативом, либо к объекту, выраженному аккузативом,— в латинском языке реализуется только вторая возможность. 4) С третьим признаком связан четвертый, ясно ощущаемый как тенденция латинского синтаксиса, но труднее формулируемый: в силу тяготения к позиции объекта форма на *-dum* не связывается с активным, одушевленным, подлинно действующим субъектом, в особенности с «я» говорящего, если он упомянут в форме номинатива.

Весь этот комплекс черт (назовем его «первичным герундивом») является, по-видимому, достаточно древним и присущим по крайней мере одной разновидности индоевропейского «герундива» вообще. Как мы увидим ниже, он прослеживается в балтийских языках и отчасти в древнеиндийском. Но латинский язык позволяет реконструировать его наиболее полно.

Ожидаемые в соответствии с такой реконструкцией реальные синтаксические употребления в действительности и засвидетельствованы в латинских текстах. Во-первых, полностью объясняется такое употребление, как в примере (4),— герундий здесь отсылает не к подлежащему, а к другому объекту, находящемуся вне данного предложения; *uidendo* «видя» относится к неназванному актанту «мужчина»: «Женщина разжигает, когда (мужчина ее) видит». И герундий при этом нисколько не меняет залога (диатезы) глагола *uidere* «видеть»: «мужчина видит» — обычный залог этого глагола, переходный, или, точнее, активный неэффективный. Далее, делается понятным, почему форма на *-dum* никогда не относится к говорящему, к «я», если он обозначен аккузативом или номинативом, т. е. нет ничего подобного оборотам: (*5) *Me colendum est* «Меня нужно уважать (кому-то)»; (*5а) **Ego durmiendus sum* «Мне следует спать». В последнем значении всегда выступает только тип с дат. падежом: (6) *Mihi durmiendum est.*

Прямое дополнение в древнейшем типе просто «примыкает»: (7) *mi aduenienti hac noctu agitandumst uigilias* (Plautus, Trinummus, 869) «При моем приходе этой ночью мне надо поставить стражу».

И лишь позднее устанавливается согласование формы на *-dum* с объектом, т. е. герундий «заменяется» герундивом: (8) *vigilia mihi agitanda est.*

Такой тип согласования сохраняется также в других употреблениях, т. е. например, тип с прилагательным (9) *cupidus uidendi urbem* «жаждущий увидеть город» заменяется типом (10) *cupidus uidendae urbis* букв. «жаждущий города увиденного (которого надо увидеть)» [21, § 278]. Вообще, твердо установлено, что согласование латинского герундия-герундива — явление исторически довольно позднее [2, с. 32, 98], и при реконструкции этот слой должен быть удален с самого начала. Согласование здесь, таким образом, не является препятствием для установления прямых синтаксических параллелей с другими языками. Напротив, две другие особенности — пассивное значение и дательный падеж субъекта — требуют особого рассмотрения.

Если подходить к вопросу с точки зрения не морфологии, а синтаксиса, то латинские обороты (6), (7), (8) имеют прямые, именно синтаксические, соответствия за пределами латинского. Ср. в греческом, также с дат. падежом: (11) ὁ πατὴρ ἐμοὶ τιμητέος ἐστίν «мне следует почитать отца» как параллель к латинскому типу (8) *pater mihi colendus est*; (12) τὸν πατέρα ἐμοὶ τιμητέον ἐστίν как параллель к более архаичному латинскому (7) *patrem mihi colendum est* [22, § 147, 2].

Вопрос об исконности дательного падежа в этом обороте и вообще дательного падежа как выражения посессивности окончательно не решен. Обычно датив в этой функции признается исконным и архаичным. Но в индоиранских языках он в такой функции отсутствует. В качестве соответствия к лат. *mihi est* «мне (т. е. у меня) есть» в ведийском имеется только *máma ast*, в то время как оборот с дативом *máhyam asti* значит только «есть для меня» или «мне предназначено». На этом основании Ж. Одри в недавней работе считает первичной функцией датива указание «адресата» действия [23]. Ср.: (13) *yā́ vaḥ śárma śaśamānā́ya santi* (Rigveda, 1.85.12) «ваши защиты, которые (суть) тому, кто трудился».

В балто-славянских языках имеются соответствия всем этим типам (балто-славянский датив). Ср.: (14) русск. *Мне посуду мыть*; *Мне землю пахать*; (14а) литов. *Man indus plauti*; *Man žemę arti* как соответствие к (7), (12); (15) русск. архаич. и диал. *Мне земля пахати*; *Надо душа спасти*; *а капуста нам садить на собА* (Важская порядная XVII в.) и т. п.; (15а) совр. литов. *Man mazginis numazgoti* «Мне посуда (им. падеж вместо винительного) мыть»; (15б) совр. лтш. *Vaiga izsukāt galva* «Надо расчесать

голова» как соответствие к (8), (11) (указание субъекта в дательном падеже может опускаться, если он ясен из контекста).

Эти данные внешнего сравнения подтверждают ранее сделанный вывод о том, что необычный русско-балтийский оборот с номинативом вместо аккузатива типа *Земля пахать* является вторичным, результатом контаминации нескольких более древних оборотов [24]. Из них же следует вывод, что модальность долженствования принадлежит не предикатному слову самому по себе, а в целом типу предложения *Мне* (*тебе*, *ему* и т. д.) *пахать* (т. е. «дат. пад. лица + инфинитив»).

Модальность оборота могла переходить не только на глагол «быть» [25], но и на другие предикативы. В древнегреческом при «безличной», т. е. несогласованной, конструкции нередки такие случаи, когда фраза, начатая с предикатом на -τέον (т. е. как латинский герундивный оборот), заканчивается в том же значении с инфинитивом (т. е. как русский и литовский оборот): ποιητέον, ἃ ἂν κελεύῃ, ἡ πόλις, ἢ πείθειν (= πειστέον) αὐτήν (Plato, Crito, 51 c) «Надо исполнять то, что велит полис или же (пере)убедить его» [22, § 147, 2 примеч. 4]. Вообще, основным аналогом к латинскому герундиву в греческом, как и в балто-славянских языках, выступает не причастие и не прилагательное (греч. на -τε- литов. на *-tin-*), а инфинитив (презенса и аориста), ср. Ἀντίγονος τὸ Εὐμένους σῶμα τοῖς συγγενέσιν ἔδωκε ταφῆναι (θάψαι) — *A. Eumenis corporis propinquis sepeliendum tradidit* «Антигон отдал труп Эвменида родственникам погрести (для погребения)» [22, § 125], причем, как это видно из приведенного примера, пассивный и активный инфинитивы могут чередоваться. Именно эта тенденция ясно выступает в послеклассический период, ср.: (16) *habeo me invenire* = ἔχω εὑρεῖν (активный); (17) *diuidi habeo* = χωρισθῆναι ἔχω (пассивный). Оборот последнего типа в этот период конкурирует именно с герундивным оборотом: (17а) *desolandus est locus ille* [26]. По-видимому, различие между (17) и (17а) объясняется характером субъекта: при ориентации на личный субъект («я») предпочитается (17), при ориентации на субъект-вещь — (17а).

Как показал Я. Эндзелин [27], латышское долженствовательное наклонение, дебитив, возникает сначала в инфинитивных предложениях того же типа, что (6)—(14): *Man jaēd* «Мне надо есть (кушать)». Происхождение частицы *ja-*, не до конца ясное, составляет особый вопрос, но что касается форм, идущих после частицы, то они по происхождению представляют собой чистый инфинитив: **Man (ja)ēst* «Мне есть (кушать)». Поскольку у глаголов нетематического спряжения, т. е. с основой на согласный, эти формы совпадали с 3-м л. ед. ч., они были — на фоне постепенного исчезновения бессвязочных предложений — системно переосмыслены как формы 3-го л. ед. ч., и по этому образцу стали употребляться в данной конструкции все глаголы, включая тематические. Возникла полная парадигма дебитива:

(18)	(а)	*Man jaēd*	«Мне (надо) есть (кушать)»
	(б)	*Man bija jaēd*	«Мне (надо) было есть»
	(в)	*Man bus jaēd*	«Мне (надо) будет есть» и т.д.

Формы (б) и (в) — подлинно глагольные, восходящие к конструкции типа *Мне есть пахати*, со связкой: форма (а) восходит к параллельному обороту без связки, типа *Вам — ходить*. В латышском дебитиве лишь доведена до конца общая балто-славянская тенденция к объединению двух первоначально различных, хотя и близких по форме и по значению оборотов — со связкой «быть» в 3-м л. ед. ч. и без связки, которая, будь она выражена, также приняла бы форму 3-го л. ед. ч. изъявительного наклонения.

На этом фоне становится вполне очевидным, что бесполезно пытаться связать происхождение «суффикса» *-nd* и какую-либо якобы изначально присущую ему модальность. Источник последней — не морфология, а синтаксис. Модальность долженствования, связывающаяся с герундивом в латинском языке лишь классической и послеклассической поры (факт, давно подмеченный), имеет источником не значение каких-либо морфем

в составе этой формы, не значение самой этой формы, а значение предложения в целом. В латинском языке эта тенденция так же доведена до конца, как и в латышском: модальность закрепилась за тем предикатом, который обычно и почти исключительно употреблялся в данном типе предложения.

Точно так же синтаксически объясняется и пассивное значение латинского герундива. Как и модальность, оно коренится в данном типе предложения в целом: как только «безличная», т. е. несогласованная, форма заменяется личной, согласованной, т. е. объект становится подлежащим, а отличный от подлежащего субъект — *mihi* «мне» и т. п. остается [(7) patrem mihi colendum est → (8) pater mihi colendus est или (14) *мне посуду мыть* → (15) *мне посуда мыть*], так предикатив (чем бы он ни был — герундием-герундивом, инфинитивом) приобретает пассивное значение. В приведенных примерах активный предикатив (7) становится пассивным (8) без всякого изменения своей формы, кроме как в части согласования. Полный параллелизм с русскими примерами заставляет так же взглянуть и на их предикативы: активный инфинитив *мыть* (14) становится пассивным (15) без всякого изменения своей формы. Здесь часто имеет место figura etymologica: (15а) русск. *работа работать*; (15б) литов. *darbas dirbti*.

В свете этой параллели аномалия русского оборота *Земля надо пахать* может быть теперь сформулирована и иначе, не со стороны падежа (форма им. падежа может рассматриваться как вполне «нормальная»), а со стороны инфинитива: при нормальном падеже (именительном) стоит «ненормальный» активный инфинитив, тогда как должен был бы стоять инфинитив «пассивный», нечто вроде *Земля есть* (*надо*) *пахать-ся*. Но такой инфинитив в системе славянских языков отсутствует. В современном русском языке в этом случае вступает в силу трансформация главного предиката, такая, чтобы стал возможен пассивный инфинитив на *-ся*: *Земле надо пахаться*; *Картошке надо еще вариться*. Конечно, эти фразы выглядят не вполне нормативно, т. к. в норме субъект в дат. падеже должен быть здесь одушевленным. Возможна и другая трансформация, с той же целью: *Земля должна пахаться* (хотя предмет *земля* не может иметь чувства долга). В последнем случае трансформация пассивизации перенесена в модальный предикатив, и *должна* в этом случае не тождественно *должна* в случае активного субъекта: *Дочка должна слушаться маму*.

Пассивизация инфинитива в русском языке ярко проступает при распространении модального предиката еще каким-либо знаменательным глаголом, вторым инфинитивом, т. е., скажем, когда вместо *Надо ботинки сушить* говорят *Надо поставить ботинки сушить*. В этом случае современная русская речь настоятельно требует пассивизации первого инфинитива, и возникают колебания и варианты: *Надо поставить ботинки сушить//сушиться*; *Поставь картошку варить//вариться*; *Поставь молоко закиснуть//заквасить*. А. А. Потебня отмечал этот характер инфинитива в древнерусском: *Поставлен крест целовати*, где он восстанавливал в качестве «доинфинитивного» слова не инфинитив на *-ти* («активный»), а достигательный («неактивный») инфинитив на *-тъ*, супин (*поставлен крест целовать*). (По непонятным причинам Потебня отрицает пассивный характер инфинитива в других похожих случаях, называя их инфинитивами с «мнимострадательным оттенком» [28, с. 406].)

*

В литовском и латышском имеется свойственное только этим языкам причастие наст. времени с показателем литов. *-damas* м. р., *-dama* ж. р., лтш. *-dams*, *-dama*, изменяющееся также по числам (но не по падежам!). В отличие от общеиндоевропейского причастия наст. вр. на *-nt-*, также сохранившегося в этих языках, причастие на *-dam-* не употребляется ни как предикатив (за несколькими исключениями в латышском), ни как атрибут, но только как приложение («аппозитивно») к подлежащему: (19) литов. *vaikas verkdamas bėgo* «ребенок бежал плача»; (19а) лтш. *kuo dziedašu malt iedama?* «что я буду петь, идя (жен. р., т. к. говорящий — женщина) молоть (на мельницу)?».

Происхождение показателя *-dam-*, если его рассматривать морфологически, поэлементно, представляется столь же неясным, как и в случае латинского *-dum* [29, 30]. Напротив, многое разъясняется, если видеть в нем энклитическую частицу того же происхождения: и.-е. *-dm̥ >лат. *-dum*, литов.-лтш. *-dam-*, прусск. *-din*.

Указанное происхождение частицы хорошо объясняет весь комплекс семантико-синтаксических черт этого литовско-латышского причастия. Исходный комплекс, «первичный герундив», был, вероятно, тем же самым, что и на латинской почве (см. выше). Но его третий и четвертый признаки реализовались в этих языках иначе — контрастно по отношению к латинскому. Не совпадая здесь с показателем аккузатива, формальный элемент *-dam(as)* был ограничен связью с номинативом, т. е. с формой подлежащего в предложении (третий признак). В силу этого «балтийский герундив» относится обычно только к активно действующему, живому, одушевленному субъекту или к субъекту, уподобляемому таковому в данном высказывании (четвертый признак). Как и в латинском, полное согласование с подлежащим следует признать для балтийского герундива более поздним явлением. Засвидетельствованные в нескольких латышских диалектах формы «без окончания» (на *-dam*) являются не сокращенными, а первичными, что допускал уже Я. Эндзелин [31, § 801]: (20) *ravędam ir labak* «пропалывая (с прополкой) — лучше». В данном примере нет и самого подлежащего-субъекта, и он в определенной мере сходен с латинским (4).

От этого несогласования «первичного герундива» в литовско-латышском необходимо отличать вторичное, позднейшее несогласование, которое наступает после периода полного согласования. Последовательность здесь такова:

I. несогласованный «первичный герундив» на *-dam [пример (20)];

II. «согласованный герундив» на *-damas*, *-dams* (*-dama*) [примеры (19, 19а)];

III. «рассогласованный герундив» на *-damai*, *-dama* (для всех родов и чисел), *-damos*, *-damu*.

Примеры последнего (III) этапа, при котором происходит фиксация герундива почти в любой родовой, числовой и падежной форме, широко представлены в современных литовских диалектах [30]: (21) *jis* (*ji*, *jie*, *jos*) *stovėdama skaitė* «он (она, они, оне) стоя читал (-ла, -ли)»; (21а) *anas gulėdamu pradėjo pūti* «тот лежа начал гнить» (*gulėdamu* — форма ном.-акк. дв. числа); (22) *ardamai nereikia žiopsot* «когда пашешь (букв. «пахая»), нельзя зевать»,— здесь присоединенное окончание «герундива» *-ai* (в современном языке — окончание наречия) свидетельствует о том, что форма воспринимается как отглагольное наречие, вообще не требующее согласования.

Период «рассогласования» (II) форм на *-damas* в литовском совпадает с экспансией этих форм и с вытеснением ими форм причастий (этот процесс подробно описан в [5, §§ 67—71]), и, следовательно, связан в этом языке с начинающимся распадением «причастного синтаксиса». Последнее в балто-славянских языках происходит довольно поздно, почти на глазах исследователей. Полной параллелью к указанным литовским фактам является процесс «рассогласования» причастия и появления деепричастия в истории русского языка, начало которого датируется XII и даже XI в. [32]. Как известно, современные формы деепричастий русского языка восходят к различным формам действительных причастий: деепричастия на *-а(-я)* — к форме им. п. ед. ч. муж. р. наст. вр. (*сидя*, *лежа*, *неса* > *неся* и т. п.); деепричастия на *-учи* — к формам им. п. ед. ч. жен. р. (*сидючи*, *глядючи* и т. п.); деепричастия на *-в*, *-(в)ши* — к формам им. п. ед. ч. муж. и ср. р. (на *-в*) и жен. р. (на *-вши*) прош. вр. Приведем некоторые примеры из [28], составляющие параллель к (21)—(22): (23) *слышавше володимеръ разгнѣвасѧ* (Лавр. лет.) (мн. ч. вместо ед. ч.); (23а) *помоливъши сѧ епископъ* (Рост. Житие Нифонта 1219 г.) (им. пад. ед. ч. жен. р. вместо им. пад. ед. ч. муж. р.).

Древнеиндийские абсолютивы на *-am* обнаруживают большое сходство с литовско-латышскими герундивами на *-dam-* и отчасти с латин-

скими герундиями-герундивами, прежде всего в семантико-синтаксическом отношении. Конституирующая черта абсолютива на *-am* не имеет прямого соответствия в названных формах: абсолютив образует с главным предикатом особо тесное семантическое единство, он характеризует само протекание действия, «операцию, а не побочный элемент описания или повествования»; абсолютив, являясь производным от глагольного корня, всегда представлен только в сложении с той или иной приставкой [33], что в балтийских формах отмечается нечасто и как архаизм [27, § 69], но зато этой чертой абсолютивы подобны греческим формам на *-δον*. Все остальные черты древнеиндийского абсолютива [33] прямо соответствуют чертам балтийских форм: абсолютив легко чередуется с причастиями наст. вр. (ср. в литовском [31, § 801; 5, § 67]), абсолютив всегда указывает действие, строго одновременное с главным,— также и балтийские формы допускают обозначение предшествующего или последующего действия скорее в виде исключения [31, § 799; 5, § 69]. Ср. (пример из [33]): (24) *ye vā adhvānaṃ punarnivartaṃ yanti nainaṃ te gacchanti ye' punarnivartaṃ yanti te gacchanti* «Те, кто идут по дороге, без конца возвращаясь вспять, не доходят до ее конца; те, кто идут, не возвращаясь вспять, те доходят».

Подобно балтийским формам (20), (22) и латинским (1), абсолютив на *-am* может относиться к неопределенному, неназванному субъекту (но всегда относится к субъекту и потому исключает пассивное значение) [33]: (25) *abhyāvartaṃ stomā bhavanti* букв. «стома применяются, постоянно поворачиваясь».

И, наконец, подобно балтийским формам на *-dam-*, абсолютив на *-am* пережил период экспансии и упадка. Он почти отсутствует в самхитах, обильно представлен в брахманах и быстро исчезает затем [33; 34, с. 367]. Л. Рену считает источником абсоютива на *-am* инфинитив на *-am*, место которого в предложении абсолютив в точности занимает. Но в то время как инфинитив сохраняет форму корневого имени, абсолютив является формой имени действия на *-a* (с корнем в полной ступени) в аккузативе. Промежуточным звеном перехода от инфинитива к абсолютиву послужили, вероятно, в качестве главных предикатов глаголы движения, т. к. они естественно связывают и нейтрализуют различия инфинитива и герундива и именно при глаголах движения засвидетельствованы обе эти категории в древнейших индийских текстах [33, с. 390; ср. 34, с. 363].

*

Какой предшествующий строй предложения проступает за этими историческими засвидетельствованными чертами «герундива» в трех группах языков? Попытаемся скомбинировать их в общую картину:

1) противопоставление активного (одушевленного) субъекта неактивному (немаркированному по одушевленности — неодушевленности) объекту;

2) Наличие какой-то формы «общего, или неопределенного, падежа», которая могла ассоциироваться как с аккузативом объекта (в герундиве латинского), так и с номинативом субъекта (в герундиве балтийских языков) и, наконец, с аккузативом по форме, относящимся к субъекту (в абсолютиве ведийского языка);

3) аналитический характер выражения этого «неопределенного падежа» посредством энклитической частицы-анафоры **-dm̥-* (как в древнеиранских, латинском и прусском языках);

4) возможная членимость этой частицы, т. е. сочетание в ней двух частиц, одна из которых, **-m*, была приметой «неопределенного падежа» (в каком-то одном классе основ), а другая, **-d-* — анафорой, приметой отношения либо к субъекту, либо к объекту (т. е. употреблялась и сама по себе, как в греческом языке).

Первая из этих черт является общепризнанной в настоящее время чертой протоиндоевропейского простого предложения. Вторая черта получила детальное освещение в реконструкции А. В. Десницкой. Согласно этой реконструкции, формант *-m* не был изначально самостоятельным па-

дежным показателем, как не было и категории «аккузатива»; он выступал лишь как добавочная (синтаксическая) характеристика определенной группы именных основ, относящихся к классу потенциальных «объектов» (к «неодушевленному классу», позднее к «среднему роду») и использующихся в предложении исключительно в обстоятельственно-определительной функции. Это одна из форм той универсальной категории, которая в ряде неиндоевропейских языков (например, в тюркских) известна как так называемый «неопределенный падеж». «Не исключена возможность, что она обладала еще добавочным оттенком „определенности" в указании на соответствующий предмет. Поскольку имена класса „одушевленных" могли выступать не только в субъектной функции, а могли также играть роль определителей признаков, данных в предикате или в других выделившихся уже членах предложения, и, следовательно, также должны были выступать в неоформленном виде, в так называемом „неопределенном падеже", мы можем считаться с возможностью переноса показателя *-m*, связанного первоначально с определенной группой имен „объектного" класса, выступавших в обстоятельственно-определительной функции, на класс „одушевленных". Этим самым показатель *-m* приобретает уже падежное значение, противопоставляясь характерному для данной категории имен специально субъектному форманту (*-s*)» [35, с. 78—79].

Третья черта указывает на существование двух так называемых «серий» спряжения — субъектной и объектной, причем «объектное спряжение проступает более определенно, а именно благодаря сохранившимся чертам латинского герундия-герундива. Типологически сходное различие имеется в индоиранских, кельтских и, главным образом, в неиндоевропейских языках — картвельских, финно-угорских, кечумара и многих других. При этом строе предложения личный показатель субъектной серии соотносит предикат с подлежащим, а показатель объектной серии — с прямым и косвенным дополнениями» [36, с. 94]. Указанное строение принципиально отлично от схемы личных показателей в эргативных языках (например, в абхазско-адыгском глаголе) [36, с. 94, 29] и, следовательно, говорит против «эргативного прошлого» индоевропейского предложения, — в пользу его прошлого как предложения «активного строя» (ср. сходный вывод на основе других показателей, например, в [35, с. 46—47]). Кроме того, оно свидетельствует о существовании в протоиндоевропейском двух основных типов простого предложения — субъектно-ориентированного (неактивного) и объектно-ориентированного (активного) [37].

Последнее можно представить себе достаточно наглядно благодаря реально засвидетельствованным латинским предложениям такого, например, вида: (26) *faciundum est mihi illud fieri* (Plautus, Amphitruo, 891) «нужно мне это дело сделать», где показатель объекта, соответственно неодушевленного, *-d-*, повторяется в предикативе и в местоимении-объекте *illud* (до некоторой степени это передает и русский перевод с повторением показателя *-о*) и еще раз повторяется семантически в употреблении пассивного (а не активного) инфинитива *fieri*. Этот пример, возможно, похож на прусский (3).

*

Обращают на себя внимание еще две черты индоевропейских герундивов, вряд ли объяснимые только отмеченными выше общими особенностями строя индоевропейского предложения, но, по-видимому, объясняющие одна другую: 1) необычайное разнообразие морфологических типов герундива (превосходит герундив в этом отношении только индоевропейский инфинитив, который в одном ведийском насчитывает около 16 типов); 2) постоянное наличие во всех рассмотренных выше типах герундива так называемой figura etymologica типа русск. *поедом ест*, *стоймя стоит*.

То, что герундив (как и инфинитив) морфологически различен в разных индоевропейских языках, объясняют обычно и, конечно, верно, отсутствием общей формы герундива в праязыке: он развивается позднее в каждом языке самостоятельно. Но истолковать этим б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о разных форм герундива вообще и в каждом отдельном язы-

ке нельзя. Прежде всего это явление следует объяснить общим принципом — нежесткой детерминированностью предшествующей, т. е. праиндоевропейской структуры в рассматриваемом фрагменте системы [ср. 38], ее вероятностным принципом: эволюция как бы испытывает множество форм, из которых утвердятся лишь некоторые. Но это лишь общий принцип.

Объяснение деталей заключается, по-видимому, в том, что каждый тип герундива первоначально (и, следовательно, еще в праязыке) связан с какой-либо одной лексико-семантической группой глаголов и, по крайней мере, отчасти, и с морфонологическими чертами последних. (Именно этим и вызвана figura etymologica: добавочный предикат, выраженный герундивом, первоначально просто дублирует главный предикат, повторяя поэтому его корень.) Весьма вероятны, а в некоторых из перечисленных ниже случаев и несомненны, следующие связи:

а) Истоками латинского герундива являются отложительные глаголы непереходного значения, вроде *orior* «происхожу», *sequor* «следую», **retor* «двигаюсь по кругу» и т. п., откуда прежде всего формы *oriundus*, *sequundus* (*secundus*), *rotundus* и т. п.; затем герундив обобщился на отложительные переходные глаголы типа *utor* «использую» и на активные глаголы, допускавшие непереходное употребление (*uoluō* «качу») [6, с. 173]; примером «этимологической фигуры» в этом типе может служить (26).

б) Латинские наречия на *-tim* связаны, вероятно, первоначально с глаголами, означающими движения человеческого тела; возможно также, что приметой этих наречий был сначала краткий (и.-е. редуцированный) гласный корня: *statim* «стоя», *cursim* «бегом, поспешно», *ductim* «таща», *tractim* «таща» и т. д. Здесь особенно часта «этимологическая фигура»: (27) *ita statim stant signa* (Plautus, Amphitruo, 276) «стоя (т. е. в том же положении) стоят знаки»; (27а) *nunquam... aeque cursim curram* (Plautus, Pseudolus, 358) «и также никогда я бегом не побегу».

в) Древнеиндийские абсолютивы на *-am* морфологически охарактеризованы выше; синтаксически же преобладает такой тип, когда абсолютив как бы «подхватывает» главный предикат, семантически повторяя его с добавлением преверба,— в сущности тоже своеобразная «этимологическая фигура». Но и в собственном смысле слова она здесь очень нередка [33, с. 369]: (28) *piṣṭasvedaṃ svedayitvā* (Sāmaveda, B, 2, 5, 4) «подняв (тесто) до тех пор, пока тесто не поднялось» и т. п.

г) Литовско-латышские герундивы на *-dam-* восходят, по мнению Х. Станга, к непереходным глаголам, притом к тем из них, которые морфологически характеризовались (а) исходом корня на гласную и (б) совпадением основы наст. вр. и инфинитива [29]. Черта (а) вряд ли может быть обоснована, но семантическая характеристика совпадает с таковой у латинских герундивов. «Этимологическая фигура» здесь также обычное явление: (29) литов. *šerk šerdamas žirgelį* «корми кормом (т. е. хорошенько) лошадку»; (30) лтш. *nac nakdama* «приходя приходи» [31, § 799].

Множественность морфологических истоков и оформлений индоевропейских имен действия, в частности деепричастий, неоднократно отмечалась [ср. 28, с. 429], но, насколько нам известно, только Э. Швицер нашел для этого факта достаточно общую и объяснительную формулировку: ни одно из индоевропейских образований nomina actionis не является подлинным именем действия — все они употребляются как определители при главных предикатах. Поэтому, например, при огромном количестве производных от и.-е. корня **ei-* / *i-* со знач. «ходить» в греческом нет никакого обобщенного абстрактного типа *ἰτις или ἴσις, как нет его и в славянском, где **itь* и **itъ* служат лишь инфинитивом и супином. Абстрактное имя возникает на иных, не синтаксических, путях и от иного корня (греч. ὁδός «путь», слав. *chodъ* — оба от и.-е. **sed-* «садиться») [39].

В последнее время в литуанистических работах в этой перспективе дано объяснение литовским формам особого причастия-наречия *būdinys* на *-te*, которые связаны с инфинитивами на *-ti* и именами действия на *-(s)tis*, *-(s)te* [40. 41]: (31) *Bėgtė bėga* «бегом бежит»; (31а) *Pabėgau pabėgtinai*, *nebegrįšiu* «совсем (букв. «убегом») убежал, не вернусь»; (32) русск.

ревмя ревет; *нойма ноет*. Они оказываются такими же именами действия, как формы на *-dam-*, но их исходную лексико-семантическую сферу еще предстоит выяснить.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Persson P.* De origine et de primigenia gerundii et gerundivi latini.— In: Skrifter utg. af Kungl. Hum. Vetenskapssamfundet i Uppsala. III, 4. Uppsala, 1900.
2. *Aalto P.* Untersuchungen über das lateinische Gerundium und Gerundivum.— In: Annales Academiae scientiarum fennicae, 1949, ser. B, t. 62, 3.
3. *Szemerényi O.* The Latin gerundive and other *-nd*-formations.— In: Transactions of the Philological Society. 1950. Oxford, 1951.
4. *Haudry J.* Hypothèses sur l'origine des infinifs en grec ancien.— BSLP, 1975, t. 70, fasc. 1.
5. *Ambrazas V.* Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė. Vilnius, 1979.
6. *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.
7. *Ernout A. et Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 4-ème ed. Paris, 1967.
8. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, t. IV, Paris, 1977, p. 1080.
9. *Schwyzer E.* Griechische Grammatik. 1. Bd., 4. Aufl. München, 1968.
10. *Chantraine P.* Note sur les adverbes en -ινδην, -ινδα, -ινδον désignant les jeux.— RÉG, 1933, t. 46, № 27.
11. *Lejeune M.* Traité de phonétique grecque. 2-ème éd. Paris, 1955, 230.
12. *Мельничук О. С.* Розвиток структури слов'янського речення. Київ, 1966, с. 184.
13. *Benveniste E.* L'anaphorique prussien *din* et le système des démonstratifs indo-européens.— Studi baltici, 1933, III.
14. *Endzelīns J.* Senprušu valoda.— In: *Endzelīns J.* Darbu izlase. IV. 2. Rīga, 1982.
15. Prūsų kalbos paminklai. V. Mažiulis [ed.]. II. Vilnius, 1981, p. 148.
16. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. *A — D*. М., 1975, с. 337.
17. *Pedersen H.* Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachverglei chung. København, 1941, S. 93, 213.
18. *Benveniste E.* Hittite et indo-européen. Études comparatives. Paris, 1962, p. 64.
19. *Соболевский С. И.* Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. М., 1948.
20. *Meillet A. et Vendryes J.* Traité de grammaire comparée des langues classiques. 4-ème éd., nouveau tirage. Paris, 1966.
21. *Ernout A. et Thomas F.* Syntaxe latine. Paris, 1951.
22. [*Черный Э.*] Греческий синтаксис гимназического курса, изложенный сравнительно с русским и латинским. Составил Э. Черный. Изд. 2, вновь перераб. и значит. дополн. М., 1882.
23. *Haudry J.* L'emploi des cas en védique. [Lille], 1978, p. 43—44.
24. *Степанов Ю. С.* Оборот *Земля пахать* и его индоевропейские параллели (Балто-славянское предложение. I).— ИАН СЛЯ, 1984, № 2.
25. *Guiraud Ch.* La phrase nominale en grec d'Homère à Euripide. Paris, 1962, p. 163.
26. *Hoffmann J. B.* Beiträge zur Kenntnis des Vulgärlateins.— IF, 1925, Bd. 48, Hf. 1, S. 112.
27. *Endzelīns J.* Ursprung und Gebrauch des lettischen Debitivs.— In: *Endzelīns J.* Darbu izlase, t. I. Rīga, 1971.
28. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
29. *Stang Chr. S.* Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo — Bergen — Tromsö, 1966, S. 444—445.
30. *Zinkevičius Z.* Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius, 1981, § 632.
31. *Endzelīn J.* Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923.
32. *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965, § 287 (см. также § 258).
33. *Renou L.* L'absolutif sanskrit en *-am*.— MSLP, 1935, t. 23, fasc. 6.
34. *Елизаренкова Т. Я.* Грамматика ведийского языка. М., 1982.
35. *Десницкая А. В.* Сравнительное языкознание и история языков. Л., 1984.
36. *Климов Г. А., Алексеев М. Е.* Типология кавказских языков. М., 1980.
37. *Степанов Ю. С.* Индоевропейское простое предложение. Проблемы реконструкции.— В кн.: III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания. «Типы языковых общностей и методы их изучения». Тезисы. М., 1984, с. 135—136.
38. *Степанов Ю. С.* Комментарий.— В кн.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, с. 419.
39. *Schwyzer E.* Syntaktische Archaismen des Attischen. — APAW, 1940, S. 10—11.
40. Lietuvių kalbos gramatika. 2 t. Vilnius, 1971, §§ 686—687.
41. *Амбразас С. В.* Имена действия (nomina actionis) в древнелитовском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Вильнюс, 1984, с. 15.

№ 6 1985

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ШМАЛЬШТИГ У. Р.

ЭРГАТИВНОСТЬ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ СО СКАЗУЕМЫМ В ФОРМЕ АОРИСТА МЕДИЯ

Представленная в настоящей работе концепция индоевропейской эргативности существенно отличается от ранее высказывавшихся точек зрения по этому вопросу. На наш взгляд, все типологические параллели и сопоставления, проводившиеся до сих пор индоевропеистами, имеют один недостаток: они обычно ограничены типологией хорошо известных языков, прежде всего индоевропейских. Например, данные сравнительно-исторического языкознания указывают на возможность постулировать для праязыка два ряда смычных — лабиовелярные и палатальные. Многим авторам это кажется типологически неправдоподобным. Однако, как отмечает Ф. Кортландт, «одновременное наличие палатальных и лабиовелярных на фоне отсутствия собственно велярных характерно для ряда языков мира; это явление отмечается, например, в кавказских языках (кабардинский, убыхский) и в языках североамериканского тихоокеанского побережья (квакиутль, белла-белла). Лучшее знакомство с малоизученными языками могло бы помочь индоевропеистам избежать многих необоснованных выводов и заключений» [1, с. 237].

Если какое-то явление не засвидетельствовано ни в одном языке, этого еще недостаточно, чтобы признать его принципиально невозможным. Ф. Планк [2, с. 21] указывает, что в языках Африки, за исключением семитохамитских, совершенно не представлена эргативность. Для существования некоторого явления, однако, неважно, в каком количестве языков оно представлено: факт использования языка не имеет ничего общего с языковой структурой как таковой. Существование живого языка зависит от наличия некоторой группы людей, пользующихся этим языком. В современной Западной Европе на эргативном языке говорит всего один народ — баски. Но ведь вполне возможно, что до вторжения сюда предков индоевропейцев на ее территории был распространен не один эргативный язык. Таким образом, нет оснований полагать, что номинативные языки более адекватны человеческому мышлению, чем эргативные.

На наш взгляд, праиндоевропейский синтаксис на ранней стадии типологически был сходен с синтаксисом современного грузинского языка, например, в том, что оформление субъекта и объекта зависит от времени и вида глагола. Мы полагаем, что и.-е. активная конструкция развивается из антипассивной конструкции с глаголом-сказуемым в форме презенса (или несовершенного вида). В последней имя субъекта оформляется номинативом, имя объекта — дативом, из которого и развивается в дальнейшем аккузатив. И.-е. медиопассив возникает из эргативной конструкции с глаголом-сказуемым в форме претерита (или в форме совершенного вида). В этой конструкции имя субъекта стоит, соответственно, в эргативе, а имя объекта — в номинативе. Мы не касаемся здесь системы перфектных времен и.-е. языков, однако есть основания полагать, что в и.-е. праязыке, как и в грузинском, существовали различные способы передачи субъектно-объектных отношений в предложении со сказуемым в форме перфекта. Можно отметить, в частности, сочетаемость и.-е. датива деятеля не только с причастными, но и с финитными формами глагола: ср. в греч. ḗ méga érgon huperphiálōs etélesthē Tēlemákhē̜ hodòs hēde «Дело великое сделал, так смело пустившись /В путь, Телемах» (Одиссея,

IV, 663—664). Согласно Э. Швицеру [3, с. 15—16], здесь на самом деле перед нами дательный заинтересованного лица, особенно характерный для перфекта пассива [ср. греч. ...Dēmódokon laoîsi tetiménon «...с певцом Демодоком, /Чтимым в народе» (Одиссея VIII, 472)]. Конечно, подобные факты могут показаться недостаточными; однако предположение о том, что в конструкциях с перфектом выступал именно датив деятеля, не лишено здравого смысла. И.-е. причастия на *-*to* ведут себя синтаксически как эргативные, а ведь эти причастия соотносятся с древнеиндийскими и древнегреческими формами 3-го л. ед. ч. аориста медия. Именно на этом основании можно предположить, что в праиндоевропейском конструкции со сказуемым в форме претерита медиопассива были эргативными. Рассмотрим следующую систему форм:

		А. Антипассивная конструкция (▷ активная конструкция)	Эргативная конструкция (▷ медиопассивная конструкция)
презенс	1-е л. ед. ч.	*pek^w-om	—
	2-е л. ед. ч.	*pek^w-es, -et	—
	3-е л. ед. ч.	*pek^w-et, -es	—
претерит	1-е л. ед. ч.	—	*pek^w-(t)é/ó(i)(r)
	2-е л. ед. ч.	—	*pek^w-(t)é/ó(i)(r)
	3-е л. ед. ч.	—	pek-(t)é/ó(i)(r)

Прочерк означает, что на ранней стадии развития праязыка соответствующих глагольных форм еще не было.

Остановимся особо на одной существенной характеристике языкового состояния, обозначаемого здесь как А. Глагол в презенсе согласуется по лицу с подлежащим (ср. 1-е л. ед. ч. *pek^w-om «я пеку»). Первоначально форма *pek^w-es употреблялась при подлежащем — одушевленном имени, форма *pek*-et при неодушевленном. Затем это противопоставление форм переосмысляется, и форма*pek^w-es начинает употребляться преимущественно со 2-м л. ед. ч., а форма *pek^w-et — с 3-м л. ед. ч. В небольшом числе случаев наблюдается обратное соотношение форм (ср. тох. А: 2-е л. ед. ч. *pälkät* «сияешь», 3-е л. ед. ч. *pälkäṣ* «сияет»). Полное совпадение всех претеритных форм, выступавших в эргативной конструкции предложения, указывает на то, что согласование здесь исходно отсутствовало. Согласования по роду и числу первоначально не было; позднее этот тип согласования возникает в формах, превращающихся в прилагательные или в причастия на *-*to*.

Антипассивная конструкция с глаголом-сказуемым в презенсе, по-видимому, выглядела так: А(1) *$mater^1$ pek^w-et ovi-m «мать (абс.) запекает (неперех.) баранину (дат.-лок.)». Эргативная конструкция с глаголом-сказуемым в претерите, вероятно, имела вид: А(2) *ovi pek^w-tó mātros «баранину (абс.) приготовила (неперех.) мать (эрг.)»; А(3) — *medhu pek^w-tó vīros «мед (абс.) сварил (неперех.) [этот] человек (эрг.)» [2].

[1] В других наших работах [4; 5, с. 32] высказывается предположение о том, что еще в праязыке, в определенных условиях, имело место сокращение дифтонгов и упрощение последовательности «гласный — сонант». Так, в исходе слова *-*er* и *-*om* не менялись в сандхиальной позиции перед гласным, но переходили соответственно в *-ē и *-ō в сандхиальной позиции перед согласным. Иначе говоря, первоначально выбор алломорфа автоматически определялся структурой последующего слова: *-*er*, *-*om* появлялись в том случае, если это слово начиналось с гласного, а *-ē и *-ō — если оно начиналось с согласного. В дальнейшем противопоставление алломорфов приобрело содержательный характер, ср. др.-инд. ном. ед. ч. *mātā* «мать», вок. ед. ч. *mātar*; литов. ном. ед. ч. *mótė* «женщина», греч. вок. ед. ч. *mḗter* «мать» (в греч. *mḗtēr* конечное *-r* появляется по аналогии с другими падежными формами). Долгота гласного стала у соответствующих имен дополнительным признаком номинатива ед. ч.; затем этот признак аналогически распространился и на другие имена, ср. др.-инд. *pāt* «нога» [5, с. 42]. Предложение А (1) относится к тому времени, когда описанные фонологические процессы еще не были доведены до конца, в частности, до разделения форм номинатива и вокатива, восходящих к форме абсолютива.

[2] Иногда считают, в так называемых смешанных эргативных языках, т. е. в языках с чертами эргативности и номинативности, эргативно-аккузативный, или смешанный, характер падежной морфологии сам по себе уже определяет наличие как эргативной, так и номинативной конструкций предложения.

Заметим, что наше представление носит достаточно обобщенный и схематичный характер, поэтому мы не останавливаемся специально на вопросе о порядке слов в реконструируемых предложениях. В трех приведенных предложениях глагол непереходен. На наш взгляд, на ранней стадии индоевропейского непереходными были все глаголы. Итак, подлежащее в рассматриваемых предложениях выражено именем в абсолютиве, сказуемое — непереходным глаголом. Важнейшими элементами всех трех предложений являются два первых по порядку слова. Второе имя в А(1) первоначально являлось обстоятельственным дополнением, в А(2, 3) — агентивным дополнением. А(1) трактуется как конструкция с непереходным глаголом, поскольку прямое дополнение — имя в аккузативе — здесь отсутствует, а глагол управляет непрямым дополнением. Кроме того, **pek^w-et* в А(1) можно описывать как глагол несовершенного вида, а глаголы этого вида по природе своей не сочетаются с аккузативным прямым дополнением. Что касается А(2, 3), то они признаются конструкциями с непереходным глаголом постольку, поскольку подлежащее и сказуемое могут выступать здесь самостоятельно, без сопутствующего имени деятеля. Имя деятеля в А(2, 3) вторично и не является главной, или центральной, составляющей предложения. Возможно, в таких конструкциях деятель фактически соотносится с посессором (ср. [6, 7]).

Рассмотрим следующий этап языкового развития

		В. Активная конструкция (< антипассивной)	Медиопассивная конструкция (< эргативной)
презенс	1-е л. ед. ч.	**pek^w-ō* (<**-om*)[3] или **pek^w-om-i*	**pek^w-(t)é/ó(r)(i)*
	2-е л. ед. ч.	**pek^w-es-i, -et-i*	**pek^w-(t)é/ó(r)(i)*
	3-е л. ед. ч.	**pek^w-et-i, -es-i*	**pek^w-(t)é/ó(r)(i)*
претерит	1-е л. ед. ч.	**pek^w-om*	**pek^w-(t)é/ó(r)(i)*
	2-е л. ед. ч.	**pek^w-es, -et*	**pek^w-(t)é/ó(r)(i)*
	3-е л. ед. ч.	**pek^w-et, -es*	**pek^w-(t)é/ó(r)(i)*

Реконструируемая претеритная медиопассивная форма представлена в древнегреческом формой 3-го л. ед. ч. модиального аориста на *-to*, в древнеиндийском — соответствующей формой на *-ta*. Первоначально субъектное согласование по числу и роду отсутствовало, как можно видеть и из следующих примеров: укр. *батька убито*, литов *rugiaĩ pjáuta* «рожь (мн. ч. м.р.) сжата (ср.р.)» [8, с. 204—205]. Отметим, что в балто-славянских языках причастный показатель среднего рода единственного числа соответствует древнегреческому и древнеиндийскому окончанию аориста медия.

Г. Хирт пишет: «3-е л. ед. ч. медия так называемого корневого аориста имеет окончание *-to*. Формы так называемого сильного аориста в древнегреческом, корневого аориста в санскрите можно сопоставить с причастиями на *-to*: др.-инд. *ákr̥ta*: *kr̥tás* «сделанный»; др.-инд. *avr̥ta*: *vr̥tás* «избранный»; др.-инд. *ā̆rta*: *r̥tás* «посланный»; др.-инд. *amr̥ta*: *mr̥tás* «умерший»; др.-инд. *aspr̥ta*: *sprtás* «выиграть»; др.-инд. *ajukta*: *juktás* «запрягать»; др.-инд. *amata* «думать»: *matás*; др.-инд. *apr̥kta* «смешивать»: *pr̥ktás*; др.-инд. *abhakta* «делить»: *bhaktás*; др.-инд. *vikta* «дрожать»: *viktás*; др.-инд. *áspašṭa*: *spašṭas*; др.-инд. *asršṭa* «освобождать, отпускать»: *sr̥šṭás*; греч. *étheto*; др.-инд. *adhita*; греч. *thetós*, др. -инд. *hitás*; др.-инд. *ásthita*: *sthitás* от *sthā* «стоять»; др.-инд. *astr̥ta*: *astr̥tás* «непреодолимый»; др.-инд. *agūrta*:

---

[3] Первоначально **-ō* и **-om* были вариантами. Затем окончанием **-om* стала регулярно оформляться форма 1-го л. ед. ч. претерита, а окончанием **-ō* — 1-го л. ед. ч. презенса. Оснований предполагать, что в **-ō* мог присутствовать ларингальный, нет; это окончание — формы актива, в отличие от хеттского *-(h)ḫa*, являющегося окончанием медиопассива.

gūrtás «приветствованный», лат. *grātus*; др.-инд. *agata*: *gatás*, греч. *batós* «ушедший»; др.-инд. *ávṛkta* «свертывать»: *vṛktás*; др.-инд. *asakta* «зацепляться, прилипать»: *saktás*; др.-инд. *amatta* «радоваться»: *mattas*. Сюда же относятся греч. *éphato*: *phatós*; *ksúneto* : *hetós*; греч. *éssuto*; др.-инд. *čjutás*; (греч.) *lékto* : *lektós*; далее венет. *zoto*: греч. *dotós*, лат. *datus*; гот. *stōþ*, др.-в.-нем. *stuot*: греч. *statós*, лат. *status*, др.-инд. *sthitás*; греч. *egéneto*: лат. *genitus*; ст.-слав. *pitŭ*: др.-инд. *pītás* и т. п.; (греч.) *plēto*: лат. *com-plētus*, др.-инд. *pūrtás*; греч. *éphthito*: др.-инд. *kšitás*; греч. *ékhuto*: др.-инд. *hutás*; греч. *blēto*: *blētós* и т. д.» [9, с. 102].

Теперь вернемся к интерпретации тех языковых изменений, которые имели место на выделенной выше стадии В. Первый шаг на пути к становлению активной конструкции в претерите был связан с тем, что новые формы несовершенного вида (**pek^w-et-i*) начали выражать идею настоящего времени, а старые формы, соответственно, стали функционировать как претеритные. Инъюнктивное употребление этих форм в древнеиндийском, где они могут выражать будущее время, выступать в повелительном наклонении и в оптативе, сохраняется еще с той стадии, когда они не начали функционировать как претеритные [10, с. 298]. В древнеиндийском, древнегреческом и в некоторых случаях в армянском аугмент (3-е л. ед. ч. имперфекта) закрепляет формы типа **e-pek^w-et* > *a-pac-at* в функции претерита.

Итак, в активе начинают различаться презенс и претерит, причем под действием аналогии разделение на презенс и претерит происходит и в форме медиопассива. Помимо этого, в системе медиопассивных форм, также под влиянием форм актива, развивается личное субъектное согласование. Первоначально же медиопассивные формы либо вообще не подчинялись правилам согласования, либо согласовывались с субъектом только по роду и числу. Возникают личные формы медиопассива: ср. греч. 1-е л. ед. ч. *phér-om-ai*, 2-е л. ед. ч. *phéreai* < **-es-ai*, 3-е л. ед. ч. *phér-et-ai* (конечное *-ai* замещает позицию исходного **-oi* [11]). В древнеиндийском исходное **-oi* сохраняется: на него не накладывается показатель лица (ср. 1-е л. ед. ч. *bhár-e*), Что касается форм 2-го и 3-го л. ед. ч. *bhár-as-e* и *bhár-at-e*, то они точно соответствуют приведенным греческим. Соответствующие латинские формы — либо пассивные, либо депонентные. Так, в *reg-or* «мной правят» на исходное **-or* накладывается долгота конечного гласного активной формы 1-го л. ед. ч. (*reg-ō*). Форма 2-го л. ед. ч. *reg-er-is* возникает из сложения **-er* (ступень аблаута на *e-*) и **-es* (ср. соотносительную форму актива *reg-is*). Форма 3-го л. ед. ч. *reg-it-ur* образована из активной (*regit*) присоединением **-or*. Медиальные показатели презентной серии в тох. А: 1-е л. ед. ч. (*trämk*) *mār* «я говорю», 2-е л. ед. ч. *-tár*, 3-е л. ед. ч. *-tär* или *-trä*; в тох. В: 1-е л. ед. ч. (*kolok-*)*mar* «я следую», 2-е л. ед. ч. *-tār*, 3-е л. ед. ч. *-tär* или *-trä* [12, с. 262].

По-видимому, все эти показатели происходят от сложения формантов *-m* (1-е л.) или *-t* (непервое лицо) и одного из вариантов **-(ō)r* (**-ōr*, в свою очередь, происходит из **-ō* < **-or* в преконсонантной сандхиальной позиции в исходе слова и **-or* в соответствующей превокалической позиции [4, с. 104; 5, с. 32]). Вопрос о происхождении хеттского показателя 1-го л. ед. ч. медия *-ḫa(ri)* остается неясным. Что касается хеттских показателей 2-го и 3-го л. ед. ч. [соответственно *-ta(-ri*, *-ti)* и *-a (-ri)*, *-ta(-ri)*], то они восходят к суф. **-o* или **-to* с наращением *-ri* или *-ti* [13, с. 165].

Древнеирландский депонентный показатель абсолютной формы 1-го л. ед. ч. представлен, например, в *midi-ur* «я сужу», причем *-ur* имеет ту же этимологию, что и лат. *-or*. Показатель 2-го л. ед. ч. (ср. *suidig-ther* «ты помещаешь») происходит из **-te* плюс **-r* (хотя обычно его связывают с древнеиндийским *-thās* < **-thēs*), в показателе 3-го л. ед. ч. (ср. *suidigidir*) также представлен исходный элемент с дентальным смычным и **-r* [14, с. 365—368]. У. Коугилл [15, с. 67] показывает, что различие между показателями абсолютных и конъюнктных ирландских форм не следует считать продолжением противопоставления первичных и вторичных глагольных показателей в индоевропейском.

Помимо депонентных форм, в древнеирландском имеется следующая парадигма пассивных форм настоящего времени:

Ед. ч.		Мн. ч.
1-е л. *no-m·charthar*	«я любим»	no-n·carthar
2-е л. *no-t·charthar*		no-b·carthar
3-е л. *carth(a)ir*, *·carthar* (по [14, с. 349]).		*cart(a)ir*, *·cartar*

На наш взгляд, приведенные пассивные формы также восходят к медиопассивным, реконструируемым здесь для стадии В. Поскольку мы исходим из того, что согласование по лицу первоначально отсутствовало, единственный вопрос заключается в том, почему формы 1-го и 2-го лица множественного числа были вытеснены формами единственного числа.

Готские формы 1-го и 3-го л. ед. ч. пассива настоящего времени (*nasj-ada*) восходят к форме 3-го л. ед. ч. и.-е. медиального перфекта [16, с. 42 и сл.]; что касается готской формы 2-го л. ед. ч., *nasj-aza*, то в ней, несомненно, появляется *-s*. В древнеармянском формы пассива настоящего времени образуются по совершенно иному принципу — с гласным основы *-i-*: ср. *var-i-m* «я ведом» vs. *var-e-m* «я веду» [17, с. 47].

Итак, презентные медиопассивные формы складываются по аналогии с презентными активными; претеритные же формы медиопассива, соответственно, испытывают влияние форм претерита актива. Так, медиопассивные претеритные показатели 1-го и 2-го л. ед. ч. развиваются по аналогии с показателями претерита 1-го и 2-го л. ед. ч. актива.

Древнеиндийский аористный медиопассивный показатель 1-го л. ед. ч. (*ad-i* [18, с. 71]) восходит, вероятно, к **-i*, одному из медиопассивных показателей, восстанавливаемых для форм всех лиц. Древнеиндийский аористный медиопассивный показатель 2-го л. ед. ч. (*adi-thās*), несомненно, складывается из сочетания **-ta* (<**-to*) с показателем актива 2-го л. ед. ч. *-as* (<**-es*); для прочих древнеиндийских форм 2-го л. типична аспирация. Ср. в маратхи: *Tũ pustak vācal-ẽ-s* «ты (инстр., ед. ч.) прочел (*-ẽ-* — показатель объекта, *-s* — показатель субъекта) книгу (ном.-акк., ед. ч.)» (по [19, с. 123]). В этом предложении *-ẽ-* указывает на средний род объекта *pustak* «книга», а *-s* согласует глагол с местоимением 2-го л. ед. ч. *tũ* «ты». Аналогично, в древнеиндийском **-tha* (<**-to* плюс аспирация) могло выступать как показатель объекта, а *-as* (<**-es*) — как показатель субъекта.

Подчеркнем, что даже традиционные сравнительные грамматики не связывают древнегреческую форму аориста медия 2-го л. ед. ч. *édou* (<**edo-so*) с древнеиндийской; здесь налицо аналогия с древнегреческой же формой 3-го л. ед. ч. *édo-to*. В работе [20, с. 27] делается попытка показать, что греческий пассив 2-го л. ед. ч. *e-dó-thē-s* буквально совпадает с др.-инд. *á-di-thā-s*. На наш взгляд, пассивное значение формы возникает скорее в связи со стативностью и.-е. **-ē-* и в связи с пассивным употреблением непереходных глаголов [19, с. 224]. В принципе возникновение пассива, отличного по форме от медиопассива,— явление довольно позднее. Так, Э. Швицер [21, с. 224] указывает, что «в древнегреческом и на ранних стадиях развития индоарийских языков формы медия имели более широкое пассивное употребление». Греческий показатель 1-го л. ед. ч. аориста медия [(*ed-*)*óm-ēn*] — совершенно новый по происхождению и не имеет ничего общего с древнеиндийским (*ád-*)*i*.

Латинские формы имперфекта пассива (1-е л. ед. ч. *regēbar* «я был управляем», 2-е л. ед. ч. *regēbāris*, 3-е л. ед. ч. *regēbātur*) явно образуются на основе презентных форм. У И. Фридриха приводятся следующие хеттские формы претерита медиопассива: *ar-tat* «стоял», *kiš-at* «превратился, стал», а также *iḫa-ttati* «ты пошел» и *kiš-ati* «он превратился, стал» [22, с. 109—110]. Эти формы также образованы при помощи показателя **-(t)o* и претеритного окончания *-t* или *-ti*. Соответствующая хеттская форма 1-го л. ед. ч. (ср. *ar-ḫaḫat* «я стоял») образуется сочетанием *-ḫa* и показателя претерита **-t*.

Как можно ожидать, тохарские формы претерита медиопассива 3-го

л. ед. ч. также происходят от форм на *-*to* [12, с. 260]; ср. тох. В: *kautā-te*, тох. А *kota-t* «он раскололся». Соответствующие формы 2-го л. ед. ч. (тох. В *kautā-tai*, тох. А *kot-te*) происходят от сложения форм на *-(*t*)*o* с формами 1-го л. ед. ч. (тох. В *kautā-mai*, тох. А *kot-e*). Можно заметить, что показатели 1-го л. ед. ч. скорее всего не восходят к какому-то одному источнику. В [12, с. 260] тох. В *-mai* сопоставляется с греч. окончанием медиопассива *-mai*; однако греч. показатель может восходить к *-*moi*. К тому же в греческом этот показатель презентный, тогда как тохарский показатель — претеритный. В. Краузе сопоставляет тох. А *-e* с др.-инд. тематическим (*bhar-*)*e*; в обоих языках показатели могут быть рефлексами *-*oi*.

Вопрос о происхождении претеритных окончаний в армянском весьма сложен и пока остается неясным; мы не останавливаемся на нем в этой работе. Что касается древнеирландского, то в релятивной абсолютной форме претерита пассива 3-го л. ед. ч. (сильного) глагола *breth(a)e* «рожден», по-видимому, представлено и.-е. *-*tos*, а в конъюнктной форме 3-го л. мн. ч. *'bretha*, возможно, представлено окончание мн. ч. ж. р. *-*tās* [14, с. 440; 20, с. 55]. Обращает на себя внимание тот факт, что согласование в этих формах идет не по лицу, а по роду и числу.

Вопрос о происхождении медиопассивных и пассивных показателей в и.-е. языках, несомненно, крайне сложен, и мы ограничились здесь лишь беглым обзором некоторых возможностей, возникающих на этом пути. Вообще же проблема возникновения медиопассивных и пассивных показателей в каждом из упоминавшихся здесь языков могла бы составить тему отдельной монографии [4].

В целом, мы полагаем, что формирование и.-е. глагольной системы следует трактовать не как результат фонетического упрощения и распада очень сложных морфонологических показателей, а как результат соединения нескольких морфем минимальной длины (миниморфем). В принципе, конечно, возможны оба названных процесса — и соединение в одной форме нескольких миниморфем, и фонетическое опрощение морфем-«монстров». Обычно постулируют выпадение тех или иных элементов в составе сложных и длинных морфонологических комплексов. Подобный подход представляется более адекватным, поскольку он позволяет оперировать достаточно четкими морфонологическими правилами. Тем не менее нет никаких оснований считать, что описание исторических изменений, выполненное в русле такого подхода, в силу своей простоты адекватнее отражает реальные процессы изменения языка.

Рассмотрим теперь изменения, происходящие на стадии В с предложениями А (1—3). Вероятно, на новой стадии развития предложение типа А(1) начинает интерпретироваться следующим образом: В(1) **māter pek*^{w}*-et ovi-m* «мать (ном. ед. ч.) запекает (перех.) баранину (акк. ед. ч.)». Иначе говоря, переход от антипассивной конструкции к активной создает возможности для формирования класса переходных глаголов. При этом: 1) абсолютив переосмысляется в номинатив, 2) непереходный глагол становится переходным, 3) датив — локатив переосмысляется в аккузатив.

С переходом антипассивной конструкции в активную вторая из рассмотренных здесь конструкций (эргативная) превращается в пассивную. Соответственно, В(2) **ovi pek*^{w}*-to mātros* «баранина (ном. ед. ч.) запекается (пасс.) матерью (ген. деятеля)»; В (3) **medhu pek*^{w}*-to vīros* «мед. (ном. ед. ч.) варится (пасс.) [этим] человеком (ген. деятеля)».

В лингвистической литературе уже отмечалось, что и с х о д н а я конструкция предложения эргативных языков соотносится с производной конструкцией аккузативных и наоборот. В ходе истории и.-е. языков антипассивная конструкция, первоначально являвшаяся производной, приобретает статус исходной, в то время как первоначально непроизводная

---

[4] Поскольку презенс медиопассива происходит от претери медиопассива, претеритные показатели одного языка могут соответствовать презентным другого. Так, в хеттском презентное медиопассивное *-a* (*-eš-a* «сидит») соответствует древнеиндийскому имперфектному медиопассивному (*aduh-a* «доил»); оба они, в свою очередь, восходят к *-*o*.

эргативная конструкция предложения переосмысляется как производная — пассивная.

Что касается глагольных форм на *-*to*, то их развитие идет двояко: они либо начинают выступать в составе новой глагольной парадигмы, на основе которой и складывается система и.-е. медиопассивных (а в некоторых языках собственно пассивных) форм, либо полностью адъективируются. Там, где формы на *-*to* превращаются в чистые прилагательные, никакого переосмысления конструкции предложения не происходит и сохраняются первоначальные грамматические отношения. Это подтверждается материалом ряда современных и.-е. языков. Там же, где антипассивная конструкция переходит в активную, эргативная конструкция со сказуемым — непереходным глаголом в некоторых случаях превращается в пассивную.

Может быть два источника возникновения в языках пассивных форм: пассивные формы либо представляют собой переосмысленные формы исходно непереходных глаголов, либо происходят от переходных глаголов в возвратной форме. Факт происхождения и.-е. пассива от медия или медиопассива известен лингвистике уже давно [23, с. 281]. Во многих современных и.-е. языках сохраняется причастный пассив (ср. франц. *les livres sont vendus*, русск. *книги были проданы*) и может одновременно существовать более новая пассивная форма с возвратным показателем (ср. соответственно франц. *les livres se vendent* и русск. *книги продаются*).

При причастиях на *-*to* мог употребляться генитив деятеля, что подтверждается, в частности, следующими примерами: др.-инд. *pátyuḥ krītā́ satī́* «женихом (ген. ед. ч.) купленная (ном. ед. ч., ж. р.) невеста (ном. ед. ч., ж. р.)»; лат. *attonitus serpentis* «пораженный змеем (ген.)»; греч. *Diósdotos* «данный Зевсом» [ср. морфологически соответствующее литов. *diẽvo dúotas* «богом (ген.) данный»]. В ст.-слав. *убьенъ отъ Ярослава* «убит Ярославом» предлог *отъ* появляется относительно поздно; он служит здесь для уточнения функции генитива, первоначально оформлявшего имя деятеля без предлога [24; 25, с. 176—178].

В работе [3, с. 14] особо выделяется употребление genitivus auctoris при отглагольных прилагательных и пассивных причастиях в греческом, литовском, армянском и тохарском; эта падежная форма отождествляется с genetivus possessivus. Несмотря на доводы, приводимые в [3, с. 29—42], мы склоняемся к мнению, что сочетание греч. *hupò* с генитивом свидетельствует о более раннем употреблении этой формы в функции имени деятеля, ср. греч. *eí tis etimãto hupò toũ dêmou* «если кто и был почитаем народом» (ген. ед. ч.) (Ксенофонт, «Греческая история», 2, 3, 15). По-видимому, аналогичным образом обстоит дело и с сочетанием *apó* с генитивом (ср. *eprákhthē ap' autõn oudén*) «ничего ими (ген. мн. ч.) не было сделано» (Фукидид, I, 17). Даже если употребление генитива деятеля (причем дополнительно маркированного предлогом) при греческих финитных формах не отражает первоначального состояния и.-е. синтаксиса, об этом состоянии, несомненно, свидетельствуют конструкции с прилагательными.

В связи с изложенной здесь концепцией могут возникнуть два вопроса. Во-первых, если и.-е. номинатив происходит из абсолютива, то почему некоторые имена в номинативе оформляются показателем -*s* (ср. **vīros*). Во-вторых, если аккузатив на *-*m* происходит от какого-то местного падежа или от бенефактива, то почему *-*m* не представлено в именах среднего рода (ср. **medhu*). Начнем с обсуждения второго вопроса.

Там, где возникает пассивная конструкция, возникают и возможности ее «активизации» [26, с. 15], т. е. переосмысления в активную. При этом подлежащее пассивной конструкции начинает выступать уже как дополнение при активной форме глагола. В [27, с. 20—21] это явление обсуждается на материале ряда языков мира; там, в частности, приводятся примеры из северных русских говоров [ср. *у волков* (ген. мн. ч.) *тут корову* (акк.) *съедено*, т. е. «корова съедена волками» = «волки съели корову»]. Ср. также литер. русск. *эту башню видно издалека* или польск. *pracę rozpoczyna się o ósmiej* «работа (акк.) начинается в 8 часов».

Таким образом, у предложения типа B(3) **medhu pek*^{w}-*tó* «мед сварен»

могло возникнуть и другое толкование — «(кто-то) сварил мед». Иначе говоря, форма *medhu* из ном. ед. ч. могла быть переосмыслена в акк. ед. ч. Черты подобной многозначности падежных форм имеются в древнегреческом, ср. *tò d' ephélketo meílinon égkhos* «и ясенный дрот (ед. ч. ср. р.) волочился» (Илиада, XIII, 597). В работе [21, с. 237] указывается, что это предложение может иметь несколько толкований: а) «и ясенный дрот [сам по себе] волочился»; б) «...был влеком»; в) «[некто] волочил ясенный дрот за собой». Если принять толкования (а) и (б), то имя среднего рода *meílinon égkhos* «ясенный дрот» будет трактоваться как имя в форме номинатива ед. ч., если же согласиться с толкованием (в), то следует признать, что это имя стоит в аккузативе.

Таким образом, существовало две возможности интерпретации имен среднего рода в предложении. Поскольку же имена среднего рода (в большинстве своем — неодушевленные) обладают очень невысокой потенциальной агентивностью, в показателе прямого дополнения *-*m* у этих имен не было особой необходимости. По аналогии с конструкцией, допустимой первоначально в претерите, прямое дополнение «активизованной» пассивной конструкции стало оформляться так же, как прямое дополнение собственно активной конструкции со сказуемым в форме претерита. Затем действие аналогии вышло за рамки претерита и распространилось на презентные конструкции, как активные, так и медиопассивные. В связи с этим стали возможны конструкции типа С(1) **māter pek*^{w}*-et-(i) medhu* «мать (ном. ед. ч.) варила (варит) (перех.) мед (акк. ед. ч., ср.)».

Согласно [10, с. 173], в дочерних и.-е. языках древние атематические имена среднего рода довольно редки. Так, в др.-инд. *yugam* «ярмо» *-m* первоначально был суффиксом, однако в дальнейшем, в силу сходства с формами аккузатива ед. ч. имен мужского (и женского) рода на **o-*, *yugam* стало склоняться по образцу этих одушевленных имен. Таким образом, нет надобности полагать, что в праиндоевропейском имена среднего рода в номинативе или в аккузативе вообще имели какое-либо ненулевое оформление. Как правило, аккузатив имен одушевленных (мужского и женского рода) маркировался суффиксом **-m*, а аккузатив имен неодушевленных (среднего рода) — нулем.

Некоторую параллель этому можно усмотреть в чанском (лазском) диалекте занского языка (южный Кавказ). Согласно работе Г. А. Климова [28, с. 78], накануне распада общекартвельского праязыка морфема **-s* выступала как грамматический показатель косвенного падежа во всех сериях времен, а также как показатель прямого объекта в первой (презентной) серии времен. В результате разнообразных изменений, в целом приведших к существенной номинативизации чанского, в современном языке возникло два варианта аккузатива: один показатель аккузатива восходит к показателю номинатива, другой — к **-s*. При этом второй из названных алломорфов появляется при именах, подчиненных весьма ограниченному классу глаголов, управляющих одушевленным объектом. Например, *ḳaṭu-k moč̌angu Axmedi-s* «кошка (эрг. > ном.) оцарапала Ахмеда (дат. > акк.)» [29, с. 153].

Рассмотрим теперь первый из поставленных выше вопросов. Поскольку выдвигается предположение о том, что номинатив в и.-е. языках происходит из абсолютива, следует найти удовлетворительное объяснение происхождению форм сигматического номинатива. Здесь снова можно обратиться к чанскому материалу, позволяющему проследить некоторые типологические параллели. В чанском показателем номинатива может быть как *-k*, так и 0. Ср. *bere imṭu* «парень убежал» и *bere-k ibgaru* «парень (эрг. > ном.) заплакал» [28, с. 154]. Можно предположить, что в и.-е. у одних имен в номинатив превращается эргатив (=генитив) [5], а у всех прочих имен форма номинатива возникает из формы абсолютива.

Факт развития сигматического номинатива ед. ч. из сигматического генитива ед. ч. объясняет совпадение этих падежных форм в хеттском (ср. *antuhšaš* «человек», ном.-ген. ед. ч. [30, с. 132—133]), готском

[5] Речь идет об именах мужского и женского родов с основой на **(j)o-*.

(имена с основой на *jo-, например, *harjis* «войско» *hairdeis* «пастух», ном.-ген. ед. ч.), ведийском (например, *ve-s* «птица», ном.-ген. ед. ч., помимо обычного ном. ед. ч. *vi-s* [31, с. 362]).

По другой гипотезе, также объясняющей происхождение сигматического номинатива, форма генитива ед. ч. приобретает атрибутивное употребление (ср. и.-е. ном. ед. ч. **jātēr* «врач» и соответствующую ей форму ген. ед. ч. **jātrós* «врачебный, относящийся к врачу»). Подобная форма, употребляющаяся как прилагательное, затем может снова быть субстантивирована и переосмыслена в номинатив [32, с. 250—263]. Возможную аналогию этому явлению можно усмотреть в использовании хеттской формы ген. ед. ч. *waštul-aš* (от *waštul* «грех») в значении «грешник» или формы ген. ед. ч. *tayazil-aš* (от *tayazil* «кража») в значении «вор» [22, с. 123].

Сходные процессы наблюдаются и в литовском языке, где в некоторых случаях подлежащее, выраженное номинативом, может замещаться именем в генитиве, ср.: (а) *Cinoko dìr neìšvirė, o Baltaragio jaũ susėdo válgyti* «Цинокасы (ген. ед. ч.) еще не закончили готовить, а Бальтарагисы (ген. ед. ч.) уже сели есть» или «У Цинокасов еще..., а у Бальтарагисов уже... [33, с. 290]; (б) *Kaimýnu jaũ ir linùs nuróvė, ir roputès nùkasė, o mũsu dìr, antaĩ vasarójus añt laũko* «У соседей [на ферме] (ген. мн. ч.) уже даже лен собрали и картошку выкопали, а у нас-то (ген. мн. ч.) урожай еще не снят». Согласно Академической грамматике литовского языка, генитив в этих предложениях можно заменить на номинатив без какого-либо изменения смысла [33, с. 291]. Так, вместо (б) возможно (в) *Kaimýnai jaũ ir linùs nuróvė...* «Соседи (ном. мн. ч) уже лен собрали...».

Итак, источником конечного *-*s*, ставшего затем одним из показателей номинатива ед. ч., послужили в праязыке имена с основой на *-*o*. Преобразование, о котором идет речь, носило постепенный характер и так и не завершилось окончательно. Скажем, хеттские личные имена иногда выступают с конечным *-š*, а иногда без него; обычно это объясняется аккадским влиянием [34, с. 99], однако нам кажется, что это необязательно так. А. Чикобава [35, с. 228] отмечает, что в древнегрузинском неопределенный падеж личных имен первоначально использовался там, где эти имена выступали в функции субъекта. Действительно, в предложении *Abraam*/**Abraam-man šva Jsaak* «Авраам родил Исаака» имя субъекта оформлено неопределенным падежом, а не эргативом.

Суммируем сказанное. Праиндоевропейское состояние можно признать типологически не совсем обычным постольку, поскольку имеется как ненулевой показатель субъекта (в том числе — показатель номинатива *-*s*), так и ненулевой показатель объекта (в большинстве случаев это показатель аккузатива *-*m*). Однако ненулевое оформление имен не распространяется последовательно на все синтаксические конструкции языка. Что касается конструкций с нулевым оформлением номинатива и с аккузативом на *-*m*, то они, по нашей гипотезе, возникают на основании номинативно-аккузативной (<абсолютивно-косвеннообъектной) конструкции с глаголом-сказуемым в форме презенса. Конструкции же с сигматическим номинативом и нулевым оформлением аккузатива, по-видимому, развиваются из эргативной конструкции, типичной для претерита. Праиндоевропейский исходно представлял собой эргативный язык смешанного типа; в ходе дальнейшего развития он полностью стал номинативным. Черты первоначальной эргативности, возможно, сохраняются в некоторых современных индоиранских языках.

В презенсе (или в системе несовершенного вида) наиболее существенными членами предложения являются элементы, выражающие действие как таковое и его исполнителя. Для системы претерита (или системы совершенного вида) важнее всего результат действия и объект (цель) этого действия. Соответственно, в презенсе (несовершенном виде) немаркированным остается исполнитель действия, в претерите же (совершенном виде) — объект (цель) действия.

Перевела с английского *Полинская М. С.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Kortlandt F.* I.-E. palatovelars in Balto-Slavic.— In: Recent developments in historical phonology. Ed. by Fisiak J. The Hague—Paris, 1978.
2. *Plank F.* Ergativity, syntactic typology and universal grammar.— In: Ergativity. Ed. by Plank F. London—New York, 1979.
3. *Schwyzer E.* Zum persönlichen Agens beim Passiv, besonders im Griechischen. Berlin, 1942.
4. *Schmalstieg W. R.* New thoughts on Indo-European phonology.— KZ, 1973, Bd. 87.
5. *Schmalstieg W. R.* Indo-European linguistics: a new synthesis. University Park—London, 1980.
6. *Benveniste E.* La construction passive du parfait transitif.— BSLP, 1952, t. 48 (русск. пер.: «Пассивное оформление перфекта переходного глагола».— В кн.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974).
7. *Сахокия М. М.* Сопоставительный анализ форм посессивности и переходности в древнеперсидском, древнеармянском и древнегрузинском языках.— В кн.: Языки зарубежного Востока. М., 1977.
8. *Ambrazas V.* Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė. Vilnius, 1979.
9. *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. Tl. 4. Heidelberg, 1928.
10. *Burrow T.* The Sanskrit language. Glasgow, 1965 (русск. пер.: *Барроу Т.* Санскрит. М., 1976).
11. *Ruipérez M.* Some remarks on the Mycenean verbal ending *-toi-*—Minos, 1968, v. 9.
12. *Krause W., Thomas W.* Tocharisches Elementarbuch. Bd. I. Heidelberg, 1960.
13. *Sturtevant E.* A comparative grammar of the Hittite language. New Haven — London, 1951.
14. *Thurneysen R.* A grammar of Old Irish. Dublin, 1946.
15. *Cowgill W.* The origins of the insular Celtic conjunct and absolute verbal endings.— In: Flexion und Wortbildung. Hrsg. von Rix H. Wiesbaden, 1975.
16. *Collitz H.* Die Herkunft des schwachen Präteritums der germanischen Sprachen.— The American journal of philology, 1888, v. 9.
17. *Godel R.* An introduction to the study of classical Armenian. Wiesbaden, 1975.
18. *Whitney W. D.* The roots, verb-forms and primary derivatives of the Sanskrit language. Leipzig, 1885.
19. *Елизаренкова Т. Я.* Эргативная конструкция в новоиндийских языках.— В кн.: Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
20. *Kerns J. A., Schwartz B.* A sketch of the Indo-European finite verb. Leiden, 1972.
21. *Schwyzer E.* Griechische Grammatik. Bd. 2. München, 1966.
22. *Friedrich J.* Hethitisches Elementarbuch. I. Heidelberg, 1960.
23. *Paul H.* Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1920 (русск. пер.: *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960).
24. *Paternost J., Schmalstieg W. R.* Slovanski edninski rodilnik kot izvor dejanja pri deležnikih na *-no-* in *-to-*.— Jezik in slovstvo, 1977, t. 22, № 5.
25. *Schmalstieg W. R.* Indo-European linguistics. A new synthesis. University Park — London, 1980.
26. *Gołąb Z.* Endocentricity and endocentrization of verbal predicates: illustrated with Latin and Slavic material.— General linguistics, 1975, v. 15, № 1.
27. *Bogoljubov M. N.* Typological parallels of the Old Armenian perfect with a transitive verb.— In: Abstracts of the international symposium on Armenian linguistics. Erevan, 1982.
28. *Климов Г. А.* Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте. М., 1962.
29. *Климов Г. А.* Аномалии эргативности в лазском (чанском) языке.— Philologia orientalis, 1976, v. 4.
30. *Иванов В. В.* Хеттский язык. М., 1963.
31. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947.
32. *Villar-Liebana F.* Origen de la flexión nominal indoeuropea. Madrid, 1974.
33. *Ulvydas et al.* Lietuvių kalbos gramatika. 3. Vilnius, 1958.
34. *Kronasser H.* Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg, 1956.
35. *Чикобава А. С.* Историческое взаимоотношение номинативной и эргативной конструкции по данным древнегрузинского языка.— ИАН ОЛЯ, 1948, № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

БОГОЛЮБОВ М. Н.

ХОРЕЗМИЙСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ГЛОССЫ В «ХРОНОЛОГИИ» БИРУНИ. II.

Продолжая анализ хорезмийских календарных глосс «Хронологии» Бируни, рассмотрим здесь те, которые находятся в главе, посвященной домусульманским праздникам Хорезма [1, с. 235—238; 2, с. 256—258]. Мы расположили глоссы — названия праздников, в календарном порядке [1]. Арабской цифрой обозначен день месяца, римской — месяц. Цифрой с круглой скобкой помечен порядковый номер раздела. Осмысляя написания и восстанавливая по ним хорезмийские слова, мы стараемся не затрагивать их графического облика. Допускаем, однако, взаимозамену обычно смешиваемых букв d/r/w и иную расстановку точек, которые придают различные значения одинаковым по начертанию арабским буквам.

(1) 11.I. byxǰčy ryd. Этот праздник называли также n'ws'rǰk'nyk «происходящий в N'ws'rǰy», первом месяце года, начинавшегося в день весеннего равноденствия. Примем byxǰčy ryd в чтении pyxc'cy ryd.

Хеннинг [3] объединил хорезм. pyxk «узел» с авест. piϑa- в navapiϑa- «имеющий девять узлов, сочленений (о тростнике)». Хорезм. pyx(y)k, которое передает араб.ka'b «узел (на древке копья)» и перс. band, byx (вместо pyx, pēx, ср. ср.-перс. piϑak), ожидалось бы (начало рукописи Muqaddimat al-Adab утрачено) при араб. ku'burat «узел», «сочленение», перс. band-i nāyīža «узел на камыше, стебле», «междуузлие», «трубка (колоса)», kafa «колос» [4, с. 14, стк. 21].

При отыменном глаголе *pyxc(y)- «колоситься» и инфинитивах *pyxc'k, *pyxc'd искомое pyxc'cy является формой род. падежа жен. рода: pyxc'cy ryd «Праздник злаков» [2].

(2) 1.III. 'ryǰsw'n/'ryǰh's čwz'n. Глоссы поясняются арабскими фразами sayaḫruǰu (satahruǰu [6, л. 13б]) min al-libāsi «он выйдет (ты выйдешь) из одежды», innahu waqtu-t-ta'arrī wa-t-takaššufi «Это то время, когда обнажаются и раскрываются».

На месте 'ryǰh's čwz'n прочитаем 'z pch's c wz'n; wz'n — 1-е л. сослаг. наклонения. от ('')wz- «выходить» к др.-иран. *uz-i-; wz'n «я бы вышел, мне бы выйти, если я выйду». Буквой c передано местоименное наречие c' «из него, оттуда», подобно тому, как в следующих примерах местоименное наречие w' «в нем, в него, там, туда» выражено буквой w без «алифа»: f' mδ'n w c'yt [7, с. 474, 5; см. также 8] «в середину, в нее он вошел», z'fk w c'yt [6, с. 471, 2] «глубоко туда он вошел». Сочетание c wz'n мы переводим «я бы вышел из него». Вместо обычного pcx's «одежда» здесь находим pch's. Перед pch's ожидался бы предлог c <hačā «из» (с артиклем): c (-ī) pichāsa ca uzān «из одежды, из нее я бы вышел». В данном случае, очевидно, предлог передан буквой z; перед предлогом стоит восклицатель-

[1] В «Хронологии» [1, с. 235—238] праздники разделены на две группы, те, «которые не связаны с делами их веры» (это — 1.III, 15.IV, 1.VI, 1/VII, 15.X; 4,10, 20.XII), и те, «которые нужны им в делах их веры» (это — 11.I, 1.IV, 15.V, 15.VII, 1.X, 1.XI).

[2] Как рассказывает ал-Джаḥиз (ум. в 869 г.), обычно за 25 дней до Навруза (первого дня Нового года) во дворе дворца царя выкладывали из сырца 12 полосгряд, на которых сажали пшеницу, ячмень, рис, чечевицу, бобы, овес, просо, кукурузу, фасоль, горох, кунжут, маш. На 6-й день после Навруза жали злаки с пением, музыкой, увеселениями, разбрасывали их в зале собраний и не убирали до 16-го дня месяца. Возделывая злаки, верили, что те из них, которые будут более рослыми и зрелыми, дадут в году больший урожай [см. 5]. Хорезмийский «Праздник злаков» — pyxc'cy ryd, который отмечали на 11-й день после Навруза, по-видимому, является аналогичным рассказанному ал-Джāḥизом.

ная частица ā: ā-zi pichāsa ca uzān (или c-ōzān, c-uzān) «Эх, вышел бы я из одежды!».

Глосса ʾryǰʾswʾn является дефектным написанием вышеразобранной ʾryǰ[hl]ʾs [č]w[zl]ʾn, т. е. ʾz pchʾs c wzʾn — ā-zi pichāsa ca uzān (или c-ozān, c-uzān).

(3) 1.IV. myθ sxn ryd; hʾwrdmynyk; ʾǰγʾrmynyk. Хорезм. sxn «выкуп» k (ʾ)sxn- «выкупать» <*us-xṛna-, ср.: yʾγryw msxnyd [7, с.146, 7] «он выкупил себя», kʾβʾzd yʾ ǰftʾm yʾ γryw sxnʾc [9] «если у тебя тогда моя жена себя выкупит», msxndʾh cy ysyrʾwk [7, с. 146, 6] «он выкупил его из рабства».

myθ sxn ryd значит «праздник Дня выкупа». Бируни отметил, что его называют также ḫʾwrdmynyk, что по-арабски значит ʾlqrʿy «тыквенный» [1, с. 237; 2, с. 258]. Писец неправильно расставил точки в арабском слове. В результате получилось ʾlqrʿy «тыквенный» вместо ʿlfrγy ʾal-firīγiyyu «свободный». Сравнение с хорезм. xwʾsʾr «свободный» позволяет исправить ḫʾwrdmynyk на x(w)ʾwrdmynyk, где wrd — усеченный инфинитив от wrdʾk «становиться»: x(w) ʾwrd «освобождение», букв. «становление самим собой», ср. перс. xᵛad rusta «растущий на свободе»; x(w)ʾwrdmynyk «предназначенный для освобождения, (день,) в который можно освободиться (посредством выкупа)».

ʾǰγʾ rmynyk значит «(день,) в который допускается (праздновать) ʾǰγʾr», [см. (4)].

(4) 15.IV. ʾǰγʾr. Хорезмийский календарь согласован с авестийским сезонным, в котором hapta hənti hąminō mąŋhō panča zayana aškarə [10, стлб. 1553] «летних месяцев — семь, по прошествии пяти зимних». В дозороастрийской практике год делился в точках равноденствий на два полугодия — «лето» и «зиму». При этом дни празднования солнцестояний приходились на астрономические даты. С удлинением «лета» до 210 дней и сокращением «зимы» до 155 дней празднования солнцестояний отклонились от истинных дат на 15 суток.

ʾǰγʾr — праздник «середины лета», исторически знаменовал летнее солнцестояние. По мнению Хеннинга [11, с. 22], ʾǰγʾr < *ati-g(h)āra(h)- значит «the greatest heat». Форма *ati-g(h)āra(h)- выглядит, благодаря ati-, искусственной, но предложенное Хеннингом значение ʾǰγʾr неоспоримо [3]. Оно поддерживается глоссой сугу fʾrʾzʾk, т. е. сугу (fw)ʾβrʾzʾk «(IV месяц) Тир, (в нем) жара/сверкающее (солнце)» [12].

Заманчивым представляется связать ʾǰγʾr *iǰγār < *čiγār/*čēγār с др.-иран. taigāra- от *taig- «сверкать», «пылать».

Бейли [13, с. 448], объясняя сак. hatīys- «сверкать» из *fra-taiǰa- <*fra-taig-, сослался на др.-инд. téǰas-, совмещающий «острота, заостренность» с «огонь, жар, пыл, зной, свет, блеск»; сак. hatīys «сверкать» <*fra-taig- и хорезм. ʾǰγʾr < *taigāra «сильная жара, сильное свечение (солнца)» дают основание считать, что в иранском лексическом фонде, как и в индийском, корню taig-: tig- было присуще значение «светить, сверкать».

К *taigāra-, образованному с суффиксом усиления, увеличения -āra-, примыкают kṛmi- «червь» и *kṛmāra- «червячище», откуда (с диссимиляцией r—r) идет перс. mār «змея»; *tigma- (ср. др.-инд. tigmá- «острый») и *tigmāra-, отразившийся в перс. tīmār «печаль, горесть, забота, сочувствие» (ср. перс. sūxtan «гореть» и «страдать, печалиться»); авест. daxšāra- «знак»; сак. udāra «кристалл» < *wṛtāra- к wart- «камень» [13, с. 36].

Хорезм. ʾǰγʾr *iǰγār «сильная жара, праздник летнего солнцестояния» [4].

---

[3] Г. Гумбах (ZDMG, 1974, № 124, S. 176) возводит ʾǰγʾr- к *aṯr- gāra- «das Feuer wachhaltend», исходя из замечания в «Хронологии» о том, что «в прошлом это было начало того периода, когда нужно греться у огня из-за перемены погоды осенью» [2, с. 256—257]. Восстановление неприемлемо.

[4] Летнее солнцестояние — ʾǰγʾrmynyk и ʾǰγʾr отмечали 1.IV и 15.IV. Это значит, что в Хорезме помимо «зороастрийского» продолжали употреблять древний календарь, в котором год делился на шесть летних и шесть зимних месяцев. Ср. также перс. tēγ «меч, луч» (< taiga-) в значении «свет»: *барад āфтаб аз māh-и замир-и ман теγ* «Солнце несет свет от луны моего сердца» [14].

(5) 15.V. mδy'n ryd; 'njmrδk'nyk. Пятый месяц, хорезм. Hmd'd Hamadād, продолжает зороастрийский, посвященный божеству бессмертия, вечности, жизни — авест. Amərətāt-, Amərətatāt-. Хорезмийские mδy'n и 'njmrδk'nyk передают неканонические имена этого же божества: mδy'n/mdy'n со вторичным абстрактным суффиксом -y'n восходит к amṛta- «бессмертный», ср. хорезм. δrwk «больной» < adruwa-; mδy 'n/mdy'n ryd «праздник бессметртия». Описательное название, по-видимому, объяснение: 'njmrδk'nyk является относительным прилагательным на -k'n(y)k от 'nč «нет» и mrδ «смерть», ср. согд. mwrδw «смерть»: 'nčmrδk'nyk «в котором нет смерти».

(6) 1.VI. fγbryh, fγrbh. В пояснении — араб.maḫraju-š-šāh «выезд шаха». fγbryh в чтении βγbryh является композитом, состоящим из βγ *viγ «государь» (ср. хорезм. fyγ, т. е. βyγ, названию 16-го дня месяца) от baga- «бог», ср. согд. βγ, βγw «государь, господин». bryh, точнее pryh, «отъезд» < para-i- «уходить, удаляться», подобно cy- «входить» < *ati-i- и ('')wz- «выходить» < *uz-i-. Если в pryh конечная буква h истинная, то pryh восходит к основе аориста para-iša- от *para-i-. За h могли принять d. В этом случае *pryd передаст *para-itā- — инфинитив от -i, ср. хорезм. 'yd (жен. род) «ход, хождение». βγpryh/d «отъезд государя». Форма fγrbh является искаженным написанием предыдущей.

Хеннинг [11, с. 45] ошибочно вывел из непереходного глагола *para-i- «удаляться» переходные формы со значением «оставлять, покидать, отпускать, давать развод»: p'ryt'h «он освободил, оставил, извлек его», nyh pryc «он ее не отпускает», nyf' f' pryt «он тебя не освободил», pr'd «развод», pr'dk «разведенный», pr'c «разведенная». Эти формы образованы с превербом para- от rā- (ar-:r-:rā- [см. 13, с. 244]) «отделять»: *pa(ra)-rā-. Глагол *pa(ra)-rā- (корень rā- в нем определил А. А. Фрейман [15]) спрягается так же, как *fra-mā-, хорезм. š'myt «он приказал»; *pari-mā-, хорезм. p'rmyt'h «он испытал его». Хорезм. pr'd «развод», pr'dk «разведенный», pr'c «разведенная» являются регулярными производными от *pa(ra)-rā- «оставлять, отпускать».

(7) 1.VII' zd'knd xw'r. Поясняется через араб. yawmu 'akli-l-ḫubzi-l-mušaḥḥami «день, когда едят хлеб, [испеченный] с жиром» [2, с. 257]. У Замахшари [7, с. 25, 5] арабскому murattan «хлеб, пропитанный жиром» (=перс. nān-i bā pīh āganda) соответствует хорезм. 'zd'knd. Словосочетание 'zd'knd' xw'r или полнее (myθ) 'zd'knd xw'r переведем «(день), когда едят (xw'r — инфинитив от xr-, xwr- „есть") наполненный жиром (хлеб)». Слово 'zd'knd uzd-āgand, по-видимому, персидское (ср. перс. pašmāgand «наполненный шерстью»), а не хорезмийское: ср. перс. wazd «жир», но хорезм. 'zd(y)x «жир», θzd(y)x «с жиром», 'zdxync «жирные», последовательно отличающиеся своим -(y)x. Хеннинг [16, с. 115, примеч. 1] членит 'zd'knd на 'zd'-knd uzdā-kand, выводя форму из uzdah-kand, uzdax-kand, где uzdax, uzdah < *wazdaha- при авест. vazdah-, афг. wāzda «жир, сало».

(8) 15.VII. myθ zrmy ryd, xyr rwčk'nyk. Здесь, как и в праздниках 1.IV., 15.IV, посвященных летнему солнцестоянию [см. (3), (4)], отразились два сезонных календаря — авестийский с его членением года на 210 летних дней и 155 зимних, и дозороастрийский, в котором год членился на два полугодия, в точках равноденствий. По-видимому, осеннее равноденствие праздновалось 1.VII., когда 'zd'knd xw'r «ели хлеб, испеченный с жиром», и 15.VII., справляя myθ zrmy ryd или xyr rwčk'nyk. Это второе название означает «посвященный дню (rwč) солнца (xyr < xwar-)». Затруднение представляет zrmy в myθ zrmy ryd «день праздника zrmy».

Авест. zarəmaya-, принятое в значении «весна», происходит от zar- «светить, сверкать», и.-е. *ĝher- «блистать», русск. *заря*, *зорька*, *зарево*, *зарница*, *озарять*. В авестийском сезонном календаре Maiδyōi·zarəmaya- «Середина весны» обозначает божество и посвященный ему 45-й день первого сезона года. Из этого следует, что исторически сезон zarəmaya продолжался 90 суток и заканчивался в день летнего солнцестояния. Др.-иран. *zarma-ya-, в отличие от авест. zarəmaya- «весна», следует принять в его основном значении, которое сохранилось в сакском pāśāre «солнечный свет», также восходящем к zar- «светить», «сверкать» [13, с. 234]. И посколь-

ку myθ zrmy ryd толкуется через хуг rwčk'nyk «посвященный дню Солнца», допустимо, что myθ zrmy ryd значит «праздник дня солнечного света».

Обсуждая хорезм. zrmy, учтем авест. zaramaya raōγna [10, стлб. 1488] «zaramaya масло», которое вместе с haurvatāt- «целостность (здоровье)» и amərətāt- «бессмертность (жизненная сила)» выступает как пища бессмертия [17]. Подобно haōmō frāšmiš «ярко сверкающему хому» [18], zaramaya raōγna значит «лучистое масло». Могло быть таковое в ритуале почитания угасавшего Солнца, вступившего в период осеннего равноденствия. В этом случае 'zd'knd «хлеб с жиром», который ели 1.VII, тоже представлял собою ритуальную пищу, символ «здоровья» — harwatāt- и «жизненной силы» — amṛtatāt-, в которых в преддверии зимней тьмы и стужи нуждались и люди, и склоняющееся к горизонту, слабеющее Солнце.

(9) 1.X. kjδryk'nyk. У Замахшари [7, с. 199,2] находим kxrzy'wc mkyd «он гадал, ворожил, колдовал», араб. kahana «он предсказывал, предугадывал», перс. fālgōyī kard, fālgīrī kard «он предсказывал, он гадал». Маккензи [19] сопоставил хорезм. kxrzy'wc с авест. ka-xᵛarəiδī- «колдунья» и арм. kaxard «волшебник, чародей». На месте kjδryk'nyk, учитывая мену d/δ/r/z, прочитаем kxrzyk'nyk «(день), посвященный гаданиям». Так отмечалось зимнее солнцестояние, которому соответствовал (ā)nāfakānc angām «праздник (солнце) ворота» [12].

(10) 15.X. nymxb, mynj 'xyb. При nīmixxiba «полночь», вместо mynj 'xyb прочитаем nymc 'xyb nīmca ixxība «половина ночи» с согласованием по роду, как в пушту nīma wradz «полдень», nīma špa «полночь».

«Полночь» как название, исторически относящееся к дню зимнего солнцестояния, представляет значительный интерес. Оно дает основания считать, что зимнее полугодие называли также «ночью», а точку зимнего солнцеворота «полночью» или «половиной ночи». В авестийском сезонном календаре она носит имя maiδyāirya- sarə-dā- «середина части года, несущей холод».

(11) 1.XI. 'rθmyn ryd, 'rθmyn d k'nyk [1, с. 238]; 'rθmy, 'rθmyrd k'nyk [6, л. 131а]. В первой части 'rθmyn, 'rθmy совпадает с 'rθγn [6, л. 27 аб], хорезмийским названием 20-го дня месяца — wrθaγn, восходящим к авест. Vərəθraγna-. Во второй части 'rθmyn, 'rθmy находится инфинитив *mayana- от mai-: mi- «сокрушать, уничтожать», представленных в авест. vimiti- «сокрушение, уничтожение», авест. vīmītō dantan- «с поврежденными зубами», парф. wmys- «блекнуть». Древнеиндийскими соответствиями являются mināti/minīté : mītá «уменьшать, вредить, повреждать», в каузативе «убивать». С инхоативом от mai- : mi- образовано название десятого месяца согдийского календаря msβwγyč, m'sβwγyč, ms'ſwγ < misat-bauga- «уменьшение склонения (солнца)». Также инфинитив от mai-: mi-, др.-иран. форму *mitāi находим в названии одиннадцатого месяца согдийского календаря žymtyč, которое хорошо объясняется из др.-иран. *Aži- mitāi «сокрушение змея Ажи». В Ригведе под именем Áhi- «змей», которому соответствует авест. Aži- «змей», выступает Вритра [20, с. 1334], гигантский змей, персонифицирующий зиму и мрак.

Хорезмийские 'rθmyn, 'rθmy Urθmīn, Urθmī можно было бы приравнять к авестийским vərəθra- gan- «бить, ломать, сопротивление», vərəθratar- «одолевать сопротивление». Но рядом с согд. Aži-mitāi > Žimitič, названием зимнего месяца, также, несомненно, восходящим к одноименному празднику, хорезм. Urθmīn имеет сходное значение — «Сокрушение (змея) Вритры».

Шестой сезон в авестийском календаре называется Hamaspaθmaēdaya. Принимая это слово в чтении Ham-ā-spāθmai-daya-, мы получаем значение «Противоборство». Так называли период времени, заключенный между хорезмийским днем «Полуночи», как именовалось зимнее солнцестояние, и весенним равноденствием. В Hamāspāθmaidaya «Противоборство», Aži-mitāi «Сокрушение Ажи», Wṛθra-mayana- «Сокрушение Вритры» нашел отражение древний иранский миф о противоборстве сил природы, тепла и холода, света и тьмы в последние месяцы зимнего полугодия.

(12) XII месяц — 'Sbnd'rmjy, авест. Spənta- Ārmatay-. «Четвертый день этого месяца называют Хиж (хуž) — в переводе „вставание" (араб.

qiyām). Десятый день этого месяца — праздник у хорезмийцев, называемый Вахш-Ангам (Wxšnk'm). Вахш — имя ангела, поставленного [наблюдать] над водами, в частности, над рекой Джейхуном» [2, с. 258; см. также 16, с. 115]. Название двадцатого дня этого месяца — хорезм. 'ynjh, араб. al-'aṣ(y)ṣat, идентифицировать не удается.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Sachau Ed.* Chronologie orientalischer Völker von Albêrûnî. Leipzig, 1878.
2. Бируни Абурейхан. Избранные произведения. Т. I. Ташкент, 1957.
3. *Henning W. B.* The Khwarezmian language.— Zeki Velidi Togan'a armağan. Istanbul, 1955, p. 436.
4. *Wetzstein I. G.* Samachscharii lexicon arabicum persicum. Leipzig, 1850.
5. *Vloten G. van.* Le livre des beautés et des antithèses attribué à Abu Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz de Basra. Texte arabe. Leyde, 1898, p. 362.
6. Фотокопия стамбульской рукописи «Хронологии».— Библиотека ЛО ИВ АН СССР, шифр. ФВ 123.
7. Tarjamatu Muqaddimati-l-'Adab bi-l-hwārazmiyyati li-l-allāmati Maḥmūd b. 'Umar al-Zamaḫšariyyi. İstanbul, 1951.
8. *Benzing J.* Das chwaresmische Sprachmaterial einer Handschrift der «Muqaddimat al-Adab» von Zamaxšarī. Wiesbaden, 1968.
9. *Боголюбов М. Н.* Частицы в хорезмийском языке.— Уч. зап. ЛГУ, 1961, сер. востоковедческих наук, № 12, с. 83.
10. *Bartholomae Chr.* Altiranisches Wörterbuch. 2. Unveränderte Auflage. Berlin, 1961.
11. *Henning W. B.* A Fragment of a Khwarezmian Dictionary. London, 1971.
12. *Боголюбов М. Н.* Хорезмийские календарные глоссы в «Хронологии» Бируни.— ВЯ, 1985, № 1, с. 33.
13. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
14. *Salemann C.* Shams i Fachrii Ispahānensis. Casani, 1887, p. 67, № 22.
15. *Фрейман А. А.* Хорезмийский язык. М.— Л., 1951, с. 58.
16. *Henning W. B.* Mitteliranisch. In: Handbuch der Orientalistik. 4. Bd. Iranistik. Leiden—Köln, 1958.
17. *Widengren G.* Die Religionen Irans. Stuttgart, 1965, S. 104.
18. *Gershevitch I.* The Avestan Hymn to Mithra. Cambridge, 1967, p. 233.
19. *MacKenzie D. N.* The Khwarezmian glossary.— Bulletin of the Scholl of Oriental and African Studies University of London, 1970, XXXIII, pt. 3, p. 557.
20. *Grassmann H.* Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1879, S. 1334.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

АБАЕВ В. И.

Parerga 1.

«СИНЕЕ ВИНО» В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» подобно двуликому Янусу. Одним лицом оно обращено к народной поэзии, другим — к литературным традициям, сформировавшимся в первые века русской письменности. Различить эти два лица не всегда легко, в особенности если учесть, что то, что мы называем литературной традицией, тоже где-то в своих истоках могло смыкаться с фольклором.

Подобные сомнения — фольклорное или книжное? — возникают по поводу многих пассажей знаменитой поэмы.

Сон князя Святослава — вставной сюжет в «Слове о полку Игореве» — композиционно не очень крепко связан с основным содержанием поэмы, и не исключено, что он взят как готовое клише из другого, фольклорного или литературного, источника. Указывали, в частности, на сходство сна Святослава со сном древлянского князя Мала из «Повести временных лет» [1, II, с. 299—300; 2, с. 113—114]. Оба сновидения содержат пророчество о смерти: «черное одеяло» в одном случае, «черная паполома (покрывало)» в другом, жемчуг, детали погребального обряда.

«Сон Святослава» богаче по содержанию, чем «сон Мала», и содержит некоторые упоминания, которых нет в последнем, в частности, «синее вино». Привожу относящуюся сюда часть текста:

> А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ въ Кіевѣ на горахъ:
> Си ночь съ вечера одѣвахуть мя — рече,— чръною
> паполомою на кровати тисовѣ, чръпахуть ми синее
> вино съ трудомъ смѣшено...
>
> Перевод:
>
> А Святослав смутный сон видел в Киеве на горах:
> «В эту ночь с вечера одевали меня,— говорил он,—
> черным покрывалом на кровати тисовой, черпали мне
> синее вино, с горем (?) смешанное...»

А. Л. Никитин полагает, что под «синим вином» следует разуметь уксус («уксус из красного вина имеет синий цвет» [2, с. 121]). Крайне сомнительно. Слово *уксус* (*оуксоусъ*), из греч. ὄξος, уже вошло в русский язык в XII в. Оно документируется с 1136 года [3, III, стлб. 1193]. Думать, что оно не было известно такому просвещенному человеку, как автор «Слова», нет оснований. Не говорю уже о том, что утверждение, будто уксус из красного вина бывает синего цвета, нельзя признать точным.

Эпитет «синий» не мог относиться ни к какому виду виноградного вина. Речь могла идти только о хлебном *вине*, т. е. водке.

Авторитетные словари русского языка снабжают *вино* в значении «хлебного вина» пометой «простореч.» [4] или «разг.» [5]. Эти пометы ошибочны. Справедливо обратное: *вино* в применении к хлебному хмельному напитку — слово более высокого стиля, нежели *водка*. Трудно было бы понять, каким образом от «просторечного» *вино* образованы такие совсем не просторечные, а вполне литературные, имеющие даже терминологический статус, можно сказать, «официальные» выражения, как *винокуренный завод* «завод по производству водки», *винная монополия* «государственная монополия на производство и продажу водки». Даль в своем словаре под словом *вино* приводит сперва «хлебное вино», а потом уже «виноградное». Слова *водка* в древнерусском литературном языке вообще не существовало.

А соответствующий напиток был известен. Как же его называли? Заимствованное (из лат. *vinum*?, из груз. *γvino*?) *вино* стало применяться не только к виноградному, но и хлебному напитку. Такой перенос понятен. В северных областях России виноградное вино было только привозное и в старину считалось деликатесом. Поэтому *вином* стали называть также хлебный напиток, третий распространенный алкогольный напиток рядом с медом и пивом. И. И. Срезневский в своих «Материалах» под словом *вино* не разделяет значения «хлебное» и «виноградное», вероятно, потому, что контекст не всегда подсказывает однозначно, о каком из двух напитков идет речь [3, I, стлб. 259]. Но вряд ли можно сомневаться, что по крайней мере часть приведенных их примеров относится к хлебному вину.

Но почему вино — «синее»? Надо полагать, потому же, почему в русском фольклоре, в частности, в былинах, (хлебное) вино — «зеленое» («чара зелена́ вина»). Синий и зеленый цвета — соседи по спектру и могли заменять друг друга как украшающий эпитет хлебного вина.

Слово *синий* одного корня с *сиять*, и в его семантическое поле входили понятия «прозрачности», «яркости». Не случайно в «Слове о полку Игореве» *синий* выступает также как эпитет *молнии*: «...трепещуть синіи млъніи». «Синее вино» = прозрачное, очищенное вино. Ср. русск. *сивуха* (от *сивый*) — мутная, неочищенная, «сивая» водка. *Синий* и в современном русском языке употребляется как синоним «прозрачного». Например, у В. Шукшина: «Дождик перестал, за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий» [6]. Поэтому вряд ли есть необходимость объяснять синеву вина в «Слове» какими-то особыми окрашивающими примесями, как считает А. Г. Степанов: «Специалисты Института органической химии АН СССР подтвердили, что для улучшения его свойств в спирт могли добавлять какие-либо бактерицидные вещества, в первую очередь — растительного происхождения, которые и придавали жидкости синеватый оттенок» [7].

Полную аналогию «синему вину» древнерусской поэмы мы находим в осетинском языке. Здесь чистое хлебное вино (*araq*) имеет постоянный эпитет *c'æx* «синий». В застольной песне пирующие обращаются к хозяйке:

Raxæss ma nyn dæ k'æbicæj
Saw bægæny 'mæ *c'æx araq*.
«Вынеси нам из своей кладовки
черное пиво и *синее вино* (арак)».

C'æx araq «синее вино» — такое же устойчивое сочетание, как *saw bægæny* «черное пиво».

В начале нашей заметки мы ставили вопрос о происхождении текста «Сна Святослава». Разумеется, разбор выражения «синее вино» недостаточен для того, чтобы ответить на этот вопрос. Но все же наличие таких характерных для народной поэзии устойчивых атрибутивных сочетаний, как «синее вино», «серые вороны» (*босуви врани*), «златоверхий терем», говорит о близости к фольклору.

ЛИТЕРАТУРА

1. Повесть временных лет. Ч. I. Текст и перевод; Ч. II. Приложения. М.— Л., 1950.
2. *Никитин А. Л.* Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве». Сон Святослава.— В кн.: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978.
3. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I. СПб., 1893; т. III, 1903.
4. Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова Д. Н. Т. I. М., 1935, с. 294.
5. Словарь русского языка в четырех томах. Т. I. М., 1957, с. 223.
6. *Шукшин В.* Я пришел дать вам волю. Кишинев, 1982, с. 614.
7. *Степанов А. Г.* Сон Святослава и «синее вино» в «Слове о полку Игореве».— В кн.: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков, с. 149.

РУССКИЙ ГИДРО-, ТОПОНИМ *ОРША*

Известно, что старые названия некоторых животных у того или иного народа на почве тотемических и магических верований попадают под запрет, табу и заменяются какими-либо описательными, иносказательными или заимствованными наименованиями. При этом случается и так, что табуированное слово, будучи вытеснено из апеллятивной лексики, удерживается в топонимии, этнонимии, антропонимии, теонимии. Так, исконно латинское название волка, **volcus*, было вытеснено заимствованным *lupus*, но удержалось в имени бога-кузнеца *Volcanus*, в фамильном имени *Volcacius* и, может быть, в латинском названии кельтского племени *volcae*.

В славянских языках не сохранилось общеиндоевропейское название медведя, представленное такими формами, как лат. *ursus*, греч. ἄρκτος, др.-инд. *ṛkṣa-*, авест. *arša-*, осет. *ars*. Это слово попало у славян под запрет и было заменено описательным *медвѣдь* (*-медо-ед* «поедатель меда») [1, I, с. 281—291].

А что, если и.-е. название медведя сохранилось где-нибудь за пределами апеллятивной лексики, например, в топонимии? Стоит поискать. По звуковым нормам русского языка в соответствие приведенным выше и.-е. названиям медведя (др.-инд. *ṛkṣa-*, авест. *arša-*, осет. *ars*) мы должны были бы иметь в русском **орхъ* (с метатезой плавного — **рохъ*) [1]. Отсюда производное *орша* (из **орхја*), с метатезой — **роша* (**ръша*). Формально **орхъ* относится к *орша*, как *порохъ* к *пороша*, *пархъ* к *парша*, *верхъ* к *верша*, *духъ* к *душа*, *сухъ* к *суша* и т. п. Мы приходим, стало быть, к хорошо известному русскому топониму *Орша* (*Ръша*). Он известен с глубокой древности. Упоминается в «Повести временных лет» («И взя Вячеславъ Ръшю и Копысу») [3, I, с. 112, 200; II, с. 397, 483]. Сюда же современное *Орша* — название города в Витебской обл. на Днепре, также название нескольких рек в разных частях территории России, в частности, название левого берега Волги в Калининской области [4], *Оршанка* — название населенного пункта [5, с. 168]. Название животных в топонимии — дело обычное. Несколько рек в разных областях России носят название *Медведица* [5, с. 160; 6]. Ряд населенных пунктов зовутся *Медведево*, всего около пятнадцати «медвежьих» топонимов [5, с. 160]. Ср. в литовском *Lokysta* — название реки, от *lokys* «медведь» [7, I, с. 384].

Приведенные факты позволяют высказать предположение, что древнее и.-е. название медведя не исчезло в русском бесследно. Оно сохранилось в ряде гидронимов и топонимов в форме *Ръша*, *Орша*, *Оршанка*, *Оршица*. Форма *Орша* относится к *Оршица*, как *лиса* к *лисица*, *кобыла* к *кобылица* и т. п. *Орша*, с одной стороны, и *Медведица*, с другой, — скрытые синонимы. Антропоним *Орша* (Лермонтов. Боярин Орша), вероятно, вторичный — от топонима [8].

Сомнительны разъяснения гидронима *Орша* у М. Фасмера (к гидронимy *Рось*, к слову *русло* со ссылкой на Соболевского и Бугу) [4]. Не убеждают также сопоставления В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева (др.-прусск. *Russa*, русский гидроним *Росана*) [9].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Meillet A.* Quelques hypothèses sur les interdictions de vocabulaire.— In: Linguisitque historique et linguistique générale. I—II. Paris, 1921.
2. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947, S. 240.
3. Повесть временных лет. I—II. М.— Л., 1950.
4. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971, с. 155.
5. Атлас СССР. М., 1956.
6. Энциклопедический словарь. Т. II. М., 1954, с. 354.
7. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. I—II. Heidelberg, 1962.
8. Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 68—69.
9. *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, с. 200.

[1] Вслед за Ф. Шпехтом [2] мы считаем, что индоевропейские названия медведя возводимы к общему прототипу только по корню, но не по образованию. Видимо, слово уже в древности подвергалось разнообразным табуистическим деформациям и вариациям. Ср. в греческом αρκος рядом с ἄρκτος. Слав. **orx-* вместе с иран. *arša-* безупречно возводится к базе **r̥(k)so-*.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

МАРТЫНОВ В. В.

ГЛОТТОГЕНЕЗ СЛАВЯН

Опыт верификации в компаративистике

Как нам неоднократно приходилось писать [1—12], изучение языковых состояний, не наблюдаемых в живом функционировании и не зафиксированных письменно, требует предварительной разработки правил и приемов их верификации. Диагностирующая сила критериев верификации должна быть проверена на материале, доступном для наблюдения, и лишь после получения положительной оценки использована для реконструкции доисторических языковых состояний [13, с. 5]. Только последовательное и тщательное проведение такого рода процедуры дает нам право на утверждение о достоверности нашей реконструкции.

Фактически разработка правил верификации для компаративистики началась с выдвижения типологического принципа Бодуэна [14]. Принятие его требовало соблюдения последовательной ретроспекции, т. е. отказа от постулирования некоторых подсистем для праязыковых состояний без их восстановления путем постепенного продвижения от известного к неизвестному, от наблюдаемого к ненаблюдаемому. Далее необходимо было отобрать характеристики подсистемы, по которым ее можно реконструировать с максимальной достоверностью. Отбор такого рода характеристик предполагалось проводить на материале, доступном для наблюдения. Те из них, которые оказались бы диагностирующими, в дальнейшем могли использоваться как критерии для восстановления дописьменных состояний языка. В процессе изучения глоттогенеза славян нами был выработан ряд критериев достоверности для восстановления праславянского языка. Ниже мы проведем обзор этих критериев и результатов по реконструкции, полученных с их помощью.

Предварительно хотелось бы отметить, что без выработки критериев и реального их использования невозможна дискуссия по результатам. Аргументы, приводимые ad hoc, не могут приниматься во внимание, равно как и неаргументированная «реконструкция». Для того, чтобы дискуссия была конструктивной, необходимо либо соглашение спорящих сторон о критериях (и тогда спор шел бы о корректности их использования), либо доказательство одной из спорящих сторон диагностирующей слабости критериев, выдвинутых другой (и тогда первая из них должна была бы выдвинуть альтернативные критерии и доказать их диагоностирующую силу). К сожалению, в компаративистике такая процедура не практикуется или, в лучшем случае, проводится непоследовательно, поэтому мы вынуждены отказаться от дискуссии, ограничившись отдельными замечаниями, поясняющими нашу концепцию. В качестве ответа на вопрос о глоттогенезе этноса необходимо определить генезис и эволюцию социума носителей данного языка в реальном пространстве — времени.

Определение пространственно-временных характеристик языка через его конвергенцию (контакты с соседними языками, пространственно-временные характеристики которых известны) не представляет собой ничего нового. Так устанавливались зоны распределения финских, балтийских и восточнославянских диалектов на грани нашей эры или граница, разделяющая языки славян и германцев в V—III вв. до н. э.

Определение прадиалекта для группы диалектов через их дивергенцию (совместные инновации, указывающие на диалектный континуум в прошлом) также не представляет собой ничего нового. Подобным способом ус-

танавливалось единство развития индийских и иранских или балтийских и славянских языков.

Однако в том и другом случае не определялись принципы диагностики этих конвергентных и дивергентных процессов, т. е. отсутствовала собственно верификация, что постоянно ставило под сомнение эвристические результаты и исключало подлинную дискуссию, заменяя ее имитацией научного спора.

Занимаясь проблемой глоттогенеза славян более двадцати лет, мы постоянно стремились верифицировать наши выводы. То, что было сделано в этом направлении, может быть сведено к следующему. Для верификации межъязыковых контактов, которые являются необходимой предпосылкой конвергентных процессов, была разработана теория лексических проникновений, предполагающих пограничное двуязычие при необязательности культурного влияния, характерного для лексического заимствования [1]. Диагностика проникновения определялась фонетической и словообразовательной инновацией в языке-источнике, фонетической субституцией, вызываемой взаимодействием двух фонологических систем, семантической субституцией, вызываемой взаимодействием двух семантических микросистем с конкуренцией абсолютных синонимов. Для отбора примеров с максимальной относительной надежностью необходимым условием было наличие эксклюзивных изолекс, т.е. точных соответствий, ограниченных парой языков, находящихся в контакте. В качестве достаточного условия принималось наличие всех характеристик.

Позднее была разработана теория ингредиентов, предназначенная для определения взаимодействия языков в условиях субстратно-суперстратных отношений. При этом сохранялась действенность характеристик лексического проникновения с тем лишь различием, что к лексическим проникновениям присоединялись грамматические.

В наших работах мы выделяли для праславянского языка в ретроспективной хронологической последовательности славяно-германские и славяно-кельтские контакты (V—III вв. до н. э.), славяно-иранские (VI—V вв. до н. э.) и славяно-италийские (XII в. до н. э.) субстратно-суперстратные отношения [2]. Что касается последних, точнее было бы говорить о западнобалтийско-италийских субстратно-суперстратных отношениях, поскольку применительно к периоду до их возникновения трудно говорить о славянском языковом состоянии.

Набор лексических и грамматических слов языка А, проникших в язык В, мы называем А-ингредиентом языка В. Легко понять, что каждый язык имеет столько ингредиентов, сколько было установлено его субстратно-суперстратных отношений с другими языками, включая его собственный праязык в качестве первичного ингредиента. Нами были сформулированы

---

[1] К сожалению, до сих пор среди компаративистов бытует мнение, что адаптация иноязычного слова в данной языковой среде всегда определяется культурным влиянием, хотя исследовательский опыт решительно свидетельствует против этого. Нельзя же скандинавское происхождение англ. *take* «брать» объяснять особыми «захватническими» способностями викингов. Апогеем подобной наивности является замечание о том, что наличие праслав. *gǫsь* «гусь» (< прагерм. *gansiz*?) можно понять, если учесть сообщение Плиния о «превосходном качестве германских гусей» [15].

[2] Обычно нам приписывается схема праслав-балт. + итал. + иран. [16; 17, с. 57]. Если бы мы придерживались такой схемы, то возникло бы явное противоречие (как утверждалось в [17, с. 65]) между основными концепциями наших докладов на VII и VIII Международных съездах славистов. В первом из них обосновывалось существование общего для балтов и славян праязыка (т. е. дивергентное происхождение праславянского), во втором — становление языка славян в результате контактного и субстратно-суперстратного взаимодействия (т. е. конвергентное происхождение праславянского). В действительности никакого противоречия здесь нет. Нам чужд односторонний догматизм, который требует признания либо конвергентного, либо дивергентного объяснения глоттогенеза. В конечном счете такой догматизм восходит к старому спору сторонников Шлейхера и Шмидта. Наша концепция недвусмысленно сформулирована в докладе на IX Международном съезде славистов: «Повторяем, мы далеки от мысли объяснять эволюцию праславянского языка контактами и влияниями. Дивергентное развитие было синхронным и равноправным, но конвергенция определяла пространственно-временную стратификацию праславянского языка, ее значение для наших целей было решающим» [11, с. 39]. Та же концепция была представлена в виде схемы взаимодействия конвергенции и дивергенции [12, с. 95].

критерии определения ингредиентов и критерии диагностики их надежности. При этом мы опирались на типологический принцип Бодуэна, проверяя эти критерии на вполне доступном материале документированного развития языков и диалектов.

Так, образцовым примером для нас служило взаимодействие англосаксонского и старофранцузского ингредиентов при становлении английского языка. Для английского языка, как известно, характерна борьба синонимов, относящихся к этим двум основнымингредиентам, типа *flood* — *deluge*, из которых первый имеет регулярные германские соответствия, а второй указывает на вторичный французский источник. Соответственно славянская синонимическая пара считается удовлетворяющей критерию обнаружения балтийского и италийского ингредиента (например, *pьrstъ* — *palьcь*), если один из ее элементов (в данном примере первый) обязательно имеет балтийские и, возможно, иные индоевропейские параллели, а другой только точную италийскую параллель, надежность которой как источника проникновения поддается проверке с использованием фонетической, словообразовательной и семантической характеристик или хотя бы одной из них. Таким же образом разграничиваются балтийские и иранские ингредиенты, балтийские соответствия и кельтские проникновения. Что касается германских проникновений, то они не являются показательными, так как германизмы в праславянском языке плохо отличаются от готизмов, датируемых I—IV вв. н. э. и локализируемых по Висле и в других регионах уже распространившегося к тому времени на большую территорию славянского языкового ареала. При определении пространственно-временной стратификации славяно-германских языковых контактов мы исходим из анализа славянизмов в прагерманском, используя для проверки надежности источника те же фонетические, словообразовательные и семантические характеристики.

Список наиболее надежных прагерманских славянизмов в настоящее время сводится к следующему: 1) *daila*, *dailjan* «часть, делить», (< праслав. *dělъ*, *děliti*); 2) *hwata* «быстрый, храбрый, ловкий» (<праслав. *xvatъ*); 3) *malta* «солод» (<праслав. *molto*); 4) *maþljan* «обращаться с торжественной речью, давать обет» (<праслав. *modliti*); 5) *neþija* «родич, муж» (<праслав. *netijь*); 6) *plata*, *platja* «кусок ткани» (<праслав. *platъ*, *platьje*); 7) *plōga* «плуг» (< праслав. *plugъ*); 8) *sadula* «седло» (< праслав. *sedъlo*); 9) *sakan* «обвинять, ссориться» (< праслав. *sočiti*); 10) *skapa* «овца» (< праслав. *skopъ*); 11) *skatta* «скот, состояние» (< праслав. *skotъ*); 12) *tila* «обработанная земля» (< праслав. *tьlo*); 13) *tūn-* «забор, живая изгородь» (< праслав. *tynъ*); 14) *warga* «преступник, дьявол, волк» (< праслав. *vorgъ*).

Славянская фонетическая инновация фиксируется в примерах 4, 5, 11 (метатеза *dl* < *ld*, упрощение групп согласных *pt* > *t*); в примерах 1, 6, 7, 9, 10, 13 фонетическая характеристика свидетельствует в пользу славянского источника (отсутствие закономерного первого передвижения согласных и невозможность исконного начального в германском). Славянская словообразовательная инновация фиксируется в примерах 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Семантическая инновация и абсолютная синонимия исконной и проникшей лексем проверяется анализом по семантическим микросистемам.

Рассмотрим подробно один из примеров: праслав. *skotъ* > прагерм. *skatta*. В свое время мы генетически соотносили праслав. *skotъ* и др.-греч. κτῆνος «скот» (< *(*s*)*kt-ēn-os*), сопоставляя обе формы с праслав. *kotiti sę* «плодиться» [1, с. 184]. Эта версия нас не устраивала, поскольку не доказывалась словообразовательная инновация в праславянском. Наша попытка возвести *skotъ* к *sъkotъ* и обосновать таким образом словообразовательную инновацию наталкивалась на трудность доказательства начального *s* < *sъ*. Кроме того, в обеих версиях необъясненной оставалась геминация *t* (*tt*) в прагерманском, которая сама по себе свидетельствовала в пользу неисконности *skatta*, но фонетическая субституция *tt* < *t* оставалась непонятной. Мы отнесли в свое время этот пример к числу обладающих средней относительной надежностью. Хотя геминированное *t* и столкновение абсолютных синонимов в прагерманском явно свидетель-

ствовало в пользу иноязычного происхождения *skatta* (чего нельзя сказать о его синониме *fehu*), но отсутствие обоснования славянской инновации для *skotъ* оставляло под вопросом славянский источник проникновения. Решение вопроса наступило в связи с новой весьма удачной этимологией [18]. Эта этимология сразу увеличила надежность проникновения из праславянского по двум показателям. Во-первых, была установлена словообразовательная инновация в праславянском: *skotъ* < *skop-tъ* (< *skopiti*), во-вторых, объяснена фонетическая субституция в прагерманском: *skop-tъ* > *skot-tъ* > *skatta* (проникновение реализовалось после *pt* > *tt*, но до *tt* > *t*). Семантическая субституция в прагерманском ясна на примере столкновения *skatta* с абсолютным синонимом *fehu* и закономерным распределением значений (ср. др.-в.-нем. *skaz* «имущество» — *fihu* «скот» и др.-фриз. *skat* «скот» — *fia* «имущество»). Таким образом, налицо полнота необходимой аргументации. Эта этимология (*skotъ* < *skop-tъ*) была нами принята, а старая отвергнута, т. к. мы строго придерживались критериев проникновения, сформулированных нами раньше (словообразовательная инновация, фонетическая субституция, семантическая субституция). И в то время как старая этимология была поддержана другими лингвистами [19], мы отказались от нее в пользу новой по соображениям исключительно верификационного характера.

Список наиболее надежных кельтизмов в праславянском сводился к следующему: 1) *bagno* «низкое топкое место, болото» (<пракельт. *bōgan*); 2) *br'uxo* «живот, брюхо» (< пракельт. *briuho*); 3) *jama* «яма, пещера, могила» (< пракельт. *ōma*); 4) *klětь* «хижина, шалаш, подсобное помещение» (< пракельт. *klēti*); 5) *korsta* «короста, парша, струпья» (< пракельт. *kars-*); 6) *sadlo* «сало» (< пракельт. *saldi*); 7) *sěta* «скорбь» (< пракельт. *saitu*); 8) *tragъ* «нога, шаг» (< пракельт. *trag-*).

Кельтская фонетическая инновация фиксируется в примерах 1, 3, 4 (возникновение вторичных долгот дифтонгического происхождения), в примерах 2, 4, 5, 8 фонетическая характеристика свидетельствует в пользу кельтского источника (учет закономерностей ленции, отсутствие ассибиляции в сатемном языке, сокращение предударных долгот в кельтском). Кельтская словообразовательная инновация фиксируется в примерах 1, 2, 4, 6, 7, 8. Подробное рассмотрение одного из примеров кельтского лексического проникновения в праславянский ничего не прибавит, поскольку здесь обнаруживаются те же диагностирующие характеристики, что и в случаях славяно-германских языковых контактов.

Список наиболее надежных иранизмов (скифизмов) сводился к следующему: 1) *(j)aščerь* «змей» (< иран. *ažitar*); 2) *bogъ* «бог» (<иран. *baga*); 3) *divъ* «злой дух» (< иран. *deiva* < *daiva*); 4) *dъždžь* «непогода, дождь» (< иран. *duž-diu*); 5) *gatati* «неясно говорить, ворожить» (< иран. *gāta*); 6) *xъrtъ* «скорый, быстрый, гончая» (< иран. *hurta*); 7) *xvala* «выражение благодарности» (< иран. *hvālā*); 8) *kъ* «к» (< иран. *ku*); 9) *mǫžь* «муж» (< иран. *manuš-*); 10) *ovъ* «тот» (< иран. *ava-*); 11) *patriti* «смотреть, заботиться, беречь» (< иран. *patrai*); 12) *radi* «ради, для» (< иран. *rādī*); 13) *sinjь* «синий» (< иран. *akseina*); 14) *volsъ* «волос» (<иран. *valsa*).

Иранская (скифская) фонетическая инновация фиксируется в примерах 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14 (денализация, рефлексация индоевропейских палатальных, озвончение, начальное *h* < *s*, долгие гласные, скифское *l*). Грамматическая субституция в примерах 8, 10, 12 свидетельствует в пользу иранского источника. Иранская словообразовательная инновация фиксируется в примерах 1, 4, 6, 7, 9, 11, 14. Семантическая инновация — по семантическим микросистемам (см. особенно примеры 2 и 3).

Италийский ингредиент понимается не в смысле проникновения из италийских языков. Речь здесь идет о некотором языке (типа венетского), имеющем общую лексическую часть с латинским и, возможно, входившем в языковой союз с италийскими языками.

Список наиболее надежных лексем италийского происхождения сводился к следующему: 1) *bobъ* (< италийск. *baba*); 2) *boršьno* «мука» (< италийск. **bharsina*); 3) *dětь* «дитя» (< италийск. *dhētos*); 4) *glъtъ* «горло, глотка» (< италийск. *glutos*); 5) *golǫbь* «голубь» (< италийск.

galumbis); 6) *gǫserъ* «гусак» (< италийск. *hanser*); 7) *gъrnъ* «печь, очаг» (< италийск. *ghurnos*); 8) *jьgъla* «игла» (< италийск. *jugula*); 9) *kobyla* «лошадь» (< италийск. *kabō-la*); 10) *lěto* «лето, благоприятная пора» (< италийск. **laitos*); 11) *matorъ* «старый, зрелый» (< италийск. *mātoros*); 12) *moltъ* «молот» (< италийск. *malteos*); 13) *ny — vy* «мы—вы» (< италийск. *nōs — vōs*); 14) *ǫgъlъ* «угол» (< италийск. *angulos*); 15) *pastyrь* «пастух» (< италийск. *pāstōr*); 16) *pravъ* «правый» (< италийск. *prāvos*); 17) *sekyra* «топор» (< италийск. *sekūra*).

Италийская словообразовательная инновация фиксируется в примерах 2, 5, 6, 8, 9, 15, 17, семантическая — 3, 4, 10, 11, 16. Последняя определяется в результате анализа по семантическим микросистемам с выделением абсолютных синонимов соотносимых ингредиентов и определением семантической субституции. Фонетическая субституция отражена в примерах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, грамматическая — 13.

Всесторонний учет этой аргументации позволил выделить в праславянской лексике первичный балтийский и вторичный италийский ингредиенты, пространственно-временная интерпретация которых сводилась к подтверждению наслоения италийского суперстрата на балтийский субстрат.

Рассмотрим подробно один из примеров субстратно-суперстратных отношений в области лексики. При определении вторичного ингредиента, как уже говорилось, используется аргументация, введенная для обоснования источника лексического проникновения. Особенностью вторичных ингредиентов является возможность проникновения грамматических слов, что при пограничных контактах не наблюдается.

В праславянском существовали абсолютные синонимы для обозначения понятия «мука́» — *mǫka* и *boršьno* [8, с. 31]. Первый имеет балтийские и другие индоевропейские соответствия (литов. *mìnkle*, лтш. *mîkla* «тесто» и др.) и относится к первичному балтийсому ингредиенту, второй — только латинскую параллель: *farīna* (< *farsina* < **bhars-ina*) «мука́» и относится ко вторичному италийскому ингредиенту. Уникальность италийской параллели — необходимое условие квалификации *boršьno* как вторичного ингредиента. Достаточным условием является наличие остальных критериев в их полном составе. Во-первых, устанавливается словообразовательная и семантическая инновация в италийском (*fars-ina* «мука́» < *fars* «зерно»). Во-вторых, фонетическая субституция в праславянском (*borsьno* < *borxьno* > *boršьno*). Древность ингредиента подтверждается сохранением начального *bh* в языке-источнике и фиксацией древнейшего славянского фонетического перехода *s* > *x* после *r* с последующей первой палатализацией *x* > *š*. Фонетическая субституция сопровождается семантической, которая приводит к различному распределению значений между *mǫka* и *boršьno* по диалектам. В болгарском, где *boršьno* вытеснило *mǫka*, оно не изменило старого значения «мука́». В словенском, где *mǫka* сохранило старое значение «мука́», *boršьno* приобрело генерализованное значение «съестные припасы» и т. д. Интересно, что в южнославянских языках наблюдается и географическое распределение для *mǫka* (словенский язык, кайкавские и чакавские говоры сербскохорватского) — *boršьno* (штокавские говоры сербскохорватского, македонский и болгарский). Двойное дополнительное распределение данных лексем (семантическое и географическое) наиболее убедительным образом подтверждает их абсолютную синонимичность. Сам механизм контактных и субстратно-суперстратных межъязыковых связей, реализуемый как проникновения и ингредиенты, приводил к возникновению абсолютных синонимов разноязычного происхождения, которые в силу своей принципиальной неустойчивости либо вытесняли друг друга, либо распределяли между собой значения [3].

Конвергенция не является привилегией «смешанных» языков. Вероятно,

---

[3] Совершенно очевидно, что мы устанавливаем факт наличия абсолютных синонимов в праславянском не при помощи дефиниций в словарях живых языков, а на основе дополнительного распределения синонимов с их спорадической взаимозаменой и перераспределением значений по диалектам. К сожалению, эта методика анализа по семантическим микросистемам не учитывается некоторыми нашими оппонентами, поэтому спор с ними был бы беспредметным.

не существует языков, не имеющих иноязычных ингредиентов, но вопрос этот в целом систематически не изучался. Балтийские языки, например, сами, по-видимому, имеют финский ингредиент, который еще подлежит исследованию. Существующие в настоящее время списки изолекс крайне несовершенны, поскольку в них отсутствует разграничение по семантическим микросистемам и в каждом случае не доказывается эксклюзивность пары разноязычных лексем, совпадающих по форме и значению. Поэтому такого рода списки лишены доказательной силы, а подсчет включенных в них разного рода изоглоссных пар создает нежелательные иллюзии [4]. К тому же праязыковая лексика, т. е. лексика, праязыковой характер которой может быть доказан, количественно не соотносима с общенародной или зафиксированной в письменных памятниках, поэтому их количественное соотнесение ни о чем не свидетельствует, кроме того, что лексика исторического периода по крайней мере на порядок многочисленнее доисторической (реконструируемой), и, следовательно, количество примеров, добываемое из первой, на столько же больше числа примеров из второй [5].

Последовательно ретроспективный учет конвергентных отношений приводит к установлению пространственно-временных характеристик для носителей языка на разных стадиях его развития. И здесь важно еще раз подчеркнуть, что особое внимание к конвергентным процессам диктуется не тем, что в них мы видим основу глоттогенеза, а тем, что они диагностируют пространственно-временное распределение языковых состояний, установление которых в условиях строгой ретроспекции позволяет приблизиться к исходному.

Итак, мы восстанавливаем западную границу праславянской территории для V—III вв. до н. э. по Одре на основании наличия славянских лексических проникновений в прагерманский, основную территорию славян в VI—V вв. до н. э. между Одрой и Вислой, т. е. в западнобалтийском ареале,— по иранскому ингредиенту и в XII—XI вв. до н. э.— по италийскому. Географическая совмещенность древнейшего славянского ареала с западнобалтийским получила в последнее время дополнительное обоснование. В нашей новой работе, посвященной прусско-славянским эксклюзивным изоглоссам, было установлено, что из 24 случаев в 21 они имеют

---

[4] В работе [20] приводится два списка глаголов. Один из них в количестве 17 иллюстрирует «италийско-славянские» лексические связи (5 из них без балтийских параллелей), другой в количестве 21 — «италийско-балтийские» лексические связи (9 из них без славянских параллелей). Следует отметить, что автор работы не претендует на эксклюзивность этих списков. Что касается последних девяти италийских глаголов, то они либо имеют, кроме балтийских, другие индоевропейские параллели, либо (по крайней мере в одном случае) не имеют надежных параллелей: лат. *capere* ~ гот. *hafjan* ~ алб. *kap* ~ лтш. *kampt*; лат. *fīgere* ~ литов. *dýgti* ~ др.-англ. *dīc*; лат. *laedere* ~ литов. *lýdīmas* ~ лтш. *līst* (в этимологических словарях латинского языка Вальде — Гофмана и Эрну—Мейе соответствия к лат. *laedere* признаны ненадежными); лат. *sūgere* ~ др.-исл. *sūga* ~ др.-ирл. sūgim (если не из лат.) ~ лтш. *sūkt*; лат. *trahere* ~ др.-исл. *draga* ~ лтш. *dragât* (не сюда ли праслав. *dьrgati*?); лат. *gibbus* ~ др.-исл. *skeifr.* ~ литов. *geĩbti*; лат. *rēmus* ~ др.-инд. *arítrah* ~ др.-греч. ἐρέτης ~ др.-исл. *rōðr* ~ литов. *ìrti*; лат. *rota* ~ др.-инд. *rathah* ~ др.-ирл. *roth* ~ др.-в.-нем. *rad* ~ литов. *rãtas*; лат. *vibrare* ~ др.-исл. *veipr* ~ литов. *výburti*.

[5] Как праславянскими, не считая прямых дериватов, мы оперируем примерно 2000 лексем [21]. Если считать праславянскими не попавшие в данный список южнославянские лексемы, имеющие индоевропейские соответствия, общее их число увеличится до 3000. В современном живом языке типа английского мы оперируем примерно 30 000 слов, т. е. числом на порядок больше. Легко понять, что соотношение однотипных примеров из того и другого языка определяется как 1 : 10. Еще бо́льшим недоразумением оказывается утверждение, что при двукратном суперстратном наслоении одного языка на другой «неизбежны были бы многие десятки примеров с синонимами типа балт. ... *tesla* ~ итал. *sekyra* — иран. *toporъ*» [17, с. 65]. Адаптация в языке пары абсолютных синонимов в условиях двуязычий является случайным событием, вероятность которого для праславянского словаря (3000 ед.) при ≈ 20 парах синонимов составляет 0,006. Появление же тройки синонимов, естественно, рассматривается как условная вероятность совпадения двух пар, которая равна произведению вероятностей, т. е. 0,006·0,006 = 0,000036. Таким образом, вероятность такого рода ничтожно мала (36 случаев на миллион), и мы не вправе ожидать даже одной тройки абсолютных синонимов в границах праславянского словаря.

италийско-кельтскую языковую ориентацию, т. е. единственно надежные соответствия в языках этой группы. Сюда относятся: др.-прусск. *ayculo* «игла» ~ праслав. *jьgъla* ~ лат. **jug-ula*; др.-прусск. *babo* «боб» ~ праслав. *boba* ~ лет. *faba*; др.-прусск. *gabawo* (<**gābō*) «жаба» ~ праслав. *žaba* ~ лат. *būfō*; др.-прусск. *geits* «хлеб» ~ праслав. *žito* ~ др.-ирл. *biad*, *biith*; др.-прусск. *luckis* «полено, щепа» ~ праслав. *lučь* «лучина» ~ лат. *lux*, *lumen* (<**luksmen*) «свет, светильник»; др.-прусск. *maldenikis* «дитя» ~ праслав. *moldenьcь* ~ венет. *malzonkeo*; др.-прусск. *mealde* «молния» ~ праслав. *mъldni* ~ уэльск. *mellt*; др. прусск. *pausto* «дикий, пустой» ~ праслав. *pustъ* ~ лат. *purus* (<**pausos*), др. -прусск. *saltan* «сало» ~ праслав. *sadlo* (<**saldom*) ~ ирл. *saill*, *sall* (<**saldi*, **sald*); др.-прусск. *scaytan* «щит» ~ праслав. *ščitъ* ~ ирл. *sciath* ~ лат. *scūtum*; др.-прусск. *wanso* «первая борода, пушок» ~ праслав. *vǫsъ* ~ др.-ирл. *fes* (<**fans*); др.-прусск. *wutris* «кузнец» ~ праслав. *vъtrъ* ~ лат. *uter* «мех».

Особенно показательны удивительные совпадения в местоименных формах: др.-прусск. *nouson* «нас», *noumas* «нам», *wans* «вас» ~ праслав. *ny*, *vy*, *nasъ*, *vasъ* ~ лат. *nōs*, *vōs*; др.-прусск. *mennei* «мне», *tebbe*, *tebbei* «тебе», *sebbei* «себе» ~ праслав. *mъně*, *tebě*, *sebě* ~ др.-лат. *tibei*, *sibei*, оск. *sifei*, умбр. *tefe*; др.-прусск. *mais* «мой», *twais* «твой», *swais* «свой» ~ праслав. *mojь*, *tvojь*, *svojь* ~ лат. *meus* (<**maios*). В этих случаях под италийским суперстратом просматривается именно западнобалтийский субстрат праславянского языка [22].

Восточная граница праславянской территории в ее южной части была уточнена для начала н. э. (I в. до н. э.—I в. н. э.) на основании полесских исследований [2, 23], а в северной части ее определение не вызывало трудностей, поскольку территория, занятая балтами, располагалась компактным массивом на восток от Вислы. В настоящее время особую актуальнос ь приобретает локализация южной границы распространения праславянского языка [24, 25]. Славяно-кельтские контакты, одновременные со славяно-германскими, были нами локализованы в южной части Одры в соответствии с малопольским ареалом кельтов. Однако не исключено, что по крайней мере частично они локализовались в северной Паннонии, т. е. на южной границе праславянского языкового массива. По-видимому, назрела необходимость специального изучения возможных контактов праславянского языка с языками палеобалканскими, основной материал для которых дают албанские и румынские диалекты.

Языковое состояние, предшествующее самому раннему из реконструированных нами на основании анализа процессов конвергенции, мы принимаем за переходное, и восстановление его должно базироваться на анализе процессов дивергенции.

В основу диагностики дивергентных процессов была положена эксплификация понятия «совместная инновация». Полагаем, что совместная инновация может иметь место только для диалектов, восходящих к общему праязыку, который определяется как пространственно-временной диалектный континуум. Мы также полагаем, что для диагностики дивергентных процессов необходима реконструкция парадигматического плана языка, подсистем единиц двух его уровней: фонем и лексем. Обе подсистемы должны быть реконструированы в динамике для определения их порождающих возможностей.

Для уровня фонем нами была предложена общая теория аккомодации, к рассмотрению которой с точки зрения глоттогенеза славян мы и переходим. В соответствии с теорией аккомодации, аккомодирующие языки, т. е. языки с максимальным тембровым уподоблением соседних согласных и гласных, располагают минимальной подсистемой вокализма. Она реконструируется для праславянского при соблюдении поэтапной ретроспекции на основе подсистемы, зафиксированной в историческое время. Для праславянского избирается старославянская подсистема [4, с. 56; 6, с. 129]:

i	*y*	*u*
ь		*ъ*
ę		*ǫ*
e		*o*
ě		*a*

Поскольку *u*, *ę*, *ǫ* возникли из дифтонгов, подсистема простых гласных редуцируется до:

i	*y*
ь	*ъ*
e	*o*
ě	*a*

Здесь *o* является единственным лабиализованным заднего ряда при последовательной делабиализации в праславянском. Поэтому эту подсистему целесообразнее переписать как:

i	*y*
ь	*ъ*
e	a_1
ě	a_2

Гласные первого и второго подъема и пропорционально им гласные третьего и четвертого различаются количественно, что может быть представлено в более явном виде:

ī	*ȳ*
ĭ	*ў*
ĕ	*ă*
ē	*ā*;

противопоставление *ē* : *ā* совпадает с известной концепцией открытого *ĕ*.

Сведя гласные по долготе — краткости, получаем:

ĭ̄	*ȳ̆*
ĕ̄	*ă̄*

Если признать, что в праславянском существовала количественная корреляция *ă* — *ā*, которая перешла в тембровую *a* — *o* после перехода *ă* > > *ŏ*, то следует ожидать аналогичных сдвигов и для *ĕ* — *ē*. Учитывая открытый характер *ŏ*, это противопоставление можно представить как *i̯ă* — — *i̯ā* [6, с. 133]. Тогда *ă* > *ŏ* при неизменности *ā*, пропорционально *i̯ă* > > *i̯ĕ* при неизменности *i̯ā* (что касается верхнего подъема, то там реализовались переходы *i̯ў* > *i̯ĭ*, *i̯ȳ* > *ī*). Если же мы, в соответствии с концепцией аккомодации, отнесем тембровые характеристики к согласным, то состояние подсистемы можно будет записать так:

ȳ̆
ă

Такая подсистема, восходящая к периоду после славянской делабиализации, предполагает в качестве ей предшествующей:

ĭ̄	*ŭ̄*
ă̄	

Проведенная нами внутренняя реконструкция может получить подтверждение внешним сравнением.

Было обращено внимание на то, что ни один из примеров с начальными *čā*, *džā*, *šā*, *i̯ā* в славянских языках не имеет надежных индоевропейских соответствий в виде *kē*, *gē*, *xē*, *i̯ē* [6, с. 130]. Таким образом, примеры типа *žaba* не имеют соответствий со структурой **gēbā*, что побуждает реконструировать для праславянского **gi̯ābā*. Подтверждением правильности такой реконструкции является славяно-прусская эксклюзивная изолекса *čaša* ~ *kiosi* «чаша». Записавший прусское слово услышал йотовый глайд после начального *k*, что соответствует реконструкции *čaša* как *ki̯āsi̯ā*.

Из сказанного видно, что после праславянской делабиализации возникла система с мягкостной корреляцией силлабем. Существуют две динамические характеристики, которые предполагают такого рода систему. Это сильное протезирование [4, с. 40], т. е. появление протез перед гласными, не совпадающими с ними по тембру, и преобразование заднеязыч-

ных в дентальные перед гласными переднего ряда. Эти характеристики необязательны для языков с мягкостной корреляцией, но их наличие предполагает мягкостную корреляцию [13, с. 159].

Мы уже обращали внимание на то, что в тех современных славянских диалектах, где наблюдаются эти характеристики, существует мягкостная корреляция и что это в равной мере касается праславянского языка. В таких, например, лексемах, как *veprъ* и *jutro*, фиксируется сильное протезирование, а в известном лексическом проникновении из германского *wīkinga* > *vitędzь* (ср. *rekinga* > *retędzь*, гот. *skilliggs* >*stьlędzь*) — переход $k' > t'$ [4, с. 62].

Для балтийского с целью реконструкции системы вокализма [26, 27] избирается древнепрусский [28, с. 196], для которого строится следующая подсистема:

$$\begin{array}{ccc} \breve{\bar{i}} & & \breve{\bar{u}} \\ e & & \bar{o} \\ & \breve{\bar{\bar{\partial}}} & \end{array}$$

Здесь обращает на себя внимание отсутствие *ŏ*, хотя в переднем ряду соответственно представлено *ĕ*. Если мы учтем, что *ē* и *ĕ* являются открытыми гласными [29, с. 31, 46], то *ō* вообще останется без коррелята:

$$\begin{array}{ccc} \breve{\bar{i}} & & \breve{\bar{u}} \\ & & \bar{o} \\ \breve{e} & & \breve{\bar{\partial}} \end{array}$$

К тому же в древнепрусском трудно обнаружить разграничение *ō* и *ə̄* [28, с. 191]. Это дает основание для реконструкции более простой подсистемы прапрусского вокализма [30]:

$$\begin{array}{ccc} \breve{\bar{i}} & & \breve{\bar{u}} \\ \breve{e} & & \breve{\bar{a}} \end{array}$$

Поскольку, однако, *ia* и *ie* практически не противопоставлены друг другу (ср. прусскую репрезентацию *ē* и *ə̄* как соответственно *ea* и *oa*) [29, с. 46], прапрусский вокализм реконструируется как треугольный:

$$\begin{array}{ccc} \breve{\bar{i}} & & \breve{\bar{u}} \\ & \breve{\bar{a}} & \end{array}$$

и тем самым совпадает с протославянским. Такого рода внутренняя реконструкция прапрусской (resp. западнобалтийской) подсистемы получает совершенно идентичное по отношению к праславянской внешнее подтверждение. Минимальный (треугольный) вокализм свидетельствует о максимальной аккомодации, а подтверждением максимальной аккомодации является сильное протезирование и спорадический переход мягкого *k* в *t* ($k' > t'$).

Для прусского языка сильное протезирование является широко распространенным. Ср. примеры на *u̯*-протезу: *woble* ~ праслав. *jablъko* «яблоко», *woasis* ~ праслав. ~ *jasenь* «ясень», *wurs* «*пруд*» ~ *iurin* «море», *wosee* ~ литов. *ožỹs* «козел» и др.; примеры на *i̯*-протезу: *iurin* «море» ~ ~ *wurs* «пруд», *iaukint* ~ праслав. *vyknǫti*, *eristian* ~ литов. *ĕras*, *jĕras*, *vĕras*, *gĕras*, лтш. *aries* «баран», *esketres* ~ праслав. *jesetrъ* «осетр», *estureyto* ~ ~ праслав. (*j*)*aščerъ* «ящер» и др. Следует заметить, что в древнепрусском йотовая протеза перед гласными переднего ряда не обозначается и «поглощается» последними [31], что служит дополнительным подтверждением неразличения *ia* и *ie* и свидетельствует в пользу треугольного вокализма в прусском.

Что касается мягкостной корреляции силлабем, которая имеет место в древнепрусском, как и в праславянском, то подтверждением ее является смещение $k' - t'$ в пользу t'. В Эльбингском словаре зафиксировано свыше полутора десятка примеров на переход $k' > t'$ [6]. Два-три случая обратного преобразования можно считать гиперкоррекцией.

[6] «...исправление *-c-* на *-t-*, как известно пруссистам, не следует считать конъектурой» [32]. В беседе с нами В. Мажюлис высказал предположение, что этот процесс в прусском типологически адекватен процессу смешения k' и t' в дзукских говорах литовского языка. Относительно последних ср. [33].

Рассмотрим два характерных примера. Др.-прусск. *trupeyle* «лягушка» <*crupeyle*. Ср. литов. *krùpė* «жаба», латв. *krupis* «то же», литов. *krùpti* «паршиветь», *kraupùs* «шершавый, в струпьях», др.-исл. *hriufr* «то же» и др. В этом примере, как и в ряде других, непосредственная причина перехода $k > t$ не обнаруживается, поскольку в записи прусских текстов мягкость не могла быть никак помечена: родной язык записывающего не знал мягкостной корреляции. Мы должны предположить, что первоначально прусская форма имела вид $*kr^{\hat{i}}up^{\hat{i}}ail^{\hat{i}}a$ (ср. *kiosi* «чаша»). Возможно, что смягчение начальной группы смычная + сонант осуществилось под влиянием последующих мягких согласных. В другом примере, который мы предлагаем рассмотреть, мягкость первичного *k* реконструируется с бо́льшей надежностью. Мы имеем в виду *staytan* «щит» < $*sk^{\hat{i}}aitan$, которое морфологически точно соответствует лат. *scūtum* «щит» (<*skoitom*, ср. р.). О том, что на прусской языковой почве корневое *k* смягчалось, свидетельствует праслав. *ščitъ* «щит» < *skeit- < $*sk'ait$-, $k' > t'$ в прусской форме фиксируется надежно.

Таким образом, внешнее сравнение (*u̯*, *i̯*-протезы, $k' > t'$) подтверждает внутреннюю реконструкцию, что позволяет увидеть в древнепрусском фонологическую систему, аналогичную праславянской. А если учесть, что в праславянском осуществилась последовательная делабиализация, а в древнепрусском пали лабиализованные заднеязычные (k^{u}, g^{u}), но сохранилось *ŭ*, то старопрусская фонологическая система идентична праславянской до завершения делабиализации, что соответствует представлению о праславянской языковой системе как дочерней по отношению к западнобалтийской.

Другая подсистема, реконструкция которой подлежит верификации, относится ко второму уровню парадигматического плана языка — к уровню лексем. Для уровня лексем была предложена общая теория формантной деривации, в соответствии с которой именное словообразование наилучшим образом диагностирует родство языков [5, 7]. Эта методика, как известно, была проверена на исторически зафиксированных языковых состояниях (сравнение заведомо восходящих к одному праязыку белорусского и болгарского наглядно показало диагностирующую силу предложенного критерия). Более общие соображения также указывают на то, что в условиях диалектного континуума происходит постоянное порождение общей для региона лексики, при котором наравне с семантической деривацией протекает и формантная, причем состав продуктивных суффиксов и словообразовательных моделей, в которых данные суффиксы участвуют, наилучшим образом характеризует лексико-словообразовательную подсистему языка.

Как показали наши исследования, самыми продуктивными формантами деривации имен в славянских и балтийских языках являются суффиксы с завершением на *-j*, *-k*. Типичные примеры неэксклюзивных славяно-прусских словообразовательных соответствий с этими формантами: праслав. *kyjь* «молот» ~ др.-прусск. *cūgis* «то же» (<*kūjis*, ср. литов. *kūjis*), праслав. *ortajь* «пахарь» ~ др.-прусск. *artoys* «то же»; праслав. *mъnьcь* «мяльщик» ~ др.-прусск. *mynix* «то же», праслав. *šьvьcь* «швец» ~ др.-прусск. *schuwikis* «то же» и др. Из иных примеров славяно-прусских словообразовательных соответствий можно назвать праслав. *bojaznь* «боязнь» ~ др.-прусск. *biāsnan* «то же», праслав. *nogъtь* «ноготь» ~ др.-прусск. *nagutis* «то же», праслав. *čadь* «дым», угар» ~ др.-прусск. *accodis* (<*at-codis*) «дымоход», праслав. *žalь* «могила» ~ др.-прусск. *golis* «смерть», праслав. *varь* «краска» ~ др.-прусск. *woapis* «то же» и др. Здесь мы лишь приводим примеры того, как одна и та же словообразовательная модель при помощи тех же формантов наполняется тем же значением. Тождественных моделей с тождественными формантами, но разными значениями, естественно, значительно больше.

Так, древнепрусский является единственным балтийским языком, в котором сохранился средний род имен существительных (ср. др.-прусск. *asseran* ~ праслав. *ozero*, др.-прусск. *creslan* ~ праслав. *kreslo* и т. д.).

В числе прочих он сохранился в именах, образованных с помощью суффикса *-kl-* (славянские имена, образованные при помощи соответствующего ему суффикса *-tl-*, также среднего рода). Ср. др.-прусск. *staclan* «опора» ~ праслав. *stadlo* «то же».

Учитывая объемную и жанровую ограниченность прусских текстов сравнительно с текстами живых балтийских языков, наблюдается непропорционально много славяно-прусских схождений в области лексики. Не говоря о славяно-прусских эксклюзивных изолексах, о которых речь шла выше, можно назвать свыше пятидесяти балто-славянских соответствий, включающих прусскую лексику, в которых именно эта последняя по семантическим или формальным показателям ближе всего к славянской. В то же время обратные случаи, т. е. случаи, когда литовская или латышская лексемы ближе к славянской, чем прусская, практически не известны.

Рассмотрим один пример, бывший уже предметом дискуссии. В свое время мы не включили др.-прусск. *dalptan* «долото» ~ праслав. *dolbto* в число славяно-прусских лексических изолекс, поскольку оно сначала подозревалось в заимствовании из лехитского языкового ареала, а затем для него были найдены соответствия в восточнобалтийских языках [34]. При любом из этих решений оно, естественно, не попадало в число эксклюзивных славяно-прусских изолекс. Однако после того, как для др.-прусск. *dalptan* были найдены восточнобалтийские соответствия: литов. *dil̃bti*, *del̃pti* «бить, ударять» и установлено, что в восточнобалтийском название долота (литов. *káltas*, лтш. *kal̃ts*) образовалось от другого глагола (литов. *kálti* «бить, ковать»), стало понятным, что праславянский унаследовал западнобалтийскую инновацию. Это может быть легко показано и для множества других примеров. Тем самым и на этом уровне обосновывается дочерний характер праславянского по отношению к западнобалтийскому.

В задачу нашей статьи не входило повторение прежних и добавление новых аргументов в пользу доказательства зарождения праславянского языка в западнобалтийском ареале и определение границ распространения носителей праславянского языка на разных этапах его эволюции. Такие работы нужны прежде всего в области славяно-палеобалканских (для определения южной границы распространения праславянского языка на начальном этапе его развития) и славяно-прусских (для детального восстановления его западнобалтийского субстрата) языковых отношений. Здесь же наша задача была значительно скромнее. Мы ставили себе целью обобщить собственный опыт верификации в компаративистике.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мартынов В. В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. К проблеме прародины славян. Минск, 1963.
2. *Мартынов В. В.* Проблема славянского этногенеза и методы лингвистического изучения Припятского Полесья.— Советское славяноведение, 1965, № 4.
3. *Мартынов В. В.* Анализ по семантическим микросистемам и реконструкция праславянской лексики.— В кн.: Этимология. 1968. М., 1971.
4. *Мартынов В. В.* Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968.
5. *Мартынов В. В.* Праславянская и балто-славянская суффиксальная деривация имен. Минск, 1973.
6. *Мартынов В. В.* К реконструкции славянского и дославянского вокализма.— Studia Rossica, 1979, X.
7. *Мартынов В. В.* Балто-славянский инновационный процесс в области именного словообразования.— Baltistica, 1977, II priedas.
8. *Мартынов В. В.* Балто-славяно-италийские изоглоссы. Минск, 1978.
9. *Мартынов В. В.* Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян.— В кн.: Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
10. *Мартынов В. В.* Балтийский лексический ингредиент праславянского языка.— ABSL, 1982, 14.
11. *Мартынов В. В.* Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов. Минск, 1982.
12. *Мартынов В. В.* Язык в пространстве и времени. К проблеме глоттогенеза славян. М., 1983.
13. *Чекман В. Н.* Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979.

14. *Baudouin de Courtenay F.* Einiges über Palatalisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung (Dispalatalisation).— IF, 1894, 4, S. 54.
15. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1964, с. 478.
16. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— ВЯ, 1982, 4. с. 15.
17. *Откупщиков Ю. В.* Балтийский и славянский.— В кн.: Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. Л., 1983.
18. *Stankiewicz E.* The etymology of Common Slavic *skotъ* «cattle» and related terms.— In: Studies in Slavic linguistics and poetics in honor of Boris O. Unbegaun. New—York—London, 1968, p. 222.
19. *Журавлев А. Ф.* К этимологии слав. **skotъ*.— В кн.: Этимология. 1981. М., 1983, с. 39.
20. *Safarewicz F.* Przedhistoryczne związki językowe italsko-słowiańskie.— In: Studia językoznawcze. Warszawa, 1967, s. 273.
21. Základní všeslovanská slovní zásoba. Brno, 1964.
22. *Мартынов В. В.* Западнобалтийский субстрат праславянского языка.— В кн.: Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983, с. 22.
23. Лексіка Палесся ў прасторы і часе. Минск, 1971, с. 196.
24. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян.— ВЯ, 1984, 2, с. 19.
25. *Мартынов В. В.* Этногенез, глоттогенез и ареальная лингвистика.—В кн.: Полесье и этногенез славян: Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983, с. 12.
26. *Schmalstieg W. R.* Baltų ir slavų kalbų vokalizmo sistemų raidos chronologija.— Baltistica, 1972, I priedas, p. 161.
27. *Зинкявичюс З.* О развитии балтийского вокализма.— В кн.: Балто-славянский сборник. М., 1972, с. 12.
28. *Мажюлис В.* Заметки по прусскому вокализму.— В кн.: Вопросы теории и истории языка. Сб. в честь профессора Б. А. Ларина. Л., 1963.
29. *Stang Chr.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo—Bergen—Tromsö, 1966.
30. *Schmalstieg W. R.* A new look at the Old Prussian pronoun. — Baltistica, 1971, VII (2), p. 129.
31. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. Е—Н. М., 1979, с. 73.
32. *Mažiulis V.* Prusų kalbos paminklai. Vilnius, 1981, p. 14.
33. *Zinkevičius Z.* Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966, p. 140.
34. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. А—Д. М., 1975, с. 291.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

ФИЛИЧЕВА Н. И.

ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

Развитие теории и истории литературных языков, разработка проблем диалектологии, ареальной лингвистики и социалингвистики в последние десятилетия раскрыли многообразие реальной языковой действительности и форм функционирования языка. Научные достижения этих отраслей языкознания способствовали все более глубокому осознанию полисистемного характера любого развитого национального языка, представляющего собой сложную, иерархически организованную макросистему, которая включает разные формы существования. Так, в функциональную парадигму (термин М. М. Гухман [1, с. 4]) современного немецкого языка входят в качестве низшего страта местные диалекты, верхний страт образует национальный литературный язык, а средний (промежуточный) страт заполняют наддиалектные типы речи — полудиалекты и разновидности обиходно-разговорного языка. Формы существования немецкого языка могут исследоваться как моносистемы в известной абстрагированности от макросистемы в целом. Однако в полной мере их своеобразие (в особенности в низших и средних стратах) выявляется только при диасистемном анализе, основывающемся на установлении корреляций между исследуемыми системами в синхронии, или при диасистемно-диахроническом подходе, когда в дополнение к названным корреляциям устанавливается также соотношение с предшествующей исторической ступенью. Структура функциональной макросистемы современного немецкого языка благодаря его полинациональному характеру отличается значительной сложностью. Выступая в качестве средства коммуникации в нескольких немецкоязычных государствах, он реально функционирует в виде коррелирующих друг с другом национальных вариантов макросистемы в целом [2, с. 14; 3, с. 37—38].

Несмотря на интенсивную разработку теории вариантности полинациональных языков в последние годы, ее научный аппарат нельзя рассматривать как полностью сложившийся и не требующий никаких уточнений. В связи с этим в настоящей статье предпринята попытка уточнить понятие языковой общности в свете некоторых новейших работ в данной области.

При изучении причин дивергентности языкового развития важное значение приобретает вопрос о реальных типах объединений носителей языка и их соотнесенности друг с другом в условиях определенной исторически сложившейся языковой ситуации. Польский лингвист Л. Заброцкий отмечает зависимость процессов дифференциации и конвергенции в развитии языка от изменений, происходящих в группировках его носителей, которые он делит на два вида: «коммуникативное сообщество» (wspólnota komunikatywna) и языковое сообщество» (wspólnota językowa) [4, с. 9; ср. 5, с. 7]. Особенно значительная роль отводится им первому виду, в основе выделения которого лежит единство деятельности (хозяйственно-экономической, общественно-политической, культурно-просветительной, религиозно-культовой, семейно-бытовой и др.), требующее обмена информацией и взаимопонимания. Коммуникативные сообщества весьма многочисленны и разнообразны как по количественному составу, так и по степени устойчивости. Большой стабильностью характеризуются, в частности, коммуникативные сообщества в рамках государственно-административных образований. Языковое сообщество складывается на основе единства языка как средства общения. Объединяя людей по разным признакам, коммуни-

кативные и языковые сообщества часто не совпадают: одному языковому сообществу могут соответствовать разные коммуникативные сообщества, а одно коммуникативное сообщество может делиться на несколько языковых. В каждом из этих случаев возникают особые условия для функционирования и развития языка. Если в пределах одного коммуникативного сообщества его члены пользуются разными языками, то создается ситуация, благоприятствующая языковым контактам и взаимовлиянию языков, а в конечном итоге, конвергенции. Напротив, разделение одного языкового сообщества на два или более коммуникативных способствует процессам языковой дивергенции и с течением времени приводит к образованию отличающихся друг от друга вариантов одного и того же языка.

Анализируя понятия «языковая общность» (Sprachgemeinschaft) — «коммуникативная общность» (Kommunikationsgemeinschaft), лингвист из ГДР Ю. Шарнгорст вносит определенные уточнения в распространенную трактовку первого из них [6, с. 655 и сл.]. Типом конкретной исторической общности, соотнесенной с понятием языковой ситуации, он считает коммуникативную общность, определяя ее как объединение людей, связанных друг с другом совместной деятельностью и соответственно коммуникацией. Коммуникативные общности состоят из людей, которые делают что-либо сообща и которым поэтому есть что сказать друг другу [7, с. 518]. Особое значение в исторически продолжительный период классового общества придается обществу с государственной организацией как социальной единице, «которая на базе своей социальной структуры и разнообразных форм разделения труда обладает относительной самостоятельностью и выступает в качестве носителя в высшей степени сложных, прочных и длительных коммуникативных отношений» [7, с. 519]. Весьма существенно в соотнесенности с языковой ситуацией и понятие «языковой общности». В обычном широко распространенном понимании языковая общность нередко трактуется как «группа людей, которые сами считают себя носителями одного и того же языка» [8, с. 140]. Таким образом содержание, вкладываемое в это понятие, в значительной мере основывается на языковом самосознании.

Языковая общность может совпадать с коммуникативной общностью в рамках одного государства. Она может также вместе с одной или несколькими другими языковыми общностями входить в одну коммуникативную общность в составе определенного государства, а внутри этой государственно-оформленной коммуникативной общности составить территориально или социально ограниченную коммуникативную общность (например, коммуникативная общность лиц лужицкой национальности — сорбов в ГДР). Наконец, языковая общность может выходить за границы коммуникативной общности в пределах одного государства и соотноситься с несколькими коммуникативными общностями в разных государствах. Поскольку в исторически тождественном «самостоятельном» языке в случае употребления его в разных государствах закономерно развиваются более или менее сильные различия (ср., например, английский язык в Великобритании и США, немецкий язык в обоих германских государствах — ГДР, ФРГ, в Австрии и Швейцарии), то вопрос о том, имеет ли исследователь-лингвист в подобных случаях дело с о д н о й языковой общностью, как подчеркивает Ю. Шарнгорст, в высшей степени осложняется. Если принять приведенное выше широко распространенное понимание языковой общности, то решение данного вопроса будет зависеть, прежде всего, от таких социально-психологических, т. е. субъективных, факторов, как, например, чувство принадлежности к определенному коллективу («Zusammengehörigkeitsgefühl»). Лингвистика не располагает научным термином, который позволял бы адекватно охватить коллектив носителей определенного языка. Чтобы восполнить этот терминологический пробел, Ю. Шарнгорст предлагает передать содержание соответствующего понятия термином («Kodegemeinschaft» — «системная общность»). «Системная общность» в понимании Ю. Шарнгорста представляет собой группу людей, пользующихся в основном одной и той же языковой системой (включая ее национальные, функциональные, социальные и др. ва-

рианты). Это лингвистическое понятие образует дополняющую пару к понятию «коммуникативная общность», не имея таких психологических и эмоциональных коннотаций, как понятие «языковая общность».

Данное терминологическое уточнение влечет за собой и другое. В общеязыковом употреблении слово «Sprachgemeinschaft» может сохранить свое значение, в котором доминирует субъективный момент. Применяя названное обозначение в качестве лингвистического термина, под языковой общностью, согласно предложению Ю. Шарнгорста, следует понимать только группу людей, которая, используя в основном одну и ту же языковую систему, образует одновременно коммуникативную общность. Таким образом, с разными коммуникативными общностями соотносится только системная общность, тогда как языковая общность объединяет лишь членов одной определенной коммуникативной общности. Уточнения, предлагаемые Ю. Шарнгорстом, отвечают деятельностной концепции языка и, несомненно, имеют существенное значение для теории вариантности полинациональных языков.

В развитие идеи Ю. Шарнгорста в настоящей статье при выделении языковой общности (в строгом лингвистическом понимании этого термина) предлагается учитывать дополнительно два важных обстоятельства. Прежде всего следует выяснить, какие формы существования языка и в каких стратах функциональной парадигмы соотносятся с определенной коммуникативной общностью и используются ею. Кроме того, необходимо установить, выступает ли языковая система, используемая в страте литературного языка, по отношению к другим формам существования в качестве всеобъемлющей языковой системы более высокого ранга (Überdachung) [9, с. 42].

Релевантность этих дополнительных моментов при изучении варьирования полинациональных языков будет раскрыта в статье на материале сопоставления функционирования немецкого языка в немецкоязычных кантонах Швейцарии и в Люксембурге. На первый взгляд может показаться, что языковая ситуация в названных странах обнаруживает много общего. И в той, и в другой стране в рамках государственно-оформленной коммуникативной общности используется несколько языковых систем, что позволяет охарактеризовать сложившуюся здесь языковую ситуацию как мультилингвальную в отличие от унилингвальной ситуации других немецкоязычных стран — ФРГ, ГДР и Австрии. Однако при более детальном рассмотрении выявляются значительные различия между названными странами. В Швейцарии в рамках государственно-оформленной коммуникативной общности максимальные общественные функции на паритетных началах разделяют (каждый в своих кантонах) три языка, официально признанных государственными,— немецкий, французский, итальянский [2, с. 134 и сл.]. Языковые зоны Швейцарии, как показывает А. И. Домашнев, не представляют собой неподвижных и в языковом отношении гомогенных единиц. В местах схождения языковых границ имеются зоны двуязычия, в силу чего все языки Швейцарии непрерывно и на всех уровнях влияют друг на друга, обнаруживая черты определенной консолидации в своем развитии. Однако в основных областях своего распространения языки, как и этнические традиции и культура, живут достаточно самостоятельной, автономной жизнью. Внутри государственно-оформленной общешвейцарской коммуникативной общности в 19 немецкоязычных кантонах выделяется территориально ограниченная коммуникативная общность германо-швейцарцев, образующих одновременно и языковую общность, поскольку они используют единую языковую систему — немецкий язык. Системная общность соответствует здесь коммуникативной общности. Используемая на данной территории языковая система (немецкий язык) представлена двумя основными формами существования — национальным литературным языком наддиалектного типа и швейцарско-немецкими (алеманнскими) диалектами. Она во всех стратах функциональной парадигмы соотносится с германо-швейцарской коммуникативной общностью. Между названными формами существования немецкого языка в Швейцарии имеется непосредственная связь, которая проявляется в двух аспектах. Во-первых, але-

маннские диалекты Швейцарии осознаются как генетически родственные немецкому литературному языку и в плане синхронии выводимые из него, что составляет одно из необходимых условий отнесения их к немецким диалектам [9, с. 49]. Во-вторых, немецкий литературный язык выступает в Швейцарии по отношению к местным диалектам как всеобъемлющая языковая система более высокого ранга. В этом плане представляется правомерным протест швейцарского лингвиста Х. Руппа против распространенного в Швейцарии мнения, что устная форма немецкого литературного языка (у Х. Руппа Standarddeutsch, Standard) является для германо-швейцарца первым иностранным языком. Отмечая, что швейцарско-немецкие диалекты так же принадлежат к диалектам немецкого языка, как швабские, баварские, гессенские, саксонские, нижненемецкие, Х. Рупп подчеркивает лингвистическую несостоятельность подобного мнения. Швейцария в этом отношении не представляет собой особого случая по сравнению с таким немецкоязычным государством, как ФРГ, поскольку проблемы переключения с диалекта на литературный язык у германо-швейцарца не более значительны, чем у жителя Верхней Баварии в небольшой горной деревушке, где еще говорят на диалекте [10, с. 222].

В сфере максимальных общественных коммуникативных функций германо-швейцарцы используют немецкий литературный язык в особом национальном варианте и преимущественно его письменную форму. Примечательно, что если условия общения не требуют от германо-швейцарцев выбора между принятыми в стране языками, они всегда обращаются к немецкому. Устное общение в принципе осуществляется на местных диалектах. Последние, несмотря на определенную региональную дифференцированность (деление на поддиалекты), характеризуются высокой степенью гомогенности, благодаря которой взаимопонимание между носителями различных швейцарских поддиалектов осуществляется беспрепятственно. По свидетельству Х. Руппа, жители Берна, Цюриха и Базеля в устной беседе будут говорить соответственно на бернском, цюрихском и базельском немецком; ни один из них не пойдет другому навстречу, пытаясь использовать некую несуществующую наддиалектную форму «швейцарско-немецкого». «Каждый германо-швейцарец,— заключает Х. Рупп,— говорит обычно на своем диалекте, и для него само собой разумеется, что другой его понимает» [10, с. 216]. В силу такого своеобразия устной коммуникации в Швейцарии первоначально не было сильных стимулов к развитию промежуточной между литературным языком и диалектами формы — обиходно-разговорного языка (Umgangssprache), что столь характерно для германских государств — ГДР, ФРГ. Представляя собой довольно однородное лингвистическое образование, швейцарско-немецкие диалекты в пределах германо-швейцарской языковой общности выполняют функции обиходно-разговорного языка. Кроме того, эти диалекты вторгаются и в область общественных функций немецкого литературного языка, частично (в регламентированных местной традицией диалогических ситуациях и в подобающих типах текстов) используясь в официально-деловом общении, как средство публичной речи, в сфере научной речи, в художественной литературе, в театре, кино, на телевидении, в функции средства обучения в школах, гимназиях, университетах, при богослужении. Так, например, в университетах лекции читаются и семинарские занятия ведутся, как правило, на немецком литературном языке, практические же занятия по естественно-научным и техническим дисциплинам проходят на диалекте. В свои приемные часы профессора говорят на диалекте, диалектом они пользуются в беседах с коллегами и студентами. На телевидении передачи, посвященные новостям дня, политические комментарии, спортивные репортажи ведутся на немецком литературном языке, а спортивная передача типа «Спорт за неделю» — на диалекте. Дикторский текст к передачам, посвященным классической музыке, дается на литературном языке, тогда как пояснения к концертам эстрадной музыки идут на диалекте [10, с. 217]. Таким образом, диалект отличается в данном ареале повышенной социально-функциональной значимостью [2, с. 139], что позволяет некоторым исследователям характеризовать его как «куль-

тивируемый диалект» (Ausbaudialekt) [11, с. 59]. Повышенная социально-функциональная значимость диалекта делает понятным наблюдающееся в Швейцарии в последние годы характерное явление, которое Х. Рупп называет новой диалектной волной. Действие этого явления сказывается, в частности, в том, что учащаются случаи использования диалекта в учебном процессе в школах и университетах. Отдельные профессора читают лекции и принимают экзамены, пользуясь диалектом. Можно услышать даже научные доклады на диалекте. Аналогичная ситуация наблюдается на радио и телевидении: диалект используется здесь без учета типа текста и характера аудитории, причем тексты, подготовленные на литературном языке, в процессе чтения транспонируются в диалектное звучание [10, с. 222]. Отмечая, что проявления новой диалектной волны вызывают обоснованную тревогу в педагогических и политических кругах, Х. Рупп прогнозирует на ближайшие годы ее спад [10, с. 224—225]. Он подчеркивает также, что развитие на базе местных алеманнских диалектов особого швейцарского варианта литературного языка невозможно. Хотя в целом диалектная речь в немецкоязычных кантонах Швейцарии не имеет такой яркой социальной маркированности, как в других капиталистических немецкоязычных странах, в настоящее время прослеживаются определенные различия в оценке социальной престижности городских и сельских реализаций диалектов [2, с. 143]. Как убедительно показывает А. И. Домашнев, основываясь на материалах новейших исследований в данной области, в наши дни намечается тенденция к становлению стандартного (образцового) типа обиходно-разговорного языка (Normalschweizerdeutsch) на базе престижного городского полудиалекта одного из крупнейших центров Швейцарии — Цюриха, так называемого цюрихско-немецкого [2, с. 148].

Немецкий литературный язык в Швейцарии как высший страт функциональной парадигмы обладает дифференциальными (швейцарскими) чертами, которые выявляются на всех системных уровнях и имеют характер кодифицированной (эксплицитной) нормы, что позволяет выделить особый швейцарский вариант нем кого литературного языка. Степень расхождения данного варианта немецкого литературного языка с собственно немецким вариантом литературного языка в ГДР и ФРГ значительно выше, чем, например, австрийского. Объясняется это тем, что в Швейцарии длительное время отсутствовало посредствующее звено, через которое обычно осуществляется взаимодействие диалектов и литературного языка, т. е. особый обиходно-разговорный язык (Umgangssprache). Поэтому взаимодействие диалектов с литературным языком протекало непосредственно, путем прямых контактов, что благоприятствовало переинтеграции диалектных (алеманнских) форм. Алеманнский диалектный материал, освоенный литературным языком в Швейцарии, лежит в основе большинства собственно гельвецизмов, т. е. языковых явлений, не свойственных немецкому литературному языку за пределами данной страны. Наличие подобных явлений составляет наиболее существенную отличительную черту швейцарского варианта литературного языка. Гельвецизмы, генетически восходящие к диалектным особенностям, наиболее полно представлены в лексико-семантической системе, словообразовании и фразеологии. Ср., например, швейц. *Fürsprech* «адвокат, защитник» (собственно нем. *Rechtsanwalt*, *Anwalt*); швейц. *Rock* «женское платье» — нем. *Rock* «юбка»; швейц. *Znüni* «второй завтрак» (нем. das zweite *Frühstück*, *Zwischenmahlzeit*), швейц. *in die Hosen steigen* «приготовиться к борьбе» (нем. *sich zum Kampf bereit machen*).

От охарактеризованной выше языковой ситуации в Швейцарии коренным образом отличается уникальная языковая ситуация в Люксембурге, где на сплошной территории страны в рамках этнически однородного и немногочисленного коллектива используются одновременно три языковых системы, три языка — французский, немецкий и люксембургский или летцебургский язык (Letzeburgisch), генетически восходящий к диалекту мозельско-франкской группы западносредненемецкого ареала. Люксембуржцы пользуются им прежде всего как средством повседневного языкового общения без каких-либо социальных, возрастных и других огра-

Немецкий язык в Швейцарии

Коммуникативная общность	Форма существования языка	Реальные функциональные сответствия каждой формы существования	Соотнесенность коммуникативной общности с языковой системой немецкого языка
Германо-швейцарская общность	Литературный язык	Швейцарский вариант немецкого литературного языка	Во всех стратах
		Швейцарско-немецкие диалекты	
	Обиходно-разговорный язык	Швейцарско-немецкие диалекты	

Немецкий язык в Люксембурге

Коммуникативная общность	Форма существования языка	Реальные функциональные сответствия каждой формы существования	Соотнесенность коммуникативной общности с языковой системой немецкого языка по стратам
Люксембургская общность	Литературный язык	Французский язык	В страте литературного языка
		Немецкий язык	В страте литературного языка
		Люксембургский	Во всех стратах
	Обиходно-разговорный язык	Люксембургский и его поддиалекты	

ничений. Со времени после окончания второй мировой войны наметилась тенденция к использованию люксембургского также как средства коммуникации, обладающего характеристиками письменного языка, причем он участвует в реализации функциональных задач, возложенных на оба государственных языка страны — французский и немецкий. Наряду с люксембургским, в Люксембурге функционируют два государственных языка — французский и немецкий, находящиеся между собой в условиях конкурентного употребления. Основная часть периодики, газеты, иллюстрированные журналы, еженедельники и другие издания выходят на немецком языке. Выбор одного из государственных языков нередко определяется не их функциональным статусом, а связан с причинами социального характера. Люксембургские исследователи в своих работах отмечают, что французский используется преимущественно узкими группами населения, принадлежащими к верхним социальным слоям. Немецкий употребляется менее образованными слоями общества.

Как было показано ранее, в Швейцарии немецкий язык соотносится с германо-швейцарской коммуникативной общностью во всех формах существования, представленных в данном регионе, а немецкий литературный язык выступает там по отношению к другим формам существования в виде верхнего страта функциональной парадигмы. Поэтому германо-швейцарская коммуникативная общность является одновременно и немецкоязычной языковой общностью.

В Люксембурге во всех формах существования и на всех стратах функциональной парадигмы с люксембургской коммуникативной общностью как языковая система соотносится только люксембургский. Таким образом, применительно к данной стране можно говорить только о люк-

сембургской языковой общности. Графически охарактеризованные различия между германо-швейцарской и люксембургской коммуникативными общностями могут быть представлены в виде схем (с. 60).

По признаку использования той же языковой системы люксембургская коммуникативная общность оказывается связанной с франкоязычной и немецкоязычной системными общностями. Французский язык, не представляющий собой близкородственной люксембургскому языковой системы, находит применение только в высшем страте функциональной парадигмы и функционирует в люксембургской коммуникативной общности как иностранный язык. Сложнее определить соотношение люксембургского с близкородственным немецким языком. В настоящее время люксембургский, несмотря на свою генетическую близость к немецкому языку, не может рассматриваться как одна из форм существования немецкого языка в Люксембурге, поскольку немецкий литературный язык не выступает по отношению к люксембургскому в качестве языковой системы более высокого ранга. Люксембургский является скорее близкородственной немецкому языковой системой, «самостоятельным» новым германским языком, высшая форма существования которого — литературный язык — находится еще в стадии становления. Х. Клосс характеризует люксембургский как «культивируемый (сознательно разиваемый язык)» (Ausbausprache) [11, с. 106], понимая под «сознательным развитием» (Ausbau) эволюцию в двух взаимосвязанных направлениях (измерениях): появление новых стилистических средств, их дифференциацию и модернизацию; расширение сфер применения, распространение их на художественную литературу, деловую прозу, тексты мировоззренческого характера, тексты-обращения к слушателям (средства массовой коммуникации — радио и телевидение) [11, с. 38—39].

В силу рассмотренных обстоятельств в Люксембурге не сложился особый вариант немецкого литературного языка. Однако в употреблении немецкого литературного языка имеются отдельные устойчивые дифференцирующие черты. К числу таких черт относятся, в частности, местные особенности речи, восходящие к диалектным элементам [ср., например, употребление лексем *Bongert* «плодовый сад», огород» вместо *Baumgarten*, *Obstgarten*; *Schmiere* «хлеб с маслом» вместо *Butterbrot*; *schaffen* (нейтр.) «работать», *Schaffshose* «рабочие брюки» вместо *Arbeitshose* и др.], непоследовательное смыслоразличение отдельных лексических единиц [ср., например, употребление лексемы *der Unglückliche* в несвойственном ей в немецком литературном языке значении «потерпевший (от несчастного случая), пострадавший» вм. нем. *der Verunglückte*], наличие слов-гибридов, состоящих частично из французских языковых элементов [например, *Kinder-Charette* «детская коляска» (вм. нем. *Kinderwagen*)], устойчивость некоторых архаичных грамматических особенностей (например, сохранение окончания *-e-* в дат. падеже ед. числа: *mit dem Volke*, *in seinem Heime*, *im besten* Zustande).

Наличие живой связи между литературным языком и другими формами существования является необходимой предпосылкой для их взаимодействия друг с другом. Это взимодействие, в свою очередь, способствует накоплению в литературном языке специфических для соответствующей коммуникативной общности структурных особенностей. Получая общественное признание, последние кодифицируются и приобретают характер эксплицитной нормы, определяющей своеобразие каждого данного национального варианта немецкого литературного языка. Именно структурно-нормативная дивергентность составляет релевантный признак национальных вариантов единого литературного языка. Если между близкородственными языковыми системами и немецким литературным языком, используемыми одной коммуникативной общностью, нет непосредственной живой связи, если немецкий литературный язык не выступает как единственная языковая система более высокого ранга, такие близкородственные языковые системы не могут рассматриваться как формы существования немецкого языка. Поэтому взаимодействие между ними и немецким литературным языком носит менее интенсивный характер, чем в первом слу-

чае. Местные особенности употребления немецкого литературного языка не получают кодификации, а отсутствие признака структурно-нормативной дивергентности не позволяет выделить особый национальный вариант немецкого литературного языка.

Рассмотренный материал свидетельствует о важности учета таких объективных моментов, как разграничение системной и языковой общностей, соотнесенность языковой общности с разными стратами функциональной парадигмы, положение в этой парадигме литературного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
2. *Домашнев А. И.* Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л., 1983.
3. *Филичева Н. И.* Методологические вопросы истории немецкого литературного языка.— Вестник МГУ, 1983, сер. 9, № 1.
4. *Zabrocki L.* Wspólnoty kommunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Warszawa, 1963.
5. Варианты полинациональных литературных языков. Киев, 1981.
6. *Scharnhorst J.* Zu einigen Grundbegriffen bei der Analyse von Sprachsituationen — ZPSK, 1980, Bd. 33, Hf. 6.
7. Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft. Berlin, 1974.
8. *Halliday M. A. K.* The users and uses of language.— In: Readings in the sociology of language. Ed. by Fishman J. A. The Hague. 1968.
9. *Goossens J.* Deutsche Dialektologie. Berlin — New York, 1977.
10. *Rupp H.* Tendenzen, Formen und Strukturen der deutschen Standardsprache in der Schweiz.— In: Linguistische Studien, Reihe A, 1983, Hf. 111.
11. *Kloss H.* Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800. 2-te Aufl. Düsseldorf, 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

ЖЕРЕБКОВ В. А.

КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТАЗНАК

Усилившийся в последние годы интерес к типологизации условий реального языкового общения привел к возникновению ряда теорий и целых дисциплин, совмещающих положения лингвистики с новейшими данными смежных наук, прежде всего психологии, социологии, логики и литературоведения. В предлагаемой статье делается попытка систематизации истоков этого совмещения на базе коммуникативной модели, восходящей еще к временам античности (ср. у Платона: «Один — другому — о предмете — посредством языка» — цит. по [1, с. 71]).

Формула Платона описывает элементарный акт языковой коммуникации, своего рода ее «молекул» [2, с. 14 и сл.]. Заменив выражение «один другому» на «говорящий — слушающий» («пишущий — читающий») и приняв во внимание дихотомию «язык — речь», получим:

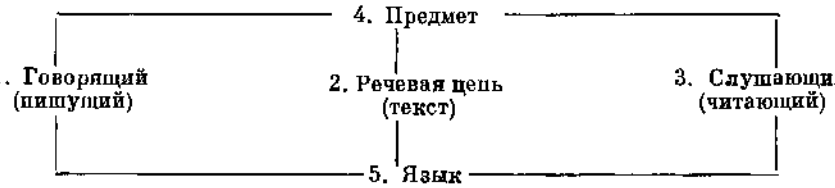

Рис. 1. Модель «молекулы» языковой коммуникации

Изображенная здесь «молекула» языковой коммуникации обычно включается в более сложные виды речевой деятельности, прежде всего в переменно-направленный комплекс высказываний (диалог), а также в тематизированную связную речь (повествование и описание), которая может характеризоваться потенциальной направленностью.

Понятия, названные в модели при помощи определенных слов, несомненно, имеют терминологическую природу, относясь к области теории коммуникации вообще и языковой коммуникации в частности. Поскольку же предмет данной теории — естественная коммуникация, имеющая дело с языковыми и иными коммуникативными знаками, то термины, в которых описывается эта коммуникация, являются вторичными, метакоммуникативными знаками, или метазнаками, т. е. предназначены, так сказать, для «коммуникации о коммуникации» [1].

Метакоммуникативные знаки, введенные в модель, являются ее составными частями (компонентами); они вступают между собой в определенные отношения, обозначенные на рис. 1 с помощью линий. И наконец, каждому из метазнаков свойственно определенное отношение к неязыковой действительности. Таким образом, компоненты коммуникативной модели, взятые по отдельности, обладают реляционной и референциальной значимостью, а вся модель в целом, подобно комплексным языковым единицам,— компонентной и реляционной структурой; она характеризуется также референциальной значимостью, выводимой, как обычно, из референциальной значимости компонентов, но не равняющейся их сумме. Но если это так, то и вся модель является не чем иным, как своего рода комплексным метакоммуникативным знаком (комплексным метазнаком).

[1] Для отличения метаязыков от одноименных названий реальных объектов — людей, предметов, явлений, высказываний, текстов и их компонентов — в статье по мере надобности используются уточнения типа «понятие» или кавычки.

Знаковая природа модели языковой коммуникации подтверждается ее двусторонней сущностью: она имеет как определенный план выражения — слова и символы в схеме, так и план содержания — стоящие за этими словами и символами понятия. Кроме того, эта модель, как и обычный лингвистический знак, характеризуется «асимметрическим дуализмом» [3], а именно: с одной стороны, коммуникация может осуществляться не только с помощью своего основного средства — языка, но и посредством других семиотических систем (например, рисунков-символов, а также паралингвистических действий — мимики, жестов и т. п. в ходе изучения которых возникла специальная теория невербальной коммуникации) [4]; с другой стороны, язык, помимо своего главного, коммуникативного назначения, выполняет и многие иные функции (например, эстетическую, которая, в отличие от ряда других, скажем, познавательной, едва ли сводима к коммуникации, как бы широко мы ее ни трактовали).

Коммуникативная модель, изображенная на рис. 1, как и ее модификации, не только отражает естественную коммуникацию, но и заключает в себе — будучи вершинным метазнаком — квинтэссенцию многих лингвистических проблем и объясняющих их теорий. При этом имеются два существенных ограничения — ориентация на один отдельно взятый язык и синхрония.

Первое ограничение связано с тем, что естественная коммуникация между двумя и более партнерами осуществляется обычно на одном и том же языке; наиболее существенным исключением, а скорее — осложнением, является общение через переводчика. Второе ограничение проистекает из симультанного характера естественной коммуникации в ее исходной форме непосредственного устного общения, при котором коммуниканты контактируют во времени и пространстве. При разобщении коммуникантов — прежде всего во времени — для осуществления коммуникации обычно требуется фиксация речевой цепи в письменной или иной форме, причем значительный временной интервал может блокировать коммуникацию (ср., например, непонимание древних текстов современным читателем).

Поскольку же любое лингвистическое исследование является метакоммуникацией (внутренней или внешней, а также комбинированной), то из рассмотрения модели на рис. 1 исключаются такие проблемы, как классификация и взаимодействие языков, их историческое развитие и пр. Прочие же проблемы языковой коммуникации в целом находят в данной модели весьма полное отражение, ибо о языке можно судить только на базе самого языка, точнее — его актуализации в речевой цепи (тексте) и при помощи языковых и метаязыковых средств. К средствам первого рода относятся, в частности, трансформационные операции, которые основаны на естественной коммуникации информантов [5] и/или внутренней коммуникации лингвиста с самим собой (последнее, как замечает К. Глой, [6, с. 365], имеет место, например, в работах Н. Хомского). К средствам второго рода относятся понятия, термины и символы языкознания и смежных наук. Ср.:

Дверь открыта? — *Да, ее открыли* (Естественное варьирование высказывания о реальном предмете на базе уточняющей синонимии).

(1) *Дверь открыта.* → *Дверь открыли.* (Трансформация замены, субституция — на той же базе).

(2) «*Дверь*» — *это существительное, а не прилагательное.* (Метавысказывание о слове *дверь*).

Рассмотрим с этой точки зрения упомянутые выше параметры коммуникативной модели. Для исследований ее компонентной структуры характерен поиск более общих названий компонентов. В этой связи термины «говорящий» (1) и «слушающий» (3) из рис. 1 часто заменялись, например, на термины теории информации («отправитель — получатель» или «трансмиссор — реципиент»), которые включают в себя понятия не только говорящего и слушающего, но также пишущего и читающего [1, 2, 4]. Соответственно, в позиции 2 появлялся термин «сообщение» (message, Nachricht), а язык получал наименование «код». Кроме этих терминов,

а иногда и наряду с ними использовались производственные понятия типа «производитель», «продукт», «потребитель». В английском языке оказался возможным терминологический ряд «communicator — communicat — communiquee», последний из членов которого точного русского и немецкого аналогов не имеет, о чем свидетельствует немецкий перевод известной монографии Ч. Морриса [7]. Наконец, в последнее время в теорию коммуникации стали проникать кибернетические термины типа «оператор» и «оперативная память».

За этими поисками остался практически незамеченным другой вид обобщения, который органически присущ коммуникативной модели как метазнаку вне особой зависимости от того, какие именно термины избраны для наименования ее компонентов. Этот вид обобщения состоит в том, что компоненты модели по-разному отражают отведенный им той или иной терминологической системой участок объективной действительности, как языковой, так и внеязыковой.

Наименьшим это обобщение является в речевой цепи (компонент 2), которая никак не может представить весь языковой продукт хотя бы потому, что к ней всегда можно добавить еще одно предложение (принцип $n + 1$). При непосредственном же общении цепь обычно ограничивается одним или несколькими предложениями. Аналогичным образом ограничен и «предмет» (компонент 4), который может быть охарактеризован здесь по принципу выбора из некоторой совокупности. При этом следует различать материальные и идеальные предметы; последние выработаны человечеством при помощи языка и в свою очередь воздействуют на него. Поэтому они являются не просто экстралингвистическими, как это часто считается, а своего рода ко-лингвистическими факторами (mitsprachliche Faktoren). В целом обобщение, создающее метазнаки на базе предметной и речевой (текстовой) емкости коммуникативной модели, может быть названо выборочно-неопределенным; оно соотносимо с одноименной функцией артиклей, местоимений и наречий ряда языков.

Напротив, «язык» (компонент 5) всегда сам по себе имеет совокупный характер, т. к. он является достоянием общества и только в силу этого — и отдельного индивида. Выборочный характер имеет, следовательно, не сам язык как член коммуникативной модели, а его использование в конкретном акте коммуникации.

Особо обстоит дело с «коммуникантами» (компоненты 1 и 3). Еще А. М. Пешковский, анализируя временну́ю отнесенность речи, обратил внимание на то, что «говорящий» здесь надындивидуален, это не просто говорящий, а «всякий говорящий» [8]. Отсюда следует, что компоненты 1 и 3 подвержены не совокупному и не выборочно-неопределенному, а репрезентативному (представительному) обобщению, подобно тому, как это имеет место при так называемом генерализирующем употреблении неопределенного артикля.

Референциальная значимость каждого из компонентов также различна. Так, для речевой цепи/текста (2) она определяется отнесенностью к «предмету» (4), т. е. комбинируется с реляционной значимостью. «Предмет» в свою очередь референтен, можно сказать, самому себе. Оба же «коммуниканта» (1, 3) характеризуются по психологическим и социальным параметрам, т. е. тоже имеют комбинированную референтно-реляционную значимость. Последняя определяется градацией языковой способности с точки зрения ее места в ко-лингвистической системе всех носителей языка, выходящей за рамки коммуникативной модели. Принцип места в ко-лингвистической системе, на этот раз — в сфере материального и идеального окружения, определяет и внутреннюю реляционную структуру «предмета» (если он является многокомпонентным). Для речевой цепи в таком случае также характерна компонентная и, соответственно, референтно-реляционная структура. И, наконец, язык обладает всеми видами значимостей и структур, соотносимых с компонентами коммуникативной модели и с моделью в целом.

Собственно реляционная структура коммуникативной модели, т. е. соотнесенность ее компонентов между собою, имеет не менее сложный

характер. Может быть выделена «вертикальная» (по смыслу — референтно-реляционная) ось: «предмет — речевая цепь — язык», причем связь между «предметом» и речевой цепью осуществляется через язык. Ср.:

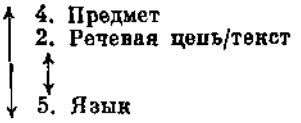

Рис. 2. Референциально релевантный сегмент коммуникативной модели

При говорении или письме названная связь реализуется в направлении 4—5—2, при слушании или чтении — в направлении 2—5—4, причем предмет, в том числе идеальный, конечно, не «передается», а лишь идентифицируется и/или квалифицируется путем сравнения связанных с ним понятийных ассоциаций с содержанием знаков, имеющихся в распоряжении коммуникантов. Если их собственный языковой опыт недостаточен, то они всегда могут — особенно при письме и чтении — прибегнуть к коллективному опыту (словари, справочники), что и является одной из причин того, почему язык и в составе коммуникативной модели характеризуется совокупностью (всеобщностью). Но если язык как компонент коммуникативной модели совокупен, то обозначаемый им «предмет» (4) при его исследовании с лингвистических позиций тоже тяготеет к совокупному обобщению, т. е. к представлению не в виде «кусочка» действительности, а в виде всей действительности или ее совокупных участков. Это касается прежде всего идеальных объектов, составляющих предмет логики и философии и выходящих тем самым за рамки коммуникативной модели. В связи с тем, что «язык есть непосредственная действительность мысли» [9], логико-философские знания обладают значительной ко-лингвистической способностью (mitsprachliche Kraft), т. к. они не только фиксируются при помощи языковых средств, но и приобретаются в самом тесном взаимодействии с ними. Следствием этого и явился тот факт, что многие лингвистические обобщения, начиная с античной грамматики, ориентировались на логику и философию, заимствуя из них не только термины, но и целые системы. Это относится, например, к схемам предложения, как к «традиционной», так и к «семантической», в основе которых лежат разные интерпретации структуры суждения: субъект — предикат (по Аристотелю); предикат — аргументы (по Фреге). Из логики же заимствован аппарат системного (парадигматического) изображения языковых категорий по оппозитивному принципу, нашедший применение у последователей Ф. де Соссюра, прежде всего у Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона и Л. Ельмслева, а затем использованный в многочисленных работах по описанию конкретных языков. Ввиду многозначности и полифункциональности большинства языковых знаков понятия, вводящие их в систему оппозиций, оказались весьма абстрактными, а «привязка» системы к реальному функционированию языка не всегда достаточно убедительной, тем более что выход за пределы коммуникативной модели обычно сопровождался забвением личностных факторов (компоненты 1 и 3).

Принципиально новый подход к изучению языковых явлений стал возможным с появлением современной психолингвистики [10], провозгласившей, что «язык нельзя изучить, если изучать только язык» [11, с. 57]. Эта наука исходила из другого соотношения внутри коммуникативной модели — «горизонтального» (по смыслу — рече-прагматического). Ср.:

1. Говорящий (пишущий) ——— 2. Речевая цепь (текст) ——— 3. Слушающий (читающий)

Рис. 3. Прагматически релевантный сегмент коммуникативной модели

Сама психолингвистика вскоре специализировалась на внутреннем процессе порождения и восприятия речи, не претендуя на решение лингвофилософских проблем. Такая претензия была, как известно, высказана

лишь в работах Н. Хомского [12], хотя ее основой послужила, по мысли автора, не реальная коммуникация, а некоторая, видимо, промежуточная гипотеза, привлекаемая для описания языка. По смыслу этой гипотезы, языковая система есть не набор элементов (знаков), а комплекс правил, носителем которого является, в силу своей компетенции (интуитивной языковой способности), некий «идеальный говорящий—слушающий». «Компетенции» противопоставлено «исполнение» (performance), примерно соответствующее «речи» (la parole) у Соссюра, или реализации способности. Введем лингвофилософскую часть этой интерпретации в анализируемую схему:

А. Компетенция
1. Идеальный говорящий ——— 2. Совокупность речевых цепей ——— 3. Идеальный слушающий
Б. Исполнение
1. Говорящий в определенной ситуации ——— 2. Речевая цепь ——— 3. Слушающий в той же ситуации

Рис. 4. Система Н. Хомского в наложении на прагматически релевантный сегмент коммуникативной модели

Компоненты в графе А рис. 4 являются абстрактными метазнаками, а в Б — представляют коммуникативную реальность, приблизительно в плане проведенного выше анализа. Однако метазнаки в А семантизированы здесь не в репрезентативном и выборочно-неопределенном смысле, а по принципу «часть вместо целого», ибо «идеальный говорящий — слушающий» выступает у Хомского не как представитель языкового сообщества, а попросту заменяет его и считается носителем «всего языка». Это равносильно неправомерному, хотя и встречающемуся у некоторых логиков отождествлению обобщения единичного (оператор типа «каждый») с совокупным обобщением (оператор типа «все»), которые, однако, равны только по содержанию, но не по объему, ибо любой член совокупности никак не может быть всей этой совокупностью.

Хотя концепция Н. Хомского не столько идеальна, сколько идеалистична, заложенное в ней понятие компетенции сразу обрело, особенно за рубежом, широкую популярность, т. к. оно все же дает бо́льшую возможность для ориентации на реальное языковое общение, чем абстрактные парадигматические построения. Одним из важнейших понятий, образованных на базе «компетенции», является введенное Д. Хаймсом [13] понятие коммуникативной компетенции, которое рассматривалось им в качестве дополнения к пункту А (это понятие было впоследствии развито в теории речевого акта и в прагмалингвистике [14, 15]).

Идея подобной, в основном социологической «доработки» лингвофилософского тезиса Хомского состоит в том, что личностные и ситуативные моменты, изображенные на рис. 4, взаимодействуя с собственным языковым выражением, могут быть обобщены и подвергнуты классификации, а потому должны быть представлены не только в сфере реализации (Б), но и в сфере компетенции (А). В данной связи «компетенция» в смысле Хомского подвергается сужению до языковой и даже учебно-методической [16]. Первая часть этой идеи, несомненно, правильна. Такой существенный для общения момент, как иллокутивный акт, т. е. формирование интенции говорящего, легко укладывается в соотношение 1—2—3 с отклонением в сторону позиций 4 и 5 [15, с. 54—71]. Таким образом, он является колингвистическим в нашем понимании, хотя и характерным прежде всего для непосредственной (ситуативной) коммуникации. Однако понятие компетенции становится в таком случае относительным и никак не согласуется с концепцией самого Хомского, предпосылкой которой является именно понятие идеального говорящего, поставленного над любой личностью и ситуацией и обладающего поэтому компетенцией абсолютной. Таким образом, исключение личностных и ситуативных факторов является у Хомского не упущением, а обусловлено лингвофилософской стороной его теории. В практическом же плане (аспект правил) Хомский, как заме-

чает К. Глой [6, с. 365], конечно, ориентировался не на несуществующую абсолютную, а на собственную относительную компетенцию профессионально-лингвистического уровня, о чем уже упоминалось в несколько иной связи.

Сказанное дает основания полагать, что коммуникативная компетенция, равно как и языковая компетенция в качестве ее относительного противочлена, базируются не на отношениях внутри коммуникативной модели, а на референциальной отнесенности всей модели в целом, подсоединяясь в этом смысле к языку и подвергаясь личностно-социальной градации. Мы называем этот комплекс «языковой оперативностью», имея в виду градуируемые знания, умения и навыки каждого из членов языкового сообщества (проекция на язык и на ко-лингвистичность).

Референциальная отнесенность, или значимость, всей коммуникативной модели может быть рассмотрена в двух аспектах: динамическом и статическом. Первый имеет дело с речевой деятельностью, второй — с ее колингвистическими параметрами. Оба аспекта связаны между собой третьим, инструментальным аспектом, под которым мы склонны понимать систему языка по Ф. де Соссюру, включающую в себя, однако, не только элементарные знаки, но и их комбинации в той мере, в какой эти последние могут считаться комплексными знаками. Таким образом, сюда войдут и предложения, и сочетания предложений (сверхфразовые единства). Не исключен, естественно, и репертуар правил (по Хомскому или в иной интерпретации), подключаемый к набору элементарных знаков.

Не останавливаясь на речевой деятельности подробнее, поскольку она детально освещена в цитированных выше работах [2, 4, 6, 10—15], отметим, что при выделении ее видов не всегда легко — ввиду лингвистической метонимии — отличить саму деятельность от ее параметров и характерных средств ее оформления. Это можно проиллюстрировать, в частности, на понятии регистра, трактуемого, например, у Э. П. Шубина сначала как класс актов языковой коммуникации [2, с. 26], а затем как ее условия [2, с. 27]. В словаре Т. Левандовского приводится трактовка регистра как пучка характерных для той или иной ситуации синтактико-грамматических средств [17]. Представляется, что под регистром, согласно семантике термина, лучше все же понимать именно параметры каждого из видов речевой деятельности. К основным видам речевой деятельности относятся: а) непосредственная коммуникация, целиком осуществляемая в актуальной ситуации hic et nunc по отношению к ней самой или к вовлекаемым в нее ситуациям прошедшего и будущего (это является предметом теории речевого акта) и б) коммуникация, в той или иной степени отличная от ситуации hic et nunc и ориентирующаяся преимущественно на речевую цепь. Эта цепь отражает связную тематизацию либо «вневременных» ситуаций (как, например, в тексте статьи), либо ситуаций прошедших (например, в исторической литературе), или же фиктивных, но изображенных в виде любой из вышеназванных ситуаций событий (в беллетристике), что в целом составляет предмет лингвистики текста. Возможен, естественно, ряд переходных случаев.

Адекватных названий для обоих этих видов речевой деятельности пока не имеется, если отвлечься от эмпирических корреляций типа «разговор — рассказ» или «беседа — сообщение (сочинение)», используемых, впрочем, не только в практике преподавания родного и иностранного языков, но и в лингвистических работах [18]. В свете изложенного указанные виды речевой деятельности можно предварительно назвать контактным и «погружающим», а соответствующие им регистры — ситуативным и тематическим.

Прочие ко-лингвистические параметры речевой деятельности являются статическими только в отношении к коммуникативной модели. Сами по себе они находятся в постоянном развитии параллельно языку как общественному явлению и именно поэтому выходят за рамки этой модели. Сюда относятся: 1) все данное (любое) языковое сообщество как территориально, экономически, общественно-политически и духовно организованная структура — вместе с единым языком признаки этой структуры

составляют, как известно, понятие нации; 2) все материальное и идеальное окружение в связи с человеческой деятельностью, которая в свою очередь связана с языком.

Нетрудно заметить, что данные совокупности представляют собой множественные аналоги компонентов 1, 3 и соответственно 4 из коммуникативной модели. Во вторую совокупность может быть помещен и редуцированный аналог компонента 2. Обе совокупности входят в следующую общую схему лингвистических и ко-лингвистических параметров речевой деятельности, составленную с использованием операциональных терминов, а также некоторых понятий современной лингвостилистики [19, 20]:

А. Лингвистические параметры	←→ Б. Ко-лингвистические параметры		
1. Инструментальный аспект	←→ 2. Личностно-социальный аспект	←→ 3. Общественно-социальный аспект	
Система языковых знаков (фонетических, лексических и грамматических) и их комбинаций как комплексных знаков и/или правил порождения речевой цепи. Ядром системы является литературный язык; диалекты и социолекты лежат на периферии.	Степень оперативности (продуктивной и рецептивной) по отношению к 1 в проекции на 3.	а) Оперативные сферы (официальная, научно-техническая, бытовая, публицистическая, беллетристическая) и их подвиды, например, предметные ситуации. б) Оперативные регистры (ситуативный и тематический), их подвиды и комбинации. в) Оперативный тип как нижняя единица из «а» в рамках «б».	

Рис. 5. Оперативная база языковой коммуникации

При языковом оперировании, т. е. при использовании языковых средств (1) в аспекте 3 соразмерно аспекту 2, этому последнему соответствует индивидуальный стиль: литературный, в том числе приподнятый, средний и сниженный, а также диалектный и социолектальный, причем последние проникают в литературный и наоборот. Пункту 3а соответствуют функциональные стили, или подъязыки; пункту 3б — виды речи (разговор, рассказ; прямая, косвенная, несобственно-прямая речь) и пункту 3в — типы речи и текста. Усредненная оперативность по отношению к литературному языку в проекции на общественно-социальный аспект определяет, видимо, понятие нормы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Asmuth B., Berg-Ehlers L.* Stilistik. Opladen, 1976.
2. *Шубин Э. П.* Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам. М., 1972.
3. *Karcevskij S.* Du dualisme asymétrique du signe linguistique. — TCLP, 1929, 1.
4. *Helfrich H., Wallbott H. G.* Theorie der nonverbalen Kommunikation.— In: Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen, 1980.
5. *Glinz H.* Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik. Bern — München, 1962, S. 6.
6. *Gloy K.* Sprachnorm.— In: Lexikon der germanistichen Linguistik. Tübingen, 1980.
7. *Morris Ch. W.* Zeichen, Sprache und Verhalten. Düsseldorf, 1973, S. 109 ff. u. a.
8. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 89.
9. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология.— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 3, с. 448.
10. *Леонтьев А. А.* Психолингвистика. М., 1967.
11. *Hormann H.* Meinen und Verstehén. Grundzüge einer psychologischen Semantik. Frankfurt-am-Main, 1976.
12. *Chomasky N.* Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.
13. *Hymes D.* On communicative competence.— In: Sociolinguistics. Harmondsworth, 1972.
14. *Searle J. R.* Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge, 1974.
15. *Wunderlich D.* Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt-am-Main, 1978.
16. *Schröder J.*— Deutsch als Fremdsprache, 1979, Hf. 6.— Rec.: *Zerebkov V. A.* Das Verb. Ein Hilfsbuch zur deutschen Grammatik. M., 1977.
17. *Lewandowski Th.* Linguistisches Worterbucg. II. Heidelberg, 1979, S. 620.
18. *Weinrich H.* Tempus. Besprochene und erzahlte Welt. Stuttgart, 1977.
19. *Riesel E., Schendels E.* Deutsche Stilistik. M., 1975.
20. *Sanders W.* Linguistische Stilistik. Göttingen, 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

АЛЕКСАНДРОВА О. В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛОГИКИ, МЕТОДОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА

В настоящее время в некоторых языковедческих работах наблюдается тенденция к смещению интереса в область интерлингвистики и к методам символической логики, причем последняя, в свою очередь, все более обращается к естественному человеческому языку. В связи с этим стало создаваться впечатление, что то, что верно для логики, верно и для естественного человеческого языка. Основой смешения языкознания и логики явилось, вероятно, неразличение естественных человеческих языков и различных искусственных языков, т. е. языкознания как раздела филологии и интерлингвистики как раздела семиотики.

Факт связи языка с процессами мышления хорошо известен [1]. Изучение структуры сложных предложений (например, сложноподчиненных)— наиболее близкая к логике область языкознания. Однако смешивать эти два научных подхода нельзя. Когда представителями логических направлений исследуется вопрос о пропозициональных функциях и вероятностной семантике, то их аргументация и выводы оказываются малоприемлемыми для изучения естественного человеческого языка. Возможно, что они применимы для создания искусственных языков; однако переносить их на язык вообще без углубленного собственно лингвистического его изучения нецелесообразно.

Естественный человеческий язык, разумеется, можно представить в виде системы. Однако реально он существует только в речи и познается через речь. Только на основе тщательного и всестороннего анализа речевых произведений становится возможным прийти к обобщениям относительно функционирования данной самобытной семиотической системы.

Работа в области языкознания крайне затрудняется тем, что коль скоро исследователь ставит себе задачу изучения данного естественного человеческого языка и такое его описание (основанное на фактическом материале конкретного языка), которое служило бы практике нашей науки, сразу же возникают известные осложнения, связанные с отсутствием адекватной оценки бесконечно сменяющихся направлений зарубежной лингвистики, которые нередко оказываются, в конечном счете, бесплодными. Наглядным примером ограниченного подхода к изучению языка является генеративная грамматика, исходившая из ложных методологических посылок. Из сказанного следует, что прежде чем брать на вооружение какую-либо вновь появившуюся в зарубежной лингвистике теорию, следует оценить ее с позиций материалистического понимания природы языка. Продолжая традиции советского языкознания, следует глубоко изучать объективно существующий материал, данный в нашей языковой практике, исходить не из логических презумпций, а из фактов речи. Только на этой основе становится возможным проникновение в сложные процессы функционирования человеческого языка во всем их многообразии.

Чем же объясняется указанное выше «смещение», какие для этого можно найти объективные причины? Думается, что это зависит в большей степени от того интереса, который вызывается вопросом о месте логики вообще и символической логики в частности в системе знаний. К сожалению, в языковедение продолжают включаться — фрагментарно и недостаточно квалифицированно — понятия и методы символической логики.

Поэтому целесообразно хотя бы вкратце коснуться материалов недавно закончившегося VII Международного конгресса по логике, методологии и философии науки, проходившего в 1983 г. в г. Зальцбурге (Австрия). Понятно, что нас интересует прежде всего работа отдельной секции конгресса, посвященной основаниям и философии лингвистики, где исследовались связи языковых структур с познавательными структурами и механизмами. На секции обсуждались, в основном, две проблемы: 1) общие логико-методологические проблемы анализа естественного человеческого языка (значения, референции, интенции, соотношения логики и грамматики, истины и значения) и 2) логико-лингвистические проблемы анализа языка (языковые универсалии, вопросы квантификации материала естественного человеческого языка, лексического значения и т. д.).

Результаты состоявшейся дискуссии показывают, что «успех логического анализа естественного языка достигается лишь тогда, когда он опирается на правильную методологию исследования. Этот тезис особенно стал очевиден в свете несостоятельности программы Хомского и его последователей. Несмотря на отдельные частные позитивные результаты, теория трансформационного анализа оказалась неадекватной именно в силу ошибочности исходных методологических предпосылок» [2, с. 57].

Важным итогом конгресса явилось то, что «здесь отчетливо выявились преимущества диалектико-материалистической методологии, которая конструктивно снимает как абсолютизированную, оторванную от содержания науки формализацию, осуществляемую, например, в рамках неопозитивистских концептуальных схем, так и абстрактно-философские, в том числе натурфилософские построения, также лишенные реального научного содержания, идущие не от анализа существующих теорий самой науки, а навязывающие ей априористические идеи „чистого мышления“» [2, с. 42—43]. Позитивистские концепции Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда все более теряют свое влияние, в то время как возрастает роль диалектико-материалистических подходов.

Само собой разумеется, что «...эффективность такого подхода определяется умением владеть методом диалектики профессионально, а это дается не каждому и тем более не сразу: нужна большая школа изучения истории философии, трудов классиков диалектико-материалистической философии, современной философской литературы» [2, с. 43].

Небезынтересно отметить некоторые выводы, полученные в результате всестороннего обсуждения во время конгресса, которые связаны с общим направлением изучения соответствующих вопросов, особенно в нашей стране. Начнем с наиболее сложных из них, касающихся основных номенклатур, служащих уточнению разных аспектов всей этой необъятной проблематики. Имеются в виду широко использующиеся, но лишенные необходимой точности в их употреблении такие составные термины, как «философия языка», «лингвистическая философия», «философия лингвистики», «философия логического анализа» и др. Определим основные понятия в той последовательности, в которой они даны выше.

Логика формальная — наука об общезначимых формах и средствах мысли, необходимых для рационального познания в любой области знания [3, с. 316]. К общезначимым формам мысли относятся суждения, понятия, умозаключения. Что такое «суждение»? Возможны несколько значений этого понятия: 1) То же, что высказывание, т. е. повествовательное предложение, рассматриваемое вместе с его содержанием (смыслом) как истинное или ложное. Терминология, относящаяся к высказыванию, не установилась, и термины «высказывание», «предложение» и «суждение» употребляются как синонимы; 2) Умственный акт, выражающий отношение говорящего к содержанию высказываемой мысли посредством утверждения модальности сказанного и сопряженный с психологическим состоянием убежденности или веры [3, с. 663].

Методология — это система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Диалектико-материалистическая методология позволяет

адекватно понять характер отношений между теорией и методом, а также роль практики в познании. Диалектико-материалистическая методология, носящая всеобщий характер, конкретизируется применительно к разным сферам практической и теоретической деятельности соответственно их условиям и задачам [3, с. 365]. Ф и л о с о ф и я — это форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Новый этап: всестороннее развитие В. И. Лениным теории познания. Он выявил диалектический характер процесса познания, разработал учение о роли практики в познании и теорию истины, в том числе диалектику соотношения] абсолютной и относительной истин [3, с. 726].

Приведенные определения основных понятий необходимы, т. к. иначе нельзя разобраться в той путанице, которая возникла в лингвистике и смежных с ней областях. Так, в литературе весьма широко употребляются следующие составные термины: «philosophy of language», «linguistic philosophy» и «philosophy of linguistics». Попытаемся дать определения этим терминам, опираясь на уже существующие работы.

Ф и л о с о ф и я я з ы к а (philosophy of language, нем. Sprachphilosophie) представляет собой одну из областей применения философского метода, т. е. рассмотрение фактов данной конкретной области знания в плане наиболее общих законов развития природы, человеческого общества и мышления. Л и н г в и с т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я (linguistic philosophy) представляет собой разновидность логического позитивизма (оксфордская школа), постулирующего возможность решения философских проблем путем логико-лингвистического анализа отдельных слов, выражений и предложений (фактически отдельных фрагментов языка, а не языка в его реальной целостности). Таким образом, она отрицает мировоззренческий характер философии, считая традиционные философские проблемы псевдопроблемами, которые возникают вследствие будто бы дезориентирующего влияния языка на мышление. Специфика «лингвистической философии» выступает наиболее четко при сравнении ее с так называемой «философией логического анализа», которая сводит философию к логическому анализу языка и возникающих при его использовании проблем средствами современной математической логики. Отсюда понятие «метафилософии», т. е. способов выражения в языке философских проблем. Ф и л о с о ф и я л и н г в и с т и к и (philosophy of linguistics) — это раздел научной метатеории в духе Рассела, раннего Виттгенштейна и Карнапа.

Из имеющейся обширной литературы, посвященной соотношению философии и языка, продолжает привлекать внимание книга философа Дж. Сёрля, подробно и обстоятельно останавливающегося на соотношении философии языка и так называемой «теории речевых актов» [4]. В начале своей книги Сёрль пишет: «„Лингвистическая философия“ (linguistic philosophy) — это название метода. „Философия языка“ (philosophy of language) — это название предмета. Хотя я иногда буду пользоваться методами лингвистической философии, эта книга посвящается ф и л о с о ф и и я з ы к а, а н е л и н г в и с т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и» [4, с. 4] [1].

Таким образом, ни философия языка, ни предлагаемая зарубежными философами теория «речевых актов» не могут быть отнесены к языкознанию: философы обращаются к языку в качестве материала для с о б с т -

---

[1] В книге Сёрля много интересных наблюдений: о художественной литературе (с. 78—79); о знании языка (особ. с. 13 и сл.). Сёрль различает «употребление выражений» (use of expressions) в отличие от «значения предложений» (meaning of sentences) в зависимости от преимущественного интереса к тому или другому, в связи с чем он подразделяет «современную» философию языка на два течения (strands). Интересны разбор природы суждения (с. 29 и сл.), проводимое Сёрлем различие между «употреблением» слова и «упоминанием» о нем (с. 73 и сл.), особенно в связи с вопросом о кавычках на письме; прекрасное описание кванторов и дескрипторов и мн. др.

венно философских рассуждений и выводов. Заметим, что Сёрль специально подчеркивает, что он занимается философией, а не лингвистикой («Эта книга — не сочинение по языкознанию») [4, с. 4]. Далее следует определение «лингвистики», которое перекликается с тем, которое находим, в частности, у Вендлера. «Лингвистика пытается описывать фактические структуры — фонологические, синтаксические и семантические — естественных человеческих языков» [5]. В данном случае мы еще раз сталкиваемся с концептуальными расхождениями относительно предмета языкознания как области научного знания, которое часто фигурирует в построениях Остина, Вендлера, Сёрля и других ученых. Будучи философами, они не занимались языкознанием и, в частности, как это нередко бывает, не знакомы с работами советских филологов, убедительно показавших, что наука о языке исследует прежде всего речь как единственную форму существования языка [6]. «Философы языка», очевидно, полагают, что языковеды оперируют только чистыми абсолютными структурами и что именно «лингвистическая философия» впервые обратилась к реальности «обыденного языка» (ordinary language) и, следовательно, к изучению речи. Они убеждены в том, что именно они первыми обнаружили необходимость обращения к изучению того, что действительно происходит в процессе речевого общения. Создается впечатление, будто им не известно, что существует речеведение (speechology), наука, которая специально изучает различные аспекты реального функционирования языка и особенности «речевого акта», т. е. того, как люди реально пользуются языком, говорят на языке.

Нельзя не выразить недоумения по поводу того обстоятельства, что в работах по «речевым актам» (speech acts) совершенно не учитывается известная книга А. Гардинера [7] [2].

А между тем адекватное описание «речевого акта» является, пожалуй, наиболее существенной частью этой блестящей книги. Автор подробно и всесторонне освещает такие понятия, как слово, его значение, референт, звуковая оболочка (и связанные с последней вопросы омонимии), интонация, модальность (включая модальность побуждения). Гардинер подробно описал и убедительно разъяснил соотношение «locutional» и «elocutional» sentence-forms.

Трудно представить себе языковеда, который, встретив у Остина термины «locutionary»/«illocutionary acts», не вспомнил бы об аналогичных прилагательных у Гардинера, сущность которых раскрыта на прекрасно подобранном языковом материале с учетом диалектики «конгруэнтной» и «инконгруэнтной» функций (congruent and incongruent functions).

Повторим, что философия естественных человеческих языков (the philosophy of language) — это вполне правомерный раздел философии. Она входит в ряд таких разделов последней, как философия математики, физики и, шире, философии естественных наук вообще. То, что философия может изучать язык, как и всякий другой предмет, не может вызвать возражений или сомнений. Слабость рассматриваемых философских концепций в том, что несмотря на ряд интересных частных наблюдений, они строятся на превратном представлении о языке и представляют его не таким, как он реально существует и функционирует, а таким, как он видится ученым данного философского направления,

---

[2] Думается, что все уже возникшие и не перестающие возникать недоуменные вопросы, связанные с «завещанием» Остина, вызваны незнанием языковедческих исследований вообще и работ Гардинера в частности. Остин был философом, и его посмертно опубликованная книга «How to do things with words» была отнюдь не языковедческой работой. Но, хотя и умозрительно, он все же выделил не менее пяти «illocutionary forces», способных встречаться в речи: verdictives, exercitives, commissives, behabitives и expositives, которые все снабжены строгим философским определением. Почему широкое хождение получили только «перформативы» — остается непонятным. Как видно из основного текста, мы вовсе не касались вопросов этики (так называемой «moral philosophy»), которая в лингвистической философии упирается в значение слов и выражений «обыденного языка». Подробное — и в высшей степени компетентное — рассмотрение этих вопросов можно найти в книге Дж. Уорнока [8].

При этом совершенно не учитываются важнейшие выводы, к которым приходят языковеды, рассматривающие материал разных языков.

Поэтому понятно, что обращаясь к изучению «обыденного языка», т. е. речи, без предварительного ознакомления с работами языковедов, философы всех «лингвистических» направлений занимаются преимущественно следующими вопросами: что значит быть истинным, а не ложным: что значит быть суждением, или утверждением, или обещанием и т. д. Выводы, к которым приходит философ, изучая с философских позиций ту или иную языковую категорию, имеют только абстрактное философское значение. При этом основной смысл исследований сводится к выяснению того, какие утверждения можно считать истинными, а какие ложными. Иначе говоря, задача философа состоит в том, чтобы представив себе «обыденные выражения», сделать спекулятивные выводы, которые относились бы к языку вообще.

Закономерно поставить вопрос: в чем же тогда различие между «философией языка» и общим языкознанием? По-видимому, в том, что общее языкознание трактует реальные данные отдельных языков и затем их обобщает, тогда как философия языка как особый спекулятивный предмет стремится к умозрительным выводам о языке «вообще», т. е. о любой семиологической системе, способной выразить истинное суждение (в отличие от ложного), утверждение или обещание.

Выше мы уже говорили об отсутствии интереса со стороны лингвистической философии, теории «речевых актов» и т. п. к работам их предшественников-языковедов. Между тем особенно следовало бы учитывать работы языковедов, стремящихся к сотрудничеству языкознания с логикой и философией. В этом отношении исключительный интерес представляет книга Ю. С. Степанова «Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика)» [9]. Основным и исходным в этой книге является предложение, понимаемое как структурная схема или пропозициональная функция. После того как установлена систематика типов предложений, т. е. таксономия синтаксиса, «челночной процедурой» выявляются зависимые от предложения таксономии словаря, в сфере которого выделяются имена (как соответствия «термов» в составе предложения) и предикаты (как соответствия «предикатов» или отношений между термами в составе предложений) [9, с. 4]. Таким образом, создаются предпосылки для постановки вопроса об изучении «языка вообще» [9, с. 5] (язык определяется как «совокупность категорий и правил»). Следует подчеркнуть, что хотя общее направление рассуждения здесь и совпадает с тем, что постулируют «новые» философы, идет оно в прямо противоположном направлении: Ю. С. Степанов приходит к синтезу понятия структурной схемы предложения с понятием пропозициональной функции уже после того, как в работах Н. Ю. Шведовой и Т. П. Ломтева были созданы для этого реальные предпосылки [10—13]. Один из выводов, к которому при этом приходит читатель,— это блестящая эрудиция автора (прежде всего в области языкознания) в сочетании с глубоким пониманием существа логических и философских категорий, отличное знание истории всех трех наук [3].

Итак, философия языка традиционно занимается природой пропозициональной функции в связи с предложением, суждением, умозаключением и т. д. Однако «новая» философия теперь расширяет сферу своих интересов: в современных работах по философии языка рассматривается употребление выражений в речевых ситуациях и значение предложений. Следует напомнить о двусмысленности слова «meaning». Английский глагол *to mean* имеет два совершенно различных значения: 1) «иметь в виду, подразумевать» и 2) «значить». Если считать, что русское *значение* и англ. *meaning* — эквиваленты, то значение — это то, чем наделены слова или их сложные идиоматические эквиваленты; соответственно, когда речь идет о словосочетании (если одно сложное понятие выражается несколь-

---

[3] Выдающимся достижением работы Ю. С. Степанова является то, что она насыщена богатым, тщательно проанализированным языковым материалом.

кими раздельнооформленными единицами), то возникает или сумма этих значений, соответствующим образом взаимовлияющих и видоизменяющихся, или же получаются эквиваленты «монем», сложные идиоматические эквиваленты «монолексемных» слов. Предложения, в отличие от слов и словосочетаний, имеют не значения (meanings), а «содержание-намерение» (purport).

Употреблять «высказывания» в речевых ситуациях значит, как давно признавалось, принимать участие в некоторой уже установленной, подчиняющейся определенным правилам форме поведения (behaviour). Говорить на языке — значит осуществлять «речевые акты», делать утверждения, давать указания, обещания, воспроизводить «речевые акты» как канонизированные формы общения. Поэтому естественно было бы ожидать анализа т е к с т о в, т. е. достаточно протяженных «высказываний», в которых наглядно раскрывались бы «нормы поведения» и становилось бы ясным, как при помощи слов можно «делать дела» (How to do things with words). Но обращения к реальному материалу по существу так и не происходит. Соотношение понятия «sentence» («предложение») и «utterance» («высказывание») так и остается невыясненным. А между тем имеющийся скудный материал неизменно выступает в виде отдельных предложений/пропозиций, никак не связанных с какой бы то ни было реальной ситуацией общения, искусственно составленных, придуманных автором и вызывающих недоверие или протест у языковедов. Напомним, что Дж. Ферт (J. Firth), как и Р. А. Будагов, считал подобные предложения нонсенсом и отказывался принимать их за подлинные факты языка.

Сколь настойчиво ни выдвигалось бы на первый план «высказывание» («предложение», «суждение») с его «локуционными», «иллокуционными» и «перлокуционными» свойствами, оно не может обойтись не только без «предикатов», но и, самое главное, без «термов» и их денотатных и сигнификатных группировок [9].

Любой анализ значения слова должен исходить из того, что оно (значение) остается равным себе в различных предложениях, независимо от их формы. Например, слово *true* «истинный» сохраняет свое значение независимо от формы предложения, в которое оно входит,— вопросительного, изъявительного, условного, отрицательного, желательного и т. д. Еще Г. Фреге был убежден, что значение предшествует «референции», которая может осуществляться только вследствие (и благодаря) наличию значения.

Попытаемся теперь подвести краткие итоги сказанному. Вряд ли у у кого может вызвать сомнение актуальность вопросов, возникающих при изучении взаимодействия логики, методологии и философии с языком. Вполне обоснованным и очень своевременным является то, что на Международном философском форуме этим вопросам было уделено такое большое внимание. Вряд ли можно также сомневаться в том, что это только начало большой работы, которая будет способствовать все большему расширению з н а н и я, осведомленности гуманитариев, их знакомства с разными направлениями исследования, практикуемыми в р а з н ы х странах.

Вместе с тем даже самого беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться, сколь узким остается у многих авторов кругозор, как легко они удовлетворяются приблизительными формулировками, особенно если эти формулировки по той или другой причине восприняты как «новые» и «оригинальные» («модные»). Еще хуже то, что нередко повторяя те или иные понравившиеся лозунги, не вникают в их методологические основы, в то, какое место они занимают в общей системе гуманитарного знания.

Как филолог я убеждена, что философам все еще не хватает сведений о предмете, методе и задачах языковедения как раздела филологии и что смешение языковедения и интерлингвистики (как раздела семиотики) приносит большой вред. Логикам и философам, использующим язык в качестве базы для своих построений и выводов, необходимо быть знакомыми хотя бы с достижениями науки о языке в своей стране, т. к. иначе они выступают в очень невыгодном свете. Можно порекомендовать им, наконец, познакомиться с советской филологией: у нас многие принципиальные

вопросы уже много лет решаются, причем эти решения неуклонно подтверждаются, в частности, огромным объемом лексикографической практики [4].

Можно спросить: а почему же все-таки лингвистическая философия столь упорно и настойчиво ограничивает себя искусственно составленными «пропозициями» и столь же настойчиво стремится выдать их за «обыденный язык», не обращаясь к реальным «актам речи»? По-видимому, по недоразумению. Если бы этот важнейший аспект всей нашей деятельности подвергся бы, наконец, серьезному рассмотрению, многое в интердисциплинарных контактах могло бы существенно измениться к лучшему.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
2. Об итогах VII Международного конгресса по логике, методологии и философии науки.— ВФ, 1984, № 2.
3. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
4. *Searle J. R.* Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge, 1970.
5. *Vendler Z.* Summary: Linguistics and the a priori.— In: Philosophy and linguistics. Controversies in philosophy. Ed. by Flew A. G. N. London, 1971.
6. *Смирницкий А. И.* Объективность существования языка. М., 1954.
7. *Gardiner A.* The theory of speech and language. Oxford, 1951.
8. *Warnock G. J.* The object of morality. London, 1971.
9. *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М., 1981.
10. *Шведова Н. Ю.* Простое предложение.— В кн.: Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
11. *Шведова Н. Ю.* О соотношении грамматической и синтаксической структуры предложения.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.
12. *Ломтев Т. П.* Предложение и его грамматические категории. М., 1972.
13. *Ломтев Т. П.* Общее и русское языкознание. М., 1976.

---

[4] Еще на заре советской власти В. И. Ленин обратился к ведущим советским лингвистам с призывом к созданию словаря русского языка. Изучение значений слов занимало большое место в работах таких наших крупнейших языковедов, как В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, Д. М. Ушаков, А. И. Смирницкий и многие другие. Слово как основная единица языка, типы и виды лексических значений, принципы семантического анализа находились в последние 60 лет в центре внимания языковедов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КОЖИН А. Н.

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Экстремальные условия жизни общества в годы Великой Отечественной войны, определявшей «судьбу всего нашего народа, завоевания рабочих, крестьян, интеллигенции, всего советского общества» [1], предопределяли активизацию тех процессов, которые в языке протекают незаметно и не всегда воспринимаются говорящими. Как известно, все звенья лексической системы русского языка по-своему откликались на изменения, происходившие в обществе: возникали новые слова и лексикализованные словосочетания; напротив, утрачивали активность, переходили в пассивный запас некоторые группы лексем и выражений; намечалось иное употребление слов, что вело к возникновению у них новой коннотации, новых смыслов и даже иных значений; расширяли сферу употребления слова и словосочетания специальной, профессиональной речи; завоевывали статус литературности слова обиходно-разговорной речи; имело место сложное взаимодействие между средствами литературной и нелитературной речи; происходила переоценка стилистической позиции слова.

Слово не только откликалось на запросы общества, но и служило средством оценки обозначаемого и выражения эмоционального отношения к предмету речи. В речевой ситуации слово оказывалось объектом оценки, отражавшей тот или иной подход к объективируемой средствами языка внеязыковой действительности.

В речи периода Великой Отечественной войны существенно расширяется сфера употребления слов и словосочетаний, обозначающих реалии военного дела; будни эпохи содействовали тому, что военные термины, определявшие профессиональный профиль речи военнослужащих, становились достоянием более широкого круга носителей русского языка: они узнавались, понимались всеми, кто был втянут в сферу военно-делового общения, и использовались в качестве средства массовой коммуникации; ср., например, употребление выражения *разведка боем*: «Утром белесую полосу тумана разорвали гулкие орудийные залпы ... Еще не успели смолкнуть последние выстрелы, как советские бойцы дружно устремились вперед через минные поля, в которых ночью саперы проделали проходы. Так началась *разведка боем*» (Вечерняя Москва, 1943, 2 июля).

Некоторые слова обрели при этом иное содержание по сравнению с тем, какое они имели прежде, например: *экскарп* — это не только ближайшая к валу крутизна наружного рва укрепления (как было ранее), но и противотанковое препятствие в виде высокого крутого среза ската возвышенности, обращенного в сторону противника [2].

Практика всеобщего военного обучения, публикация учебных материалов, сообщения в печати о ходе таких занятий — все это способствовало распространению военной лексики: «Боец всевобуча, быстрей овладевай *минометом*! Приемы и правила стрельбы из *миномета*. Наводка *миномета* на цель. Установка *миномета* на *огневой позиции*. Действия при *осечке*. *Минометчики*...» (Комсомольская правда, 1941, 28 окт.).

Пути и способы освоения военного словаря были весьма разнообразными. Содержание соответствующих понятий разъясняется в прессе того времени, сопровождается комментариями, развернутым описанием того, что покрывается содержательностью военного обозначения: «Фашисты основательно в селе укрепились. Было сосредоточено 40 орудий, 2 батальона пехоты. Позиции казались прочными. Подступы к ним изрыты глубокими оврагами. На господствующих высотах поставлены пулеметы. Тан-

кам и пехоте предстояло разрубить этот узел ... узел сопротивления» (Известия, 1942, 27 янв.). Содержание слова в военной речи раскрывалось при посредстве образных представлений, создаваемых изобразительными потенциями контекста: «Мина даже в открытом поле рвется со звуком пронзительным, истерически звонким, диким, как будто перепиливают барабанные перепонки, а в городе кажется, что все ухо вырвали с мясом» (Известия, 1942, 1 ноября); «Над головой все время „фюить", „фюить", клубится пыль, *трассирующие пули*, разрываясь о кустарник, осыпают траншею фейерверком — синим, красным, зеленым» (Известия, 1942, 15 ноября). Широко распространялось переносно-фигуральное словоупотребление: разведка — *глаза и уши армии*, обороняемый рубеж — твоя *крепость*, *на плечах противника* ворваться в город, *прикрывать огнем и броней* рубеж обороны.

Содержательность соответствующего слова, словосочетания разъяснялась изобразительно-мотивирующим обрамлением текста, расширявшим круг зрительных или слуховых представлений о тех предметах, которые соотносятся с определенным понятием области, военного дела. Словосочетания *трассирующая пуля*, *трассирующий снаряд*, указывающие на свойство обозначаемого, включались в лексическое обрамление, определявшее диапазон цветовых обозначений; полет светящихся пуль или снарядов мог представляться в виде *пунктира*, *огненных пчел*, *снопов*, *нитей*, *стаек*, *змеек*, *струй*, *траекторий*, *стрел*, *полос* и иного ряда зрительных впечатлений: «Над лесом тянутся огненные нити трассирующих пуль» (Правда, 1942, 11 янв.); «Трассирующие пули чертили черное пространство *синими*, *красными*, *оранжевыми траекториями*» (Правда, 1941, 22 окт.); «Трассирующий снаряд чертит в воздухе *оранжевую стрелу*, которая своим острием упирается в стальную броню вражеского танка» (Комсомольская правда, 1941, 15 июля). Деятельность боевой техники характеризовалось посредством слов, вызывающих представление о слуховых впечатлениях средств поражения, обозначаемых военными терминами (снаряды, мины, бомбы, автоматы, пулеметы): «Переливают *с шипением* тяжелые снаряды дальнобойной артиллерии» (Вечерняя Москва, 1943, 18 авг.); «...*шипящей* и *визжащей* волной накатился огонь фашистских минометов» (Комсомольская правда, 1941, 28 авг.).

Военные обозначения обретали необходимый статус доходчивости в построениях, содержащих различные виды образных сравнений (конструкции с союзами как, словно): «Огневой вал артиллерии пылает на правом берегу, и войска идут на него, как на свет новой зари» (Известия, 1943, 14 окт.); «Над штурмовиками, как стальные рыбы, со звонким напевом моторов мчались *истребители*» (Вечерняя Москва, 1943, 18 авг.); «Два наших ястребка *выпустили несколько пулеметных очередей*. Аэростаты вспыхнули, как факелы» (Правда, 1941, 7 окт.); «...словно на кинжал, напоролись огромные скопления вражеских войск на *танковую часть*» (Комсомольская правда, 1941, 10 авг.).

Боевая практика, эффективность средств поражения нередко передавались построениями с творительным сравнительным, прояснявшими содержательность военного обозначения: «Пылали кострами вражеские танки» (Вечерняя Москва, 1943, 18 авг.): «Штурмовики быстро приняли боевой порядок и грозным „веером" начали заходить в пике на цель» (Вечерняя Москва, 1943, 13 июля).

Составные обозначения военных реалий в обиходно-деловом общении военнослужащих заменялись сложносокращенными образованиями, получившими широкое распространение как в разговорной, так и в письменной речи периода Великой Отечественной войны. Это были инициальные сокращения (*истап* — истребительный противотанковый артиллерийский полк, *ППШ* — пистолет-пулемет конструкции Г. С. Шпагина, *ПТР* — противотанковое ружье, *СУ* — самоходная установка, самоходная пушка, *ДОТ* — долговременная огневая точка, *ДЗОТ* — дерево-земляная огневая точка), аббревиатуры из начальных частей сокращаемых слов (*автобат* — автомобильный батальон, *пульбат* — пулеметный батальон, *медсанбат* — медико-санитарный батальон), наименования, образованные

из начальной части и полного слова, ср.: *артподготовка*, *артобстрел*, *минрота*, *пульрота*, *санрота*, *санинструктор*.

За пределами общения специалистов и военнослужащих оказываются номенклатурные знаки, обозначавшие марки и типы боевых машин, образцы оружия; при этом числовой показатель номенклатурного знака отбрасывался, и все обозначение функционировало в виде односложного слова: ЯК (истребитель конструкции А. С. Яковлева: ЯК-3, ЯК-5, ЯК-9, ЯК-15, ЯК-17), Ла (истребитель конструкции С. А. Лавочкина: Ла-5, Ла-15), МИГ (истребитель конструкции А. И. Микояна и М. И. Гуревича: МИГ-3), ЛАГГ (истребитель конструкции С. А. Лавочкина, В. П. Горбунова, М. И. Гудкова: ЛАГГ-3), ИЛ (штурмовик конструкции С. В. Ильюшина: ИЛ-2, ИЛ-4), Пе (бомбардировщик конструкции В. М. Петлякова: Пе-2). Условность таких обозначений подчеркивалась графически в контекстах письменной речи: «Боевые самолеты, истребители, „Яки", „Лаги", „Миги" стали грозой для фашистских летчиков. Штурмовики „Ил" беспощадно уничтожают живую силу и технику врага» (Известия, 1942, 10 мая). Впрочем, некоторые номенклатурные знаки и в общеупотребительной речи сохраняли свой облик и не подвергались дальнейшим преобразованиям: Т-34 (средний танк), У-2 (учебный самолет). Ср.: «Из кустарника вышли наши „Т-34"» (Вечерняя Москва, 1943, 12 июля); «... прижимаясь к лесу, лавировал хорошо знакомый людям фронта и тыла, ставший поистине народным самолет „У-2"» (Известия, 1943, 15 апр.).

Все более возрастала роль составных наименований, обозначавших понятия военного дела. Использовались коммуникативные, изобразительно-оценочные возможности этого слоя лексики. При посредстве словообразовательных средств возникали новые слова как просторечно-разговорные эквиваленты составных наименований.

В начале войны, когда перевес в танках и самолетах был на стороне противника, на вооружение наших войск поступает противотанковое оружие: однозарядное противотанковое ружье конструкции В. А. Дегтярева и однозарядное противотанковое ружье конструкции С. Г. Симонова. Наряду с официальным, терминологическим наименованием стрелкового бронебойного оружия (*противотанковое ружье*) в обиходном общении фронтовиков начинает употребляться параллельное обозначение *бронебойное ружье*, обладающее большей мотивированностью в плане характеристики боевых свойств этого оружия (поражение наносилось бронебойно-зажигательными пулями): «Подразделения ощетинились *бронебойными ружьями*» (Известия, 1943, 19 марта).

На базе словосочетания *бронебойное ружье* возникает суффиксальное образование *бронебойка*: «Советская *бронебойка* в руках отважного стрелка безотказно уничтожает фашистские машины» (Правда, 1942, 4 авг.). От обиходно-разговорного выражения *дегтяревское ружье* (по фамилии его конструктора) произведено параллельное наименование *дегтяревка*: «Пришли пять бронебойщиков со своими длинными „дегтяревками"» (К. Симонов, Дни и ночи). Вместе с тем появляются и обозначения военнослужащего, на вооружении которого было противотанковое ружье; вначале его называли *противотанкистом*, а затем *бронебойщиком*, *петезровцем* (от сокращения ПеТеэР): «Боец-*противотанкист*! Прекрасное советское противотанковое ружье тебе доверила Родина» (Комсомольская правда, 1942, 16 мая); «Самоходчики вступили в огневой поединок с танками фашистов, они подбили восемь танков, не ушли и остальные, их подбили *бронебойщики*» (Известия, 1945, 25 марта). Уместно привести слова фронтовой песенки, отражающей активность названных обиходно-разговорных обозначений:

«Я *петезровцем* родился,
В расчете огненном возрос.
Я *бронебойкою* крестился,
И схватку с танком перенес».

Цепочка параллельных обозначений, возникшая на базе официального наименования в сфере обиходно-делового общения, способствовала ста-

новлению разговорно-просторечного эквивалента наименования лица по отношению к стрелковому (противотанковому) оружию. Слово *бронебойщик* постепенно завоевывает ведущее положение, оттесняя дублетные, но официальные наименования лица: *противотанкист*, *стрелок из противотанкового ружья*, *стрелок подразделения противотанковых ружей*, например: «*Бронебойщик* — новое слово, ему отроду всего несколько недель... Слово только рождалось, а лаконичный телеграф продолжал длинно называть сокрушителей танков *стрелками противотанковых ружей*. Но и само ружье было новинкой» (Вечерняя Москва, 1942, 14 июня). Соотнесенность термина «бронебойщик» с рядом других названий воинских специальностей (*стрелок*, *минометчик*, *пулеметчик*; расчет *бронебойщиков*, расчет *пулеметчиков*; отделение *бронебойщиков*, отделение *пулеметчиков*, отделение *стрелков*; взвод *бронебойщиков*, взвод *пулеметчиков*, взвод *стрелков*, взвод *минометчиков* и т. п.) способствовала закреплению его в сфере военной лексики в качестве основного обозначения стрелка из противотанкового ружья [3, с. 56]. Словосочетание *противотанковое ружье* сохранило свою терминологическую обособленность и квалифицируется лексикографами как военное [4, III, с. 719], а его эквивалент *бронебойка* фиксируется как разговорное [4, I, с. 140]; выражение *бронебойное ружье* рассматривается как сопутствующее наименование, находящееся на периферии военной терминологии и в приближении к общелитературной речи [4, I, с. 140].

В разговорной речи того времени распространились слова, возникшие на базе словосочетаний: они обладают краткостью, цельнооформленностью, способностью актуализировать значение носителя признака, мотивируемое именем прилагательным как определяющим компонентом составного наименования: *ночник* — ночной бомбардировщик, *ручник* — ручной пулемет, *станкач* — станковый пулемет, *зажигалка* — зажигательная авиабомба, *фугаска* — фугасная авиабомба, *термитка* — термитная авиабомба, *магнитка* — магнитная мина, *секретка* — как бы секретная мина (секретно поставленная мина), *самоходка* — самоходное орудие, *трофейка* — трофейное оружие, трофейная автомашина, *снайперка* — снайперская винтовка и др.

Освоение терминологической лексики, средств профессионально ориентированного употребления сопровождалось появлением сопутствующих обозначений. Это были и слова, и раздельнооформленные номинации. Некоторые наименования в годы войны обрастали своеобразными оценочными заместителями, подчеркивающими исключительную роль обозначаемого. Так, слово *партизан* нередко оказывалось выразительно недостаточным на фоне огромного вклада партизанского движения. Недостававшая в таких случаях информативность и неполнота оценочности вначале восполняются путем развертывания текста в направлении лексической избыточности, что помогало создавать представление о нелегкой и героической жизни защитников родной земли в тылу врага: «Партизаны беспощадно истребляют живую силу врага» (Комсомольская правда, 1941, 18 сент.); ««Замечательными делами встречают партизаны великий праздник» (Вечерняя Москва, 1941, 7 ноября). Экстенсивные формы реализации содержательности, соотносительной со словом *партизан*, постепенно уступают место оценочным словосочетаниям как экспрессивным эквивалентам этого слова. В языке партизан раскрывается своеобразие их быта и патриотической деятельности: *лесные люди*, *лесные жители*, *лесные воины*, *лесные мстители*, *народные мстители* [5]. Последнее выражение получает значительное распространение как риторическая форма содержательности, соотносимой со словом *партизан*: «Подлинные образцы мужества и бесстрашия показали в этом бою *народные мстители*» (Правда, 1942, 31 янв.); «Слава *народным мстителям* — партизанам» (Известия, 1942, 9 апр.); «Сегодня город Ленина встретил вторую группу *народных мстителей*. 15 месяцев эти отважные люди дрались с захватчиками» (Комсомольская правда, 1944, 7 марта).

Лексема *снайпер* начинает обрастать оценочными определениями; градационный признак, реализуемый прилагательными, повышает комму-

никативную значимость словосочетаний, формируемых на базе слова *стрелок* и употребляемых в роли выразительно-оценочного эквивалента наименования *снайпер*: «*Меткие стрелки* отправились на охоту» (Известия, 1942, 7 янв.); «Состоялся слет *сверхметких стрелков*» (Комсомольская правда, 1942, 1 июля). Значительной активностью обладали экспрессивные эквиваленты, возникавшие на базе слов *мастер*, *виртуоз*: «Сбор *мастеров меткого выстрела*» (Вечерняя Москва, 1943, 2 июля); «*Мастер меткого огня*» (Комсомольская правда, 1942, 7 авг.); «*Виртуозы меткого выстрела*» (Правда, 1942, 23 апр.).

Экспрессивность описательного наименования могла опираться на выразительный потенциал переносно-фигуральной семантики прилагательного, а также на изобразительный ореол определяемого слова. Летчики истребительной авиации назывались *крылатыми мстителями*, *крылатыми часовыми*, *крылатыми богатырями*, *крылатыми моряками* (летчики морской авиации), *крылатыми черноморцами*, *крылатыми балтийцами*, *крылатыми гвардейцами* (летчики гвардейских формирований), *крылатыми героями*, *крылатыми воинами*.

Описательные наименования возникали на базе выразительных возможностей опорного слова, обладающего высокой экспрессией и прозрачностью внутренней формы (*боец*, *истребитель*, *король*, *рыцарь* и др.): *воздушный боец* — летчик боевого самолета, *истребитель воздушных пиратов* — зенитчик, *рыцарь огня* — автоматчик, *властелин огня* — снайпер. Слово *снайпер*, в свою очередь, выступало в качестве базы целого ряда описательно-характеристических обозначений: *снайпер воздуха* — зенитчик, *снайпер эфира* — радист, *снайпер артиллерийского огня* — артиллерист, *снайпер минометного огня* — минометчик, *снайпер голубых лучей* — прожекторист, боец подразделений службы ПВО.

Некоторые единицы военной лексики втягиваются в сферу описательно-оценочных обозначений, чему содействует характер их денотативно-предметной содержательности (*артиллерия*, *броненосец*, *дредноут*, *линкор*, *крейсер*, *крепость*, *кавалерия*, *бомба*, *снаряд*); все они указывают на то, что вызывает представление о самых мощных средствах поражения.

Наименования грозной военной техники, мощных средств поражения выступали в качестве экспрессивной базы описательных обозначений. Так, боевые свойства танка (огневая мощь, маневренность, высокая проходимость, броневая защита, способность к преодолению больших расстояний) служили основанием для всевозможных уподоблений; его роль приравнивалась к роли боевых кораблей и даже к роли крепости, поэтому стало возможным употребление целого ряда описательно-оценочных словосочетаний; *сухопутный броненосец*, *сухопутный линкор*, *сухопутный дредноут*, *сухопутный крейсер*, *сухопутная крепость*, *стальной дредноут*, *стальная крепость*, *бронированная крепость*, *бронированная подвижная крепость* и даже просто *подвижная крепость*: Ср.: «Поле битвы огласилось знакомым грозным ревом наших сухопутных линкоров — на врага устремились советские танки» (Комсомольская правда, 1943, 8 июля); «Два часа продолжался бой бронированных крепостей, на поле боя остались груды металла от фашистских танков» (Известия, 1942, 24 ноября); «Стальная крепость врезалась в самую гущу вражеской пехоты» (Правда, 1941, 24 окт.); Тяжелые бомбардировщики назывались *воздушными броненосцами*, *воздушными линкорами*: «Бакинец, черпающий из недр земли драгоценное топливо для *воздушного броненосца*» (Известия, 1942, 24 апр.).

В сферу перифрастической номинации вовлекался широкий круг реалий: *карманная артиллерия* — гранаты, *огненные бомбы* — бутылки с зажигательной смесью, *огненные снаряды* — бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

Наименования явлений природы (*ветер*, *дождь*, *лавина*, *смерч*, *ураган*, *шквал* и др.) расширяли диапазон фразовой сцепляемости; выразительностью отличались словосочетания, включавшие слова, обладавшие нюансами экспрессивного плана: *ураган железа и стали* — огонь из всех видов стрелкового и артиллерийского оружия, *огневой ливень* — сильный артобстрел, *свинцовый дождь* — огонь стрелкового оружия, *металличе-*

ский дождь — пулеметно-пушечный огонь, *ураганный дождь* — интенсивный артобстрел, *артиллерийский шквал* — массированный огонь артиллерийских орудий, *железный ветер* — полет артиллерийских снарядов, *артиллерийский ураган* — артиллерийская канонада, *огневой смерч* — пулеметно-огнеметный огонь. Описательные обозначения, имевшие широкое распространение в годы войны, не утратили своей активности в послевоенное время: «*Огневой ливень* пробивает проходы в укреплениях» (Труд, 1944, 18 июня), «...раннее утро огласилось мощным *артиллерийским шквалом*» (Правда, 1944, 10 марта); «Стих артиллерийский ураган» (Известия, 1943, 23 окт.); «Появляется на автомашинах „*крылатая пехота*" — наши смелые десантники» (Правда, 1956, 4 мая).

Значительная группа слов и выражений военно-деловой речи получила широкий доступ в контексты общелитературной речи в качестве средства усиления социальной значимости высказывания. Неразрывная связь боевой, фронтовой и трудовой жизни советского народа предопределяла распространение военных слов в речевых ситуациях, в публицистических и художественных текстах, в которых общественно-политическая и производственная деятельность тружеников тыла приравнивалась к боевым делам фронтовиков. Перенос названий реалий военного дела на явления мирной, невоенной жизни имел место еще в 20—30-е годы [6], но в годы Великой Отечественной войны он стал более интенсивным и всеобъемлющим: в него втягиваются новые лексические средства, расширяется сфера применения того, что уже было в предвоенные годы. Слово *фронт*, реализуя наметившееся уже в предвоенные годы переносное употребление (подчеркивавшее размах какой-либо деятельности, непосредственно не связанной с военными действиями), используется для выделения того, что оказывает наибольшую помощь фронту, что является полем мирной битвы, что приближает желанный день Победы: «Уборка урожая — это тоже фронт (Комсомольская правда, 1942, 3 июля). Активизируется употребление словосочетаний: *топливный фронт*, *посевной фронт*, *уборочный фронт*, *фронт уборки*, фронт заготовки продуктов, *фронт борьбы за высокий урожай* и др. Экспрессивность словосочетаний усиливается словами, манифестирующими образ борца как собрата фронтовика, соратника великой битвы с фашизмом (*герой*, *боец*, *армия бойцов*): «Среди *героев трудового фронта*» (Комсомольская правда, 1941, 27 ноября), «...пример передовых *бойцов трудового фронта*» (Правда, 1942, 13 янв.); «Пополним армию *бойцов трудового фронта*» (Комсомольская правда, 1942, 2 июля).

Распространяются словосочетания со словами *фронтовик*, *по-фронтовому*: *фронтовик тыла*, *фронтовик посевных работ*, *фронтовик уборочной кампании*, *фронтовое задание*, *фронтовое обязательство*, *фронтовая встреча* (общественно-политическое мероприятие, производственное движение), *фронтовая вахта*, *фронтовой месячник*, *фронтовая декада*, *фронтовая дисциплина*, *фронтовое зерно*, *фронтовое спасибо*; при этом слово *фронтовой* подчеркивает важность обозначаемого указанием на то, что оно предназначено для нужд фронта, для действующей армии: «Весне *фронтовую встречу* — создать агротехнические кружки, подготовить семенной материал» (Комсомольская правда, 1943, 30 дек.); «*Фронтовое спасибо* труженикам тыла» (Труд, 1944, 18 июня); «Колхозники района приняли на себя *фронтовые обязательства* — выполнить на уборочных работах по полторы — две нормы в день» (Известия, 1942, 18 июля). Почетные звания, которые присваивались лучшим трудовым коллективам, возникали с помощью прилагательного *фронтовой* (*фронтовая бригада*, *фронтовое звено*, *фронтовой участок*): «Разработано в наркоматах положение о комсомольско-молодежных бригадах и о введении постоянных удостоверений для членов „фронтовых бригад"» (Правда, 1943, 19 июля). Словосочетание могло распространяться уточняющим определением, квалифицирующим социально-производственный состав коллектива: «*Фронтовая бригада молодежи* ⟨...⟩ *комсомольско-молодежная фронтовая бригада*» (Вечерняя Москва, 1942, 27 мая).

Словосочетания со словом *гвардеец* обладают положительно-оценочной отмеченностью, квалифицируя обозначаемое как воплощение трудовой

доблести: «Вот они, *гвардейцы в труде*! По двое-трое суток не покидают братья участка, досрочно выполняя заказы для фронта» (Комсомольская правда, 1942, 2 февр.).

Различные способы предикативно-характеризующей ориентации военного слова в контекстах, раскрывающих содержание патриотической деятельности тружеников тыла, повышали побудительный настрой высказывания и вместе с тем расширяли сферу применения профессиональной лексики: «Задание предприятию, колхозу, цеху, бригаде — *боевой приказ* Родины» (Известия, 1942, 7 окт.); «Урал — индустриальная *крепость* нашей Родины» (Правда, 1942, 20 июля); «Станок — твое *оружие*, береги его!» (Комсомольская правда, 1942, 4 марта).

Контексты и речевые ситуации, ориентированные на изобразительно-оценочные возможности ряда слов, способствовали реализации образных представлений [7, с. 70]. Сравнительные построения, опиравшиеся на экспрессивный потенциал таких слов, как *командир*, *гвардеец*, *фронт*, *бой*, *передовая линия*, *танк*, *бомба*, *мина*, *граната*, *пуля* и др., придавали высказыванию побудительно-оценочную тональность: «Завод нес потери, *как фронт*, и дрался, *как фронт*. Через сутки люди, стоявшие у станков, бросили на рубежи обороны 200 пушек» (Известия, 1942, 25 окт.); «...веди трактор, *как танк в бою*» (Комсомольская правда, 1943, 19 мая); «Бригада сварщиков вела себя, *как гвардейцы в бою с фашистами*. Да, это настоящие гвардейцы трудового фронта, доблестные воины производства» (Известия, 1942, 11 янв.). Сопоставительные построения воссоздавали яркие картины трудовой жизни, подчеркивали величие подвига тыла; они фиксировали впечатления, возникавшие под воздействием фронтовой жизни: «*Как раненый*, стонет метель» (Известия, 1943, 14 марта); «Пыль висела над дорогой, *как дымовая завеса*» (Известия, 1942, 6 окт.).

Возникали словосочетания на базе военных слов, предопределяющих номинативно-оценочную значимость социально стимулируемых наименований (*урожай победы*, *фонд победы*, *фонд обороны*, *гектары обороны*): «Осваивают новые земли... эти посевы комсомольцы назвали *гектарами обороны* и решили будущий урожай с них сдать в фонд обороны» (Комсомольская правда, 1941, 26 дек.). В годы войны возникают устойчивые словосочетания, в которых находит выражение коллективный опыт защитников Родины; они передавались из уст в уста, проникали на страницы фронтовых газет, получали доступ на полосы центральных газет и журналов, выступали в качестве образно-характеристического средства языковой ткани художественных произведений. Новое выражение достигало эффекта меткостью содержания, способностью к обобщению и назидательно-оценочной интерпретации жизненного явления. Поэтому оно обретало крылья, быстро подхватывалось и становилось фактом повседневного общения.

Поскольку крылатые речения охватывали явления фронтовой и партизанской жизни, они широко включали слова и выражения, обозначавшие реалии военного дела: «Шел фашист на пирушку, а попал на мушку» [8].

Фразовая устойчивость словосочетаний поддерживалась смысловой ориентацией сцепляемых слов (сфера понятий военного дела); при этом каждая фраза была рассчитана на воспроизводимость, она отличалась скороговорочной внушительностью, образностью, эмоционально-оценочной содержательностью.

Целостность отрезка речи скреплялась расстановкой слов, придававших выражению ритмичность и рифмовую огласовку; при этом рифмическая соотносительность частей устойчивой фразы нередко создавалась переносно-фигуральным сближением сцепляемых слов (*граната* — это гранатный огурец, *пуля* — свинец): Для фашистов *гранатный огурец* да в стволе *свинец*; Узнает фашистский подлец, чем пахнет *огурец*. Рифмовое созвучие достигалось ориентацией словесного ряда на выразительные возможности личного имени: Дед *Роман* — старый *партизан*; Дедушка *Пров* к фашистам *суров*; Отличился дед *Емеля* в партизанском *деле*; Наша *Света* партизанит *где-то*; Пойдем в партизаны, *Нина*: сейчас такая *годи-*

на. Географические названия создавали эффект рифмизации и при этом придавали экспрессивную внушительность характером реминисцентной ассоциативности с местом боевой схватки, стойкого сопротивления, ожесточенного сражения: Трещит фашистская *оборона*, гоним врага от тихого *Дона*; Штурмовали *роты Бранденбургские ворота*; Фашисты у *Хомутовки* побросали *винтовки*; Укрепляй *рубеж*, защищай *Фатеж*; Дни и *ночи* гремят бои у *Корочи*; Фашистскому *танку* не пройти в *Горожанку*; Фашистов под *Ельцом* встретили *свинцом*.

Преобразование отрезка речи в устойчивое выражение сопровождалось подбором слов, способных обеспечить стыковочную рифмовку; в этом случае применялось лексическое распространение, придававшее реализуемому содержанию оценочность и характеристичность: Служит у нас *партизанка — смелая санитарка*; Смело отражай *атаку*, *бей фашистскую собаку*; Захватили партизаны *склад — настоящий клад*.

Целостность словесного ряда скреплялась организацией комментирующей части высказывания, сопоставляемой с понятийной содержательностью военного слова как смыслового стержня устойчивой фразы: *Штык* не лошадь — есть не просит, но далеко вперед выносит; *Пуля*, что пчела: побежишь — ужалит.

Воспроизводимые сцепления слов нередко воспринимались как лозунговые клише, они приковывали внимание слушателя — читателя к фактам, имевшим решающее значение в жизни фронта и тыла. Распространены построения в виде побудительных предложений со сказуемым в форме 2-го л. повелительного наклонения: *Бей* фашистов не в бровь, а в глаз — таков народа наказ; *Бери* дубье, *бей* фашистское зверье; За муки детей — фашиста *убей*. Сказуемое таких фраз могло быть выражено формой повелительного наклонения, соотносимой с 1-м л. мн. числа изъявительного наклонения: Фашистскую нечисть *испепелим*, нашу землю *отстоим*.

Меткие изречения были иного плана; они как бы объективировали безусловную истину, представляли характеризуемое как то, что истинно, как то, что отливается в суждения, реализующие предметно-логическую определенность. В построениях такого типа подчеркивалась неотвратимость того, что выражено подлежащим: *Маневр* — душа победы; Что боец фронтовой, что боец трудовой — *все на линии передовой*. В них содержалось указание на постоянство, неизменность того, что представляет суть безусловной оценки характеризуемого: *Знает свет*: *тверже русских нет*; *Лося бьют осенью*, *а фашиста — всегда*.

Фразеологический фонд русского языка пополнялся выражениями, которые фиксировали явления житейской мудрости и содержали определенную дозу дидактичности. Устойчивые фразы такого рода воспринимались как пословицы; в них выражалось суждение большой обобщающей силы: *Фашист*, *что комар*: *где сядет*, *там и кровь пьет*. Другие речения не имели такого обобщающего суждения, в них содержался намек на тот или иной случай житейской практики, на те или иные особенности, свойственные людям, птицам, животным, природным явлениям; они воспринимались как поговорки, придающие речи выразительность: *Винтовка без ухода*, *что конь без овса*.

Пословицы и поговорки не всегда поддаются четкому разграничению, поэтому значительный слой обобщенно-назидательных, образно-иносказательных речений, возникших в годы Великой Отечественной войны, целесообразно рассматривать как социально стимулируемое явление и относить к разряду пословично-поговорочных выражений как разновидности устойчивых фраз, фразеологических выражений.

Выделяются пословично-поговорочные выражения с образно-характеристическим стержнем, выраженным несвободным сочетанием слов: В бой ходили — у фашистов *пыл остудили*; Съели бы фашисты русского мужика, да *кишка тонка*. Колоритны пословично-поговорочные речения, мотивируемые экспрессивной значимостью образных сравнений: Фашист без танка, *что волк без зубов*; Партизаны налетают — фашисты *как свечи тают*.

Условия эпохи видоизменили направление коммуникативной ориен-

тации целого ряда пословично-поговорочных выражений, с давних пор вошедших в сокровищницу народной мудрости. Традиционные пословицы и поговорки подвергались смысловой и структурной модификации и, таким образом, подключались к духу времени, к реализации того содержания, которое возникало в условиях ожесточенной борьбы с фашизмом. При этом традиционное выражение как бы приобретало иную редакцию, менявшую социально-оценочную ориентацию оборота народной мудрости. Семантически емкое слово, обладавшее обобщенно-назидательной характеристичностью, заменялось другим, относящим все выражение к непосредственным событиям, которые определили содержание и характер жизни общества в условиях, когда каждый жил интересами фронта, каждый делал все возможное во имя грядущей победы: Не все *фашистам* масленица: придет и великий пост (вместо слова *коту*); Там хорошо, где *фашистов* нет; На ловца и *фашист* бежит.

Целостность структуры традиционного выражения разрушалась словами, которые подключались к лексическому балансу стереотипа народной мудрости и тем самым изменяли социально-оценочный смысл образного средства народной речи: Видит *фашистское* око, да зуб неймет; При *фашистах* припас: вода да квас; *Фашисту* конец — делу венец. Вносилось не только новое слово, но в ряде случаев заменялось и экспрессивно значимое слово: На *фашисте*-воре *каска* горит (традиционное: На воре шапка горит).

Структура традиционных пословиц и поговорок распространялась лексическим комментарием, объединявшим привычные, обобщенно-характеристические и оценочно-комментирующие отрезки текста в симметричные звенья ритмико-синтаксического и содержательно-выразительного единства: Видно птицу по полету, а *фашиста по грабежам*; Руби дерево по себе, а *фашиста всякого*; Могила исправляет горбатого, *да еще фашиста проклятого*.

Коммуникативные запросы общества обусловили активизацию некоторых групп устаревшей лексики. В речевой обиход возвращаются слова, способные служить средством выражения преемственности воинских традиций русской армии. Именно поэтому некоторые слова, относимые в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова к разряду устаревших, становятся фактом живой речи. Слово *солдат*, ставшее фактом пассивного словаря в связи с ликвидацией царской армии, в годы Великой Отечественной войны начинает выступать в качестве параллельного наименования защитника Родины, синонимизируясь с рядом лексем — *боец*, *красноармеец*, *воин*. Оно расширяет сферу своего применения, приобретая оттенок качественного значения: «Капитан Величко, раздавивший корпусом своей машины танк вместе с экипажем, с этого времени и стал настоящим *солдатом*» (Правда, 1943, 2 июля). С течением времени это слово закрепляется как наименование рядового военнослужащего Красной Армии: «Таких *солдат* у него была треть батальона ... У одного из вагонов, охраняя еще не погруженное на повозки имущество, стоял немолодой красноармеец» (К. Симонов, Дни и ночи).

В 1946 г. было установлено новое наименование Вооруженных сил Советской страны — *Советская Армия* вместо прежнего *Красная Армия*, ставшего фактом военной истории, и слово *солдат* упрочивается как официальное обозначение военнослужащего рядового состава: «Пишу „солдаты", „офицеры" и спохватываюсь: ведь тогда их не так называли, говорили „красноармейцы", „командиры". Но пусть читатель простит старого *солдата*. Считал и считаю: не так много на земле столь гордых слов, как „*советский солдат*", „*советский офицер*". Почему же не воспользоваться ими, когда речь идет о героях Великой Отечественной войны» (П. И. Батов, В походах и боях). Слово *солдат* так же, как и слово *офицер*, стало военным термином, обычным фактом общелитературной речи и утратило неодобрительно-оценочные осмысления, развившиеся в нем в дореволюционное время.

Возвращение устаревших слов в активный фонд русской лексики сопровождалось их смысловым, экспрессивно-оценочным возрождением; они

обретали иной характер военно-терминологической содержательности, стилистической квалификации, а также усиливали выразительный потенциал речи. Слова *офицер*, *кавалер*, *погоны*, *гвардия*, *гвардеец* и их производные, а также словосочетания, возникшие на базе некоторых обозначений реалий военного дела, обогатили и пополнили положительно-оценочный пласт русской лексики, изобразительный фонд русского словаря. Возникли оценочные сочетания для выражения положительной экспрессии: *удаль гвардейская*, *слава гвардейская*, *стойкость гвардейская*, *поступь гвардейская*. Получили распространение перифрастические выражения: *целинная гвардия*, *гвардейцы целины*, *гвардейцы жатвы*, *гвардейцы механизации*, *гвардейцы пятилетки*, *серебряная гвардия* (умудренные жизненным опытом мастера своего дела), *рабочая гвардия*—кадровые рабочие и др.

В роли квалифицирующего и оценивающего средства стали использовать и иноязычные лексемы (из западноевропейских, тюркских языков: *ас*, *фриц*, *полицай*, *блицкриг*, *сабантуй* и др.). При посредстве немецкого языка получает распространение французское слово *as*, обозначавшее в жаргоне французских летчиков пилота высшего класса. В начале второй мировой войны немецко-фашистская пропаганда создает миф о непобедимости своих летчиков-истребителей как мастеров воздушного боя. Отличившемуся летчику вручался значок аса, он награждался железным крестом, а на фюзеляже его самолета намалевывался пиковый туз (французское *as* — туз, старшая игральная карта). Пропагандистский аппарат немецко-фашистской армии использовал экспрессивный потенциал французского слова, овеянного блеском спортивной и военной славы, хотя задолго до второй мировой войны мастера воздушного боя назывались по-немецки *Daus*. Психологическая значимость престижного французского слова использовалась фашистами весьма широко, даже авиационные подразделения удостаивались такого наименования: «В район Сталинграда были переброшены *асы* из группы противовоздушной обороны Берлина —нашумевшая эскадрилья „*Трефовый туз*“» [9]. Первоначально слово *ас* используется как наименование фашистских пилотов: «*Ассы* ⟨...⟩эти отпетые разбойники воздуха бомбили много стран» (Комсомольская правда, 1941, 18 июля). Затем оно начинает применяться как престижное обозначение советских летчиков-истребителей, проявивших мастерство в ходе воздушного боя: «Это была четвертая победа русского *асса* гвардии капитана Савушкина за один день» (Известия, 1942, 10 окт.). Слово *ас* становится популярным и выступает в качестве почетного наименования мастера воздушного боя: «*Ассы* — это авангард советских истребителей. Звание советского асса — почетно, о нем должны мечтать, его должен добиваться каждый летчик-истребитель» (Красная звезда, 1943, 1 июля). Слово *ас* укрепилось в русском языке, оно сохранило французское произношение [âss], определившее графический облик этого слова в годы войны, и поныне продолжает выступать в качестве риторического средства, обозначая большого мастера своего дела [3, с. 31].

Социальные условия стимулировали активизацию тех изменений, которые имели место в словарном составе русского языка, но они не оказывали непосредственного воздействия на характер лексических процессов, определявшихся тенденциями, имевшими место и в предшествующие, довоенные годы [7, с. 52]. Активизация военных обозначений вызвала распространение составных наименований и появление сопутствующих, словных наименований как разговорно-просторечных эквивалентов военных терминов; происходило продвижение специальной, профессиональной лексики в сферу общего употребления (письменная и разговорная речь); практиковалось создание новых слов по действующим в языке словообразовательным моделям; происходило перемещение лексических единиц на периферию литературного языка, появление у ряда слов новых значений вследствие семантических преобразований (семантическое стяжение, специализация значения).

Стала более активной и тенденция к экспрессивности слова, возникали наименования вследствие переносно-фигурального осмысления слов и сло-

восочетаний, втягиваемых в сферу взаимодействия по линии официальных, военно-терминологических и обиходно-бытовых обозначений; стало экспрессивно ориентированным и стилистически мотивированным употребление ряда устаревших слов, иноязычной лексики, различных групп книжной и разговорной лексики, изобразительного репертуара фразеологических средств русского языка.

Социальные условия жизни носителей русского языка обусловили активность лексических изменений, но эти изменения определялись закономерностями, свойственными русскому языку как системе средств общения.

ЛИТЕРАТУРА

1. История КПСС. Т. V. Кн. 1. М., 1970, с. 155.
2. *Муромский В. И.* Словарь военных терминов. Пгр., 1914, с. 19 и 63.
3. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1981.
4. Словарь русского языка. М.— Л., 1957—1961.
5. *Миртов А. В.* Материалы к изучению лексико-фразеологических элементов языка партизан эпохи Великой Отечественной войны.— Уч. зап. Горьковского ун-та, 1957, вып. 43, с. 157.
6. *Боровой Л.* Новые слова.— Красная новь, 1938, № 2; 1939, № 4; 1940, № 1, 9—10.
7. Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка. М., 1968.
8. Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны. М., 1962.
9. *Яковлев А. С.* Цель жизни. М., 1969, с. 329.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

ШИМЧУК Э. Г.

О ПРОЦЕССАХ АРХАИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XI—XVII ВВ.

Тема, обозначенная в названии статьи, тесно связана с вопросом о соотношении книжной и народно-разговорной лексики в словаре русского литературного языка XI—XVII вв. Не касаясь дискуссионных вопросов истории русского литературного языка этого времени (обсуждение их может стать темой специальной работы), мы исходим в дальнейшем из достаточно традиционного представления о том, что русский письменно-литературный язык возник в течение короткого исторического периода (X—XI вв.) как результат взаимодействия двух систем — церковнославянской и древнерусской (древневосточнославянской) — и существовал в виде нескольких разновидностей, воплощенных в разнообразных жанрах древнерусской и старорусской письменности.

Развитие письменно-литературного языка XI—XVII вв. связано с двумя основными хронологическими периодами: древнерусским (XI—XIV вв.) и старорусским (конец XIV—XVII вв.). Рубеж между ними знаменует так называемое второе южнославянское влияние. В рамках древнерусского этапа выделяется киевский (XI—XIII вв.): хотя практически задача установления лексического фонда, характерного для литературного языка Киевской Руси, по-видимому, неразрешима, принципиально важно определить совокупность лексических элементов, которые можно рассматривать в качестве отличительных примет наиболее ранней восточнославянской письменно-литературной традиции. О специфике раннего церковнославянско-русского лексического взаимодействия следует судить по тому, что церковно-книжная традиция на Руси оказывается изначально связанной не только с воспроизведением появившихся в культурном фонде текстов, но и с созданием новых: иначе говоря, традиция, т. е. соответствие древнему образцу, не исключает, а предполагает новаторство, активный подход к книжному языку (достаточно указать, что в священных канонических книгах многочисленны лексические замены [1], что русские писцы свободно обращаются с составом богослужебных книг, что необходимость не только слушать, но и понимать богословские книги уже в XI—XIII вв. приводит к созданию русских толкований канонических книг [2]). Практически параллельно с церковной на Руси создается и развивается письменная светская литература, которая вбирает в себя, помимо элементов церковно-книжной, устную народно-поэтическую и юридическую традиции. В лексике светских жанров в значительно большей мере (во всяком случае, до конца XIV в.) представлен слой, отражающий восточнославянскую языковую традицию. Показательно, однако, что до XVII в. очень трудно разграничить историю лексики русских светских произведений (летописей, исторических сочинений, паломнической литературы) и историю канонической русско-церковнославянской лексики.

Общепризнано, что лексическое своеобразие русского письменно-литературного языка ранней поры предопределяется канонизацией ранних, преимущественно конфессиональных, текстов и обусловленными ею процессами консервации архаических явлений. Справедливо подчеркивалось, что парадоксальным образом активизация книжных инновационных процессов — со времени так называемого второго южнославянского влияния — также связана со стремлением сохранить языковую архаику.

Значительно меньшее внимание историки литературного языка обращали на связь явлений и процессов, обнаруживающихся в ранней истории лексики русского письменно-литературного языка, с явлениями и про-

цессами, характеризующими сферу народно-разговорного языка восточных славян. Между тем комплексный анализ древнейших русских книжно-письменных данных приводит к мысли о том, что раннее русско-церковнославянское взаимодействие (XI—XII вв.) на лексическом уровне — это процесс о с в о е н и я формирующейся системой русского письменно-литературного языка церковнославянских слов и значений слов: понять историю русской литературной лексики раннего этапа нельзя без учета особенностей «воспринимающей» стороны и способов освоения ею «воспринимаемого». Трудность анализа внутренней взаимосвязанности гетерогенных лексических элементов исторически складывающегося письменно-литературного языка обусловлена тем, что в о с п р и н и м а ю щ а я (изначально — только устная) русская традиция (в которой надо различать — что еще более осложняет задачу — традиции народно-поэтическую и юридическую), проникающаяся элементами «чужой» письменно-литературной традиции, изучена пока совершенно недостаточно.

В этом нет ничего удивительного: памятников, последовательно отражающих особенности древнерусского народно-разговорного языка, до XVI в. немного, так что изучение народно-разговорной лексики требует обращения к реконструкции (и хотя историю литературной лексики можно воссоздать — в основных чертах — непосредственно по текстам, определить, как соотносятся в ней элементы специфически книжные и народно-разговорные,— очень трудная задача).

Однако в последние десятилетия положение меняется: реконструкция некоторых фрагментов народно-разговорного языка древнейшего периода и более полное выявление совокупности стимулов, которые определили развитие русской литературной лексики начиная с эпохи древнейших памятников, обеспечиваются растущими успехами славянской и русской этимологической, исторической и современной лексикографии [3], которая — при использовании необходимой методики анализа — уже может дать достаточно представительный материал по истории не только чисто книжной, но вовлеченной в сферу литературного языка народно-разговорной лексики.

Ориентируя указанным образом поиски, можно показать, что в особенностях процессов архаизации некоторых слов и значений слов русского литературного языка XI—XVII вв. выявляется а к т и в н а я роль народно-разговорного языка тех регионов и центров (в первую очередь Киева и Москвы), с которыми связано существование письменно-литературного языка.

Активность воспринимающей стороны предопределялась тем, что одна (при этом значительная) часть церковнославянской лексики осознавалась как русская, в другой — выделялись достаточно многочисленные ряды слов, соотносившихся с русскими словами по регулярным правилам, что давало возможность при совпадении значений отождествлять их, при расхождении — присваивать церковнославянским формам свои, русские значения (семантическая индукция такого типа могла приводить к развитию многозначности определенных лексем книжно-письменного языка, о чем подробнее см. ниже).

Пересаженная на почву языка, генетически очень близкого тому, на основе которого она возникла, церковнославянская лексика естественно вступает в контекстный контакт с этим языком.

Характерно, что в древнейший период (XI—XIII вв.) русизм, для которого находилось соответствие в церковнославянском языке, мог достаточно свободно заменять в книжном тексте церковнославянское слово [1]. При отсутствии церковнославянского слова [2] ни переводчик, ни писец не

[1] Эту очень важную особенность механизма взаимодействия лексики церковнославянского и русского языков очень точно охарактеризовал еще Н. Н. Дурново, см. [4].

[2] Отсутствие в конкретном случае могло означать незнание переводчиком (писцом) слова, существовавшего в словаре церковнославянского языка: так объясняют наличие окказиональных, характерных только для определенных авторов или писцов русизмов в ранних канонических памятниках или списках памятников, см., например, [5].

могли образовать, например, славянизированные неполногласные формы от русских слов соответствующей структуры — они просто употребляли русские слова с полногласием [3]. Такие употребления и свидетельствуют о том, что книжники древнейшей поры исходили из своей лексической системы. Этому не противоречит отчетливое стремление следовать книжной архаической традиции. Так, превращение слов типа *время* в обычные, прочно усвоенные слова литературного языка (к XIII—XIV вв.) приводит к тому, что переписчики не чередуют их с русскими: конкуренция русского и церковнославянского соответствий завершается вытеснением русского члена, церковнославянские корреляты оказываются более соответствующими потребностям формирующегося литературного языка выразителями необходимого ему содержания (такова судьба русизмов типа *болого*, *веремя*, *полова*, *порождный*).

Впрочем, история многих других слов не согласуется с указанной тенденцией. Анализ более сложных случаев невозможен без учета особенностей словообразовательной и семантической соотносительности в пределах гнезд или рядов русских и церковнославянских слов [4].

Во-первых, может быть выделен разряд славянизированных русизмов (типа *оградъ* «огород» [7]), в структуре которых вычленяется церковнославянский коррелят русской частотной корневой или префиксальной морфемы с четко осознающейся семантикой: так как соответствующая морфема и в церковнославянском, как правило, характеризуется теми же признаками, следует считаться с соотнесенностью русского и церковнославянского элемента на словообразовательном уровне и возможностью образования на русской почве лексемы, стилизованной в духе влияющей традиции. Интересно, что в период так называемого второго южнославянского влияния возрастает число подобных книжных образований.

Засвидетельствованы также случаи, когда русское слово, не имеющее соответствия в старо- и церковнославянском языке, тем не менее преобразуется по усвоенной модели (что можно расценить как доказательство ее продуктивности). Так возникают гиперкорректные эфемерные *клаколъ* [известно по единичным употреблениям в Хронике Георгия Амартола (по спискам XIV—XV вв.), Повести о Царьграде (XVI—XV вв.) и Топографии Козмы Индикоплова (XVI в. ~XIV—XV вв.)] и даже *планити* „пленить, взять в плен", *планъ* „плен; добыча", *планение* „пленение; рабство", *планьникъ*, *планикъ* „пленник"; „тот, кто хочет пленить"; „захватчик", известные по немногочисленным (около 10 в общей сложности) употреблениям в текстах XIV—XVI вв. Подобные искусственные книжные образования, не получившие, по-видимому, устойчиво закрепленного за ними значения, не имеют длительной традиции употребления. В списках XVII в. они уже не встречаются; не засвидетельствованы они и церковнославянскими словарями, в отличие от слов типа *оградъ* «огород», которые представлены достаточно многочисленными употреблениями (последнее слово фиксируется не только церковнославянско-русскими словарями, но и В. И. Далем).

Еще более сложными оказываются отношения членов коррелятивных пар многозначных (в каждом из языков) слов (такие слова входят в фонд активной ядерной лексики контактирующих языков). Оба члена могут сохраняться в литературном языке, но при исходном несовпадении семантических объемов славянизм способен усвоить значения восточнославянского соответствия. Так, русск. ц.-слав. *глава*, часто встречающееся в летописных и других оригинальных древнерусских текстах в значении „голова", употребляется также в русских памятниках в значении „че-

---

[3] Характерные примеры — слова типа *удоробь* «худой горшок» в Изборнике 1073 г., *короставъ* «покрытый коростой, паршивый», *берестo*, ср. р., «береста» у блестящего писателя XIII в. Кирилла Туровского.

[4] О том, что изучение истории церковнославянизмов разных типов в русском литературном языке требует учета словообразовательной, лексикологической и семантической точек зрения, писал в 1927 г. В. В. Виноградов, см. [6].

ловек (как единица счета людей); пленный". Полагаем, что это значение оформилось в древнерусском литературном языке под влиянием русского коррелята [ср., с одной стороны, значения русск. *голова*: 1. голова; 2. „человек (как единица счета людей)"; „пленный"; „человек, душа (как единица обложения)"; 3. „убитый"[5], — и, с другой стороны, значения ст.-слав. *глава*: 1. голова; 2. „глава книги"].

Русский коррелят мог передать старославянскому соответствию также особенности своей сочетаемости: характерно, в частности, что в оригинальных древнерусских текстах нередко встречаются сочетания типа *главу покладати* (*покласти*, *полагати*, *положити*, *приложити*, *складывати*, *сложити*) „класть (сложить) голову, отдать (отдавать) жизнь". В старославянских текстах подобных сочетаний нет, между тем как древнерусские *голова положити* (*сложити*, *складывати*) „сложить (класть) голову" и ряд других (*головами свести*, *головою добыти*, *головою выдавати*, *голову блюсти*, *головы добѣжати*, *головы не щадити*) определенно связаны с русской устной поэтической традицией. Подчеркнем, что нет никаких оснований процесс усвоения старославянским коррелятом русских значений и русской сочетаемости датировать периодом после XIV в.: примеры, документирующие указанные особенности функционирования старославянизма на русской почве, представлены в русских текстах XII—XIV вв.

Подведем итоги. Вытеснение русизмов (типа *болого*, *веремя*, *половы*) за пределы русского литературного языка — в том случае, если старославянизмы оказывались более удачными обозначениями содержания, необходимого языку на новом этапе, славянизация морфем русских слов (типа *оградъ*), обогащение семантики и развитие сочетаемости старославянизмов под влиянием семантики и сочетаемости русских соответствий — в том случае, если русизмы становились активными и достаточно устойчивыми элементами новой складывающейся литературной системы (в парах типа *глава* — *голова*), являются древнейшими (до XIV в.) процессами архаизации лексики русского литературного языка в духе древней церковнославянской традиции. Объяснить особенности протекания этих процессов, как видно, можно лишь в том случае, если учитывается формирующее действие собственной воспринимающей лексической системы.

Процессы дифференциации значений старославянско-русских коррелятов в древнерусский период намечаются, но протекают вяло. Так, по нашим наблюдениям, к XIV в. отчетливо противопоставляются по некоторым значениям члены пар *власть* — *волость*, *глава* — *голова*. Активизируются процессы дифференциации значений после второго южнославянского влияния, но рассмотрение их — специальная тема, заслуживающая отдельной работы. Здесь же подчеркнем лишь, что в русском литературном языке XI—XVII вв. традиция употребления формально отмеченных архаизированных слов, имеющих цельнолексемное или словообразовательное соответствие в церковнославянском, весьма устойчива.

В языке древнерусской письменности выделяются, далее, книжные лексемы, которые не имеют регулярных формальных отличий от народно-разговорных соответствий. С генетической точки зрения такие слова разнородны: они могут быть возведены к праславянским словам общеславянского или диалектного распространения, могут быть заимствованиями, перешедшими в древнерусский литературный язык книжным путем.

Для многих слов указанного типа находятся многочисленные ряды тождественных или частично сближающихся с ними по значению в определенных контекстах слов: так, книжное слово ранних древнерусских текстов *брьние*[6] входит в такой ряд: *грязь*, *глина*, *гнусъ*, *гнои*, *навозъ*, *калъ*,

---

[5] Здесь и далее приводим только те значения многозначных слов, которые имеют непосредственное отношение к интересующим нас тенденциям развития семантической структуры слова.

[6] Это праславянское слово известно старославянскому языку, этимологизируется на почве южнославянских, а также современных белорусских и, возможно, украинских соответствий [8].

мотыло, *прахъ*, *пьрсть*. Тенденция к консервации канонической лексики (поддерживающаяся таким свойством письменного языка, как его о б р а т и м о с т ь) проявляется в том, что в письменном языке рассматриваемых эпох относительно мало абсолютных утрат. Характерно, в частности, что *брьние* и производные, в XI—XIII вв. встречающиеся преимущественно в р у с с к и х с п и с к а х конфессиональных памятников, с XIV в. становятся достаточно частотными в р у с с к и х памятниках — не только церковных, но и светских. Есть основания связывать активизацию употребления этих лексем с тенденциями периода второго южнославянского влияния, проявляющимися, как отмечалось не раз в последние годы, в интенсификации употребления элементов, характерных для киевской поры. Показательно, впрочем, что *брьние* (в другом орфографическом оформлении — *берние*) толкуется в Алфавите XVII в. (следовательно, предполагается, что оно может оказаться темным, непонятным). Если для киевской поры с известной осторожностью можно допустить, что интересующее нас слово поддерживалось традицией диалектного употребления его соответствий, то в московский период оно, по-видимому, понятно лишь узкому кругу начитанных в церковных текстах людей. Однако слово не угасает: его производные *бренный* «легкоразрушаемый, слабый» и *бренность*[7] «свойство и состояние бренного» доживают до наших дней в сфере высокой лексики.

Объяснение этого феномена — в тематической важности контекстов употребления этих слов (ср. центральное не только в средневековом мировоззрении противопоставление вечного, небесного, нетленного — преходящему, земному, тленному, бренному).

Итак, специфика древнеписьменного языка такова, что устаревшая (или обладающая формальными признаками устаревшей) лексика в нем может сознательно сохраняться, а слова, почти вышедшие на раннем этапе из употребления, способны перейти на более позднем этапе в разряд достаточно активных слов.

Но и в письменно-литературном языке древности можно обнаружить слова, традиция употребления которых прекращается: примером может служить др.-русск. *глѣнъ* «влага, жидкость, сок, слизь», известное по нескольким употреблениям в русских конфессиональных памятниках XI—XIV вв., двум — в Великих Четьих Минеях XVI в. и толкующееся (как темное) в Словаре Барсова XVII в. В более поздних источниках слово не засвидетельствовано.

Укажем факторы историко-лингвистического характера, приводящие к архаизации и — далее — утрате[8] слов литературного языка.

Архаизация лексем может быть вызвана фонологическими трудностями. Как это часто бывает в языке, выделенный единичный фактор не проявляется в чистом виде. Так, некоторые односложные (после падения редуцированных) имена русского языка, которые — с определенной поры — могли бы характеризоваться беглым гласным в корне и существенными различиями основ, выступающих в падежных формах (типа др.-русск. *сълъ*, *въдъ*, *щьпъ*), утрачены, хотя другие слова аналогичной структуры, включенные устойчивыми связями в лексическую систему языка (типа *сънъ*, *дънь*, *лъбъ*), относятся к числу активных, живых слов, имеющих непрерывную традицию употребления с древнейшей поры до наших дней. Заведомо очевидно, что число лексических утрат, стимулированных фонологическими трудностями, относительно невелико.

Целые разряды слов архаизируются и выводятся из языка в связи с развитием его словообразовательной и морфологической систем. Так, дифференциация существительных и прилагательных и перестройка системы склонения существительных устраняет из литературного языка много имен (примеры общеизвестны). В связи с развитием словообразова-

---

[7] *Брение* и *бреноделатель* признаются славянскими в двух изданиях Словаря Академии Российской, см. [9].

[8] Окончательная утрата архаизирующегося элемента может осуществляться за пределами рассматриваемого периода: на том этапе, когда литературный язык имеет не только письменную, но и устную форму, т. е. в XVIII—XIX вв.

тельной (и лексико-семантической) системы глагола архаизируются многие бесприставочные образования (типа *ключати* «заключать, запирать»; *ключити* «заключить, запереть»; *ключитися* «случиться»): древнерусские переписчики старших памятников достаточно последовательно по мере приближения к новому времени заменяют эти слова синонимами типа *заключити*, *прилучитися*, *годитися*, *угодитися*.

Особый интерес представляют архаические типы лексических значений, обнаруживающиеся в языке ранней средневековой эпохи, при объяснении которых следует учитывать особенности сознания средневекового человека. Как установлено усилиями ряда исследователей (ср. особенно [10]), понятия средневекового человека были более конкретными, предметно-чувственными, комплексными, диффузными. В религиозно-мифологическом сознании этой эпохи [9] недостаточно дифференцированные категории пространства и времени, например, выступают в качестве определенных сил, управляющих вещами и жизнью людей. Они эмоционально окрашены, могут быть добрыми и злыми, благоприятными и неблагоприятными. О том, что категория средневекового пространства существенно отличается от современной, свидетельствуют русские иконы, пространство которых качественно разнородно и нецелостно. В связи со сказанным понятно, почему ст.-слав. *пространьство* имеет не согласующиеся с точки зрения современного сознания значения «простор, пространство» и «искренность, откровенность», т. е. «доброжелательная открытость, прямота (речи)» [11] [10]. В связи с историей русской литературной лексики обратим внимание на совпадение значений («довольство, достаток»; «приволье, свобода»), характерных с XI в. для др.-русск. *просторъ* и книжного др.-русск. *пространьство*, засвидетельствованного в начальных частях Новгородской III и Псковской I летописей. Об особых отношениях средневековых категорий пространства и времени и их специфике напоминают употребления книжного *пространьство* в значении «промежуток времени, время» (*пространьство... жити* — в Библии Геннадия 1499 г.; в латинском тексте библии соответствие имеет значение «время, пора») [11], а также «простор»; «свобода, веселье, радость» [в летописных (в Лавр. лет. под 1096 г., т. е. в части, редактировавшейся до 1119 г.) и конфессиональных (Библ. Генн. 1499 г.) текстах [12]]. Показательно, что в Словаре церковнославянского и русского языка (1867 г.) у слова *пространство* наряду со значением «протяжение места, обширность» дается второе — «нестесненность, свободное положение»; «благосостояние, приволье», которое документируется примером из Полного собрания русских летописей.

Выработке в новом литературном языке абстрактных значений, под которые подводятся дифференцированные и суженные отвлеченные понятия, господствующие в современной системе абстрактного мышления, предшествовала специализация значений слов книжного языка, которые, в силу своей оторванности от сферы быта, оказались удобными для создания специальной научной терминологии и абстрактной лексики. Так, на базе значения «простор» книжного слова *пространство* (ср. также прилаг. *пространный* «широкий») возникает в новом литературном языке абстрактный термин *пространство*. Анализ истории этого значения (на протяжении XVIII—XIX вв.) не связан с нашей задачей: достаточно ука-

---

[9] Возникновение христианской письменной культуры на Руси, как известно, связано с периодом перехода от мифологического сознания к историческому.

[10] Р. М. Цейтлин [11] предлагает в этом случае выделить омонимы, что, на наш взгляд, нежелательно, так как такое решение скрывает особенности архаической семантики слова.

[11] Ср. в связи со сказанным засвидетельствованное в картотеке Архангельского словаря, издание которого осуществляется Лабораторией кафедры русского языка филологического факультета МГУ под руководством О. Г. Гецовой, *пространство* в значении «расстояние во времени, промежуток времени между двумя событиями» [*дивно пространство — эти-то месяцы* (между уборкой и посевной)].

[12] (1096): *На семь свѣтѣ приимши веселье и простороньство*. Лавр. лет. (в Акад. списке — *пространьство*; Радзив. лет.— *пространество*). *Приемаху пищу въ радости и въ пространьствѣ срдца*. Библ. Генн., 1499 г.

зать, что непосредственным продолжением активного древнерусского книжного слова в живом (имеющем непрерывную традицию употребления), но существенно видоизмененном значении является один из центральных терминов пространственной лексики нового русского литературного языка. Архаикой, сохранявшейся на протяжении всего рассматриваемого периода, были добавочные значения «свобода», «веселье, радость», соотносившиеся по традиции с основными — «простор», «широта» (и пространства, и времени, и того, что мыслится, существует в пространстве и времени).

Таким образом, древнерусский литературный язык законсервировал весьма архаические типы значений — членящиеся на несколько значений с точки зрения современного человека, но, по-видимому, единые с точки зрения человека, пользовавшегося этим языком (во всяком случае, в древнейший период).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Жуковская Л. П.* Лексические варианты в древних славянских рукописях.— В кн.: Исследования по исторической лексикологии и лексикографии. М., 1964, с. 5—6.
2. *Розов Н. Н.* Книга древней Руси XI—XIV вв. М., 1977.
3. *Богатова Г. А.* Диахронический словарь в системе словарей исторического цикла (к специфике способов описания семантической истории слова).— В кн.: Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984.
4. *Дурново Н. Н.* К вопросу о национальности славянского переводчика Хроники Георгия Амартола.— Slavia, 1925, roč. IV, s. 3, c. 446—447.
5. *Кандаурова Т. Н.* Ассимиляция маркированных церковнославянизмов в древнерусских памятниках XI—XIV веков.— В кн.: Проблемы общего и русского языкознания. М., 1972, с. 101.
6. *Виноградов В. В.* К истории лексики русского литературного языка.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
7. *Нимчук В. В.* Древнерусская лексика в Изборнике 1076 г.— В кн.: Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы докладов. М., 1984, с. 82.
8. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 3. М., 1976, с. 69—70.
9. *Замкова В. В.* Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в. Л., 1975, с. 27.
10. *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972.
11. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977, с. 151.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

КОБОЗЕВА И. М.

О ГРАНИЦАХ И ВНУТРЕННЕЙ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО КЛАССА ГЛАГОЛОВ РЕЧИ

В последние три десятилетия многие советские и зарубежные ученые обращались к анализу глаголов речи, ставя перед собой при этом разные задачи. В. П. Бахтину [1] и Т. П. Ломтева [2] прежде всего интересовали синтаксические свойства этих глаголов. В работах Л. М. Васильева [3], Ю. Д. Апресяна [4], А. Вежбицкой [5, 6], Ч. Филлмора [7], Дж. Макколи [8] в центре внимания находится их лексическое значение. В логико-философских трудах Дж. Остина [9] и Дж. Серла [10, 11] на первый план выступают логико-семантические свойства глаголов речи.

Каким же образом решался в указанных исследованиях вопрос о критериях отнесения того или иного слова к глаголам речи? В большинстве случаев авторы исходили из интуитивного чувства, что данный глагол соотносится с определенной областью явлений действительности.

Л. М. Васильев, давший глубокое, многоаспектное и богатое по материалу описание парадигматической семантики глаголов речи (включающее около 1300 глаголов и 90 фразем), писал по этому поводу следующее: «По традиции (разрядка здесь и далее наша.— *К. И.*) в качестве особых семантических классов глаголов... выделяют обычно глаголы речи, чувства, восприятия, мышления, звучания, информации и под. ...Взаимоотношения между такими классами, выделяемыми интуитивно на основании соотнесенности принадлежащих к ним глаголов с такими денотатами, как речь, чувство и под., обычно очень сложными по своей природе, но едиными с точки зрения семантической, никем еще не подвергались тщательному и последовательному анализу. Задача эта весьма трудная и до исчерпывающего описания всех семантических классов глаголов, видимо, полностью не осуществимая. Тем не менее у нас нет пока никаких оснований отвергать эти классы, интуитивно, кстати, хорошо осознаваемые говорящими, но границы их и принципы выделения должны быть, разумеется, уточнены» [3, с. 43—44].

В работах, специально посвященных толкованию значений глаголов речи [5, 7] или дающих такие толкования для иллюстрации более общих положений [4, 6], вопрос о границах этого семантического класса не ставился, т. к. полагалось, что при наличии адекватных описаний значений глаголов их легко объединить в классы на основании общности тех или иных компонентов значения, например, наличия в толковании семантического элемента «говорить». Однако поскольку реально мы располагаем формализованными дефинициями в лучшем случае пяти процентов от общего числа глаголов речи в русском языке, а также поскольку одним из эвристических приемов поиска правильных толкований является анализ парадигматически связанной группы слов (семантического класса), вопрос о составе этого класса весьма актуален.

Основой нашего анализа являются следующие положения, сформулированные Л. М. Васильевым в [3]: 1) класс глаголов речи имеет ядерную и периферийную части; 2) ядро этого класса составляют глаголы, «синонимизирующиеся» с различными значениями слова *говорить* [3, с. 216]; 3) глагол *говорить* является наиболее общим обозначением речевого акта, его глобальное значение — «выражать посредством устной или письменной речи какие-либо мысли с целью их сообщения кому-либо», а отдельные его значения «характеризуют ту или иную сторону процесса речи (акустико-физиологическую, коммуникативную и т. д.)» [3, с. 214]. Положения 2 и 3 требуют уточнения.

Начнем с положения 3. Из формулировки Л. М. Васильева явствует,

что глагол *говорить* нейтрален по признаку формы речи — устной или письменной. Согласно другой точке зрения, этот глагол толкуется как «сообщать при посредстве своего голоса» в отличие, например, от *писать* «сообщать при помощи графических символов». Безусловно, есть контексты, в которых компонент «устности» в значении *говорить* нейтрализуется, чего никогда не происходит с его коррелятом в значении *писать* (ср. примеры А. Вежбицкой [12, с. 239]). Но возможность «зачеркивания» этого компонента возникает только в особых контекстных условиях, например, когда субъект глагола *говорить* обозначает лицо, известное своими письменными трудами, либо по той или иной причине вынужденное осуществлять общение не в устной форме, либо когда косвенный объект глагола кореферентен с его субъектом. В прочих случаях компонент «устности» передается глаголом *говорить*. Это значит, что «наиболее общее обозначение речевого акта» не тождественно глаголу *говорить*. Следовательно, для описания значений глаголов речи нужен некий семантический конструкт, который совпадает с основным значением *говорить*, но при этом он не указывает на характер материального воплощения используемых языковых знаков. Именно такой элемент смысла фактически и имеет в виду большинство исследователей, когда вводит в метаязык описания значений сему «говорить» [5—7].

Вернемся к положению 2. Анализ конкретных примеров, разобранных в [3], показал, что за термином «синонимизация» скрывается несколько различных семантических корреляций между *говорить* в одном из значений и другими словами, отнесенными к ядру поля речи. Это отношение точной синонимии (*говорить*$_3$[1] — *произносить*), включения, или гипонимии [13, с. 478], (*говорить*$_6$ — *болтать*, *сообщать* — *говорить*$_4$) и несовместимости [13, с. 478] (*говорить*$_3$ — *писать*). Отсутствие строгих критериев при определении степени близости того или иного глагола к центру семантического поля речи приводит к такому неоправданному, на наш взгляд, решению, когда *считать* (*до ста*), *оговариваться*, *диктовать* и т. п. отнесены к ядру поля речи, в то время как *спрашивать*, *соглашаться*, *просить*, *хвалить* и т. п. находятся на его периферии, хотя, как будет показано ниже, первые в некотором смысле отстоят от *говорить* гораздо дальше, чем последние.

Естественно считать, что к ядру поля речи относятся единицы, по отношению к которым *говорить* в любом из его значений является родовым термином. К периферии же относятся глаголы, находящиеся с *говорить* в отношении несовместимости, а также лексемы, связанные с *говорить* менее сильными корреляциями. Тем самым доказательство принадлежности той или иной лексемы к полю речи, его ядру или периферии, сводится к демонстрации наличия определенных парадигматических отношений между ней и глаголом *говорить*.

В литературе по компонентному анализу предложен целый ряд объективных процедур экспериментального подтверждения семантических гипотез. В частности, в работе Дж. Лича [14] приведены и подробно обоснованы тесты для подтверждения отношения гипонимии и синонимии между двумя лексемами. Тесты проводятся в [14] на материале разрозненных пар слов, словосочетаний или предложений типа англ. *brother* — *halfbrother* «брат — брат по одному из родителей», *policeman* — *cop* «полисмен — „фараон"» и др. Мы же попробуем применить два из этих тестов к решению вопроса о границах и стратификации семантического класса глаголов речи. Данные тесты mutatis mutandi могут быть применены с той же целью и к другим лексико-семантическим группам слов. Но это возможно лишь в том случае, если данная группа содержит стилистически нейтральное слово, претендующее на роль гиперонима по отношению ко всем другим словам этой группы.

Первый тест — вопросно-ответный (ВОТ). Пусть мы интуитивно чувствуем, что *сообщать* — гипоним *говорить*. Чтобы убедиться в этом,

---

[1] Подстрочный индекс обозначает номер значения глагола в соответствии с порядком, заданным в [3].

надо построить вопросно-ответную пару вида:

(1) — *Он сказал что-нибудь?*

— ..., *он сообщил, что путь открыт.*

Информанту (в качестве которого может выступать и сам исследователь) предлагается заполнить пропуск частицами *Да* или *Нет*. Если подавляющее большинство информантов (не менее 80%) считает, что подходит *Да* (этот вид ответа мы фиксируем далее как *Да/*Нет*), то *сообщать*, действительно, гипоним *говорить* [2]. Если же информанты отвечают, что подходит *Нет* (ответ *Да/Нет) или что подходят как *Да*, так и *Нет* (ответ *Да/Нет*) или что не подходит ни то, ни другое (ответ **Да/*Нет*), то, значит, результаты теста не подтверждают наличия гипонимической корреляции.

Применение ВОТ требует нейтрализации всех факторов, которые могут влиять на выбор ответа, кроме лексико-семантического. Прежде всего это касается возможного несоответствия между предикатом вопроса и предикатом ответа по семантическому типу, определяемому характером временной отнесенности [15]. Поскольку в данном аспекте глаголы речи не подвергались специальному рассмотрению, мы остановимся на нем подробнее.

Глагол *говорить*, выступая в роли предиката предложения, в зависимости от семантико-синтаксического окружения относится к разным семантическим типам: 1) свойства (*Наш ребенок уже говорит*); 2) достижения (*Старик говорит (=сказал), что до войны здесь был сад*); 3) гомогенной деятельности (*Они шли по аллее и говорили*).

Среди глаголов, обычно относимых к глаголам речи, встречаются такие, которые в норме относятся лишь к одному типу. Так, *картавить* — предикат свойства (в отличие от *прокартавить* — предиката достижения). Ср. невозможность предложений, где этот глагол употреблен в контекстах, характеризующихся признаком временной локализованности: **Он был занят тем, что картавил, *Тогда я спрашиваю его, что с ним, а он картавит, что его побили.* Если при построении вопросно-ответной пары глагол *говорить* в вопросе будет предикатом достижения или гомогенной деятельности, а в ответе будет фигурировать глагол *картавить*, способный быть лишь характеризующим предикатом, то полученный диалог окажется дефектным и при положительном и при отрицательном варианте ответа:

(2) — *Он говорил что-нибудь?* (достижение или гомогенная деятельность)

— **Да/*Нет, он картавил* (свойство).

Ответ **Да/*Нет* в этом случае не может рассматриваться как свидетельство отсутствия отношения гипонимии между *говорить* и *картавить*, т. к. появление его могло обусловливаться несоответствием грамматико-семантических характеристик предикатов. Чтобы нейтрализовать действие этого фактора, надо употребить лексему *говорить* в вопросе в качестве предиката свойства, например, *Ваш ребенок уже говорит?* Тогда тот факт, что в контекст ответной реплики (..., *он картавит*) не может быть подставлена ни частица *Да*, ни частица *Нет*, уже будет явным свидетельством того, что гипотеза о гипонимическом отношении между *картавить* и *говорить* не подтверждается с помощью ВОТ.

Многие глаголы и фразеологизмы речи относятся к типу д о с т и ж е н и я: *заверять/заверить*, *подтверждать/подтвердить*, *доводить/довести до сведения*, *спрашивать/спросить*, *приказывать/приказать* и др. Для выявления принадлежности глаголов этого типа к классу глаголов речи в ВОТ используется вопрос: *Он говорил/сказал тебе что-нибудь?* Ср.: *Он сказал тебе что-нибудь? — Да/*Нет, он благословил меня*, но **Да/?Нет, он подпрыгнул.*

Глаголы *беседовать*, *дразнить*, *сплетничать* и подобные относятся к типу предикатов г о м о г е н н о й д е я т е л ь н о с т и. Их при-

[2] Можно допустить до 20% ответов, отклоняющихся от ожидаемого, что связано с неизбежными для любых семантических текстов, в особенности вопросно-ответных, «помехами», объясняемыми возможностью домысливания информантом нестандартного контекста, на фоне которого предлагаемый им неожиданный ответ становится допустимым.

надлежность к классу глаголов речи может проверяться с помощью вопросов: *Он говорил что-нибудь/о чем-нибудь?* или *Они говорили о чем-нибудь?* Ср.: *Они говорили о чем-нибудь?— Да/*Нет, они сплетничали о Федоре*, но — **Да/*Нет, они прогуливались по аллее.*

Ряд глаголов, трактуемых лексикографами и лексикологами как глаголы речи, принадлежит к типу предикатов постепенного осуществления: *упрашивать/упросить, договариваться/договориться, убеждать/ убедить* и др. Глагол *говорить* может быть отнесен к этому типу только в малоупотребительных сочетаниях типа *говорить/сказать речь, сказку* и т. п. Однако предикат гомогенной деятельности в вопросе вполне согласуется с предикатом постепенного осуществления в ответе. Поэтому для эксперимента с глаголами постепенного осуществления пригодны те же вопросы, что и для глаголов гомогенной деятельности. Ср.: *Он говорил что-нибудь?— Да/*Нет, он уговаривал меня уйти.*

Убедившись, что при соблюдении грамматико-семантического согласования предикатов вопроса и ответа ВОТ дает однозначные результаты в явных случаях принадлежности лексемы к глаголам речи, мы применим его в менее очевидных, спорных случаях. К таким случаям относятся прежде всего глаголы, вообще не упомянутые в [3], но толкуемые обычно либо путем отсылки к глаголу *говорить* или его синонимам, либо к другим бесспорным глаголам речи. Так, глагол *завещать* в его переносном значении описан в словаре Ожегова как «поручить, выразив в предсмертной воле». *Поручить* — бесспорный глагол речи, зафиксированный в [3] (правда, без достаточных на то оснований отнесенный вместе с другими глаголами речевого побуждения к периферийным). ВОТ подтверждает принадлежность *завещать* в указанном его значении к полю речи:

(3) — *Он сказал что-нибудь?*

— *Да/*Нет, он завещал нам продолжать начатое им дело.* Столь же четко подтверждается с помощью ВОТ принадлежность к полю речи не учтенных в [3] глаголов и фразем *квалифицировать* (*как*), *претендовать* (*на*), *уполномочивать, ходатайствовать, держать пари, заказывать* (*обед* и т. п.), *давать обет, присягать, добавлять* (,*что*), *резюмировать, замечать, отмечать, брать свои слова обратно* и др.

Как показывает эксперимент, далеко не все глаголы, рассматриваемые в [3] как глаголы речи, ведут себя в ВОТ как эталонные представители этого класса. Реакция на соответствующие вопросно-ответные пары — ?*Да/Нет*, **Да/*Нет*, *Да/Нет* — может расцениваться: а) как сигнал того, что данное слово ошибочно отнесено к полю речи; б) свидетельство того, что оно находится на периферии поля. Приведем примеры:

(4) — *Он сказал* (*говорил*) *тебе что-нибудь?*

**Да/*Нет, он солгал* (*лгал*) *мне* [3].

(5) — *Он говорит?*

— **Да/*Нет, он грассирует.*

(6) — *Он сказал что-нибудь?*

— ?*Да/?Нет, он ахнул.*

(?) — *Он говорил тебе о своем провале?*

— *Да/Нет, он телеграфировал мне о нем.*

Прояснить картину в таких случаях помогает второй тест — импликативный (ИТ). Этот тест подтверждает отношение гипонимии между двумя лексемами α и β, первая из которых фигурирует в качестве предиката высказывания А, являющегося посылкой импликации, а вторая — является предикатом ее заключения Б. Требуется оценить, истинно ли высказывание Б, когда истинно высказывание А. Если α — гипоним β, то истинность А повлечет за собой истинность В. Если α и β несовместимы, то истинность А означает ложность Б. Если между α и β отсутствуют ука-

---

[3] Здесь и далее приводится наиболее частотный вариант ответа информантов. Кроме данного, были получены и другие варианты: *Да/Нет*, ?*Да/*Нет* и даже *Да/*Нет*. Знак (?) при *Да* или *Нет* означает, что, совершая подстановку, информант видоизменял контекст, например, говоря, что можно подставить *Да*, если сказать *Да, но он солгал мне.*

занные парадигматические семантические отношения, то истинность Б не будет зависеть от истинности А. В нашем случае в посылке импликации будет проверяемая лексема, а в заключении — предикат *говорить* или дизъюнкция предикатов *говорить* или *писать*. Большинство глаголов речи, выдерживающих ВОТ, в ИТ требует использования именно дизъюнкции *говорить* или *писать*, т. к. указание на способ передачи информации у многих глаголов речи не входит в значение. Пример:

(8) А: *Петя ж а л о в а л с я другу, что жена его не понимает.*

Б: *Петя г о в о р и л или п и с а л другу, что жена его не понимает.*

Будем считать, что лексема, успешно прошедшая как ВОТ, так и ИТ, принадлежит к ядру поля речи. Примерами таких лексем и фразем являются *заявлять*, *сознаваться*, *утверждать*, *сообщать*, *угрожать*, *клясться*, *возражать*, *просить*, *обещать*, *здороваться*, *ставить в известность*, *давать обещание*, *обращаться с просьбой*, *выражать сожаление*, *просить прощения*, *говорить спасибо* и мн. др.

Если лексема не выдерживает ВОТ, но проходит ИТ (или наоборот: выдерживает ВОТ, но дает отрицательный результат в ИТ), то она принадлежит к периферии поля речи. Если же оба теста не подтверждают гипотезы о том, что данное слово является гипонимом *говорить*, то нет оснований относить данное слово к глаголам речи (*resp.* нет оснований в его словарное описание включать сему «говорить»).

Рассмотрим основные типы периферийных глаголов речи. Первая категория таких глаголов характеризуется тем, что они (по разным причинам) не проходят ВОТ, но оказываются глаголами речи по ИТ. Глаголы типа *лгать*, *оговариваться* не проходят ВОТ [см. пример (4)], но в импликативном тесте проявляют себя как глаголы речи. Ср.: *Он солгал*$_t$ *мне, что его отпустили домой* $\supset$ *Он сказал* (*написал*) *мне, что его отпустили домой* (индекс t показывает, что имеется в виду истинность предикаций в один и тот же момент времени); *Он оговорился*$_t$ $\supset$ *Он что-то говорил*$_t$.

Причина неуместности ответов с *Да* или *Нет* при применении ВОТ к словам, подобным *лгать*, состоит в том, что ответ по своей логико-семантической структуре не соответствует вопросу. Основу логико-семантической структуры общего вопроса составляет дизъюнкция альтернативных пропозиций, одна из которых отрицает другую. Так, для вопроса (4) эта дизъюнкция будет иметь вид: «он сказал тебе что-то или он ничего тебе не сказал» (полную характеристику логико-семантической структуры общего вопроса в русском языке см. в [16]). Корректный ответ на общий вопрос должен утверждать одну из этих альтернатив, возможно, с некоторым семантическим приращением. Однако в ответе (4) *Да/Нет, он солгал мне* пропозиция *Он что-то сказал мне* не утверждается, а подразумевается, составляет пресуппозицию, утверждается же в (4) другое: «то, что он сказал, является ложным, и он знал, что это является ложным». Подобное деление на пресуппозиционную и утверждаемую части заложено в лексическом значении глаголов типа *лгать*, где семантический компонент «говорить» относится к пресуппозиционным.

Таким образом, один из типов периферийных глаголов речи составляют те глаголы, в значении которых сема «говорить» является пресуппозиционной. К ним относятся: 1) глаголы, которые в основных своих употреблениях обозначают свойственные человеку особенности или дефекты произношения (*картавить* $\approx$ «говоря, произносить некоторые звуки неверно»; *акать* $\approx$ «говоря, в определенных позициях в словах произносить звук *а*» и т. п.); 2) глаголы, обозначающие разного рода «осечки» в речевом акте [9], нарушения правил ведения речи [17]: *оговариваться* $\approx$ «говоря, произносить не то слово, какое имелось в виду»; *лгать*, *врать*, *загибать* и т. п.; *шутить* и *смеяться* в одном из своих значений (*Я шучу* $\approx$ «То, что я только что сказал, ложно, и я сделал это, чтобы вызвать смех»); *грубить* $\approx$ «говоря с кем-либо, нарушать правила вежливости»; *недоговаривать* (*Он недоговаривает* $\approx$ «То, что он говорит, не есть все, что следовало бы сказать») и некот. др.

Большой класс глаголов, которые, как и рассмотренные выше, проходят ИТ, но в ВОТ ведут себя не как гипонимы глагола *говорить*, состав-

ляют так называемые декларативы [11], или оперативы [8]. Специфика этих глаголов состоит в том, что они называют такие речевые акты, которые оказывают непосредственное воздействие на реальность.

К оперативам относятся следующие глаголы и фраземы: *назначать* (кого-либо кем-либо), *называть* (=давать имя), *командировать*, *санкционировать*, *призывать* (*в армию*), *капитулировать*, *присягать*, *декретировать*, *приговаривать* (юр.), *денонсировать*, *отлучать* (*от церкви*) и мн. др. Все подобные слова обозначают действия, которые включают говорение или написание чего-либо, и поэтому все они выдерживают ИТ:

(9) А: *Петров назначил*$_t$ *Иванова своим заместителем.*

Б: *Петров сказал* (*написал*)$_t$, *что Иванов будет его заместителем.*

Однако обозначаемые оперативами действия не сводятся к говорению в отличие от действий, обозначаемых другими глаголами речи. Так, глубокое различие между *говорить* и *назначать* состоит в следующем: говоря, что А будет занимать должность X, мы в общем случае не вызываем в окружающей действительности никаких изменений, кроме изменений в информации, которой располагает аудитория, или в личных обязательствах говорящего или слушающего, тогда как назначение А на должность X имеет гораздо более ощутимые последствия — делает А X-ом. Естественно, что декларативы воспринимаются не как названия видов говорения, а как обозначения действий, связанных с созданием (каузацией) или ликвидацией тех или иных положений вещей. Именно поэтому в ответе на вопрос *Он сказал что-нибудь*? оперативы так же неуместны, как и глаголы типа *сделать*:

(10) — *Он сказал что-нибудь?*

— *?Да/?Нет, он назначил меня своим заместителем.*

?Да/?Нет, он сделал меня своим заместителем.

Сема «говорить» в оперативах, в отличие от глаголов типа *лгать*, не является пресуппозиционной. Однако здесь вполне уместно использовать противопоставление центральной и периферийной частей толкования [ср. 16, с. 266], относя сему «говорить» к периферийной части. Так, например, высказывательная форма *X командирует Y-ка в Z* должна толковаться не как «X в соответствующем документе сообщает, что Y обязан переместиться в Z», а как «X каузирует обязанность со стороны Y-ка переместиться в Z, сообщая об этом в соответствующем документе».

Периферийное положение оперативов в семантическом классе глаголов речи косвенно подтверждается тем фактом, что лишь некоторые из этого обширного класса слов учтены в [3] как глаголы речи. Это *командировать*, *опротестовывать*, *декларировать*, *объявлять* (в значении «сообщать о признании чего/кого-либо каким/кем-либо»), *провозглашать*, *прокламировать*, *называть*, *нарекать*, *приговаривать* (юр.), *выносить приговор*, *осуждать* (как синоним *приговаривать*).

К классу оперативов примыкают глаголы типа *дарить* (*даровать*), *преподносить*, *награждать* и т. п., которые иногда рассматриваются как обозначения речевых (иллокутивных) актов [9]. В отличие от оперативов, глаголы этого типа не выдерживают не только ВОТ, но и ИТ. На этом основании мы считаем, что их не следует относить к классу слов, обозначающих речевые действия.

Еще одна периферийная группа глаголов речи — *кричать*(*что*), *писать*, *телеграфировать* и т. п.— характеризуется тем, что в ВОТ входящие в эту группу слова допускают как ответы с *Да*, так и ответы с *Нет*, в зависимости от того, понимается ли *говорить* в вопросе широко — как любой способ создания речевого произведения или узко — как создание речевого произведения при помощи своего голоса, имеющего нормальную высоту, громкость и т. д. (ср. описание значения английского глагола *write* «писать» в [18, с. 81—84]).

(11) — *Иван говорил тебе о том, что произошло в экспедиции?*

а) — *Да, он писал мне об этом.*

б) — *Нет, он писал мне об этом.*

Реплики (11а) и (11б) соответствуют двум различным интерпретациям актуального членения вопроса. В реплике (11а) в качестве ремы вопроса

выделена дизъюнкция двух альтернатив (передавалась или не передавалась информация) и ответом *Да* показано, что истинна положительная альтернатива; при этом выбором глагола *писать* дополнительно уточняется способ передачи информации. В реплике (11б) способ передачи информации трактуется как рема вопроса — «устно или не устно», а сам факт информирования интерпретируется как пресуппозиция вопроса (соответственно, вопрос должен прочитываться с контрастным ударением на *говорить*, а ответ — на *писать*). Импликативный тест в той форме, в которой он использовался выше, плохо приложим к данной группе глаголов. Однако его можно модифицировать, изменив заключение следующим образом: «X с помощью слов (или средствами определенного языка) передал информацию о том, что...». При такой модификации ИТ глаголы данной группы удовлетворяют требованиям, которые мы предъявляем к периферийным глаголам речи.

Глаголы *ахать*, *охать* и т. п. в тестах ведут себя сходным образом. Здесь *Да* или *Нет* при ответе в ВОТ, как и установление отношения следования в ИТ, зависит от того, оценивает ли носитель языка междометные восклицания типа *Ах*! как разновидность речевого произведения или как нечто противопоставленное им.

Таким образом, к первой категории периферийных глаголов речи относятся: а) лексемы, у которых сема «говорить» входит в пресуппозиционную часть значения; б) лексемы, у которых сема «говорить» относится к периферийной части их значения; в) лексемы, вступающие с лексемой *говорить* в отношение несовместимости.

Вторую категорию периферийных глаголов речи составляют лексемы, которые в ВОТ ведут себя как глаголы речи, а ИТ не подтверждает их принадлежности к этому классу. Например:

(12) а) — *Он говорил что-нибудь?*
— *Да, он анализировал свои успехи.*
б) *Он анализировал свои успехи* ⫤ *Он говорил о своих успехах.*

(13) а) — *Он говорил ей что-нибудь?*
— *Да, он насмехался над ней.*
б) *Он насмехался*$_1$ *над ней* ⫤ *Он ей что-то говорил.*

При всем многообразии лексических значений таких слов общим в них является то, что они называют действия, которые часто, но отнюдь не обязательно совершаются вербально. В работе Л. М. Васильева [3] в класс глаголов речи включено много таких глаголов. При некоторых из них указано, что они нейтральны в отношении речевого/неречевого способа осуществления (например, *побуждать*, *понуждать*, *успокаивать*, *навязывать*, *останавливать*, *торопить*, *убеждать*, *обижать*, *насмехаться*, *оскорблять*, *одобрять* и др.). Другие глаголы, как показывает импликативный тест, неточно описаны с точки зрения обязательности /необязательности речевого осуществления обозначаемых действий. Так, например, *разрешать* и *позволять* в [3] трактуются как полные синонимы, в то время как из предложения *Отец разрешал сыну курить* следует *Отец говорил сыну, что тот может курить*, а из *Отец позволял сыну курить* не следует, что отец что-либо говорил сыну по поводу его курения, он мог просто никак не реагировать на это. Тем самым *разрешать* — глагол, относящийся к ядру поля речи, а *позволять* — к его периферии.

На том же основании к периферии поля речи должны быть отнесены упомянутые в [3] глаголы *приписывать* (кому-либо что-либо, что-либо чему-либо), *истолковывать*, *интерпретировать*, *винить* (в отличие от *обвинять*, относящегося к ядру поля речи), *заманивать*, *оценивать* (*как...*), *выяснять*, *раскрывать* и некот. др. Сема «говорить» является в значении этих глаголов вероятностным компонентом (понятие вероятностного компонента введено в [19]), что позволяет им выдерживать ВОТ, но не ИТ.

От рассмотренных глаголов надо отличать многозначные глаголы, обозначающие говорение лишь в одном из своих значений. В связи с трудностями, возникающими при применении тестов к многозначным глаголам, последние требуют к себе особо внимательного отношения.

Многие глаголы, которые в ВОТ ведут себя как глаголы речи, в силу своей многозначности дают отрицательный результат в ИТ, если глагол не помещен в контекст, требующий однозначно интерпретировать его как глагол речи.

Компактную группу подобных лексем составляют глаголы, которые в основном своем значении обозначают эмоциональное состояние, например, *восхищаться*, *восторгаться*, *возмущаться*, *негодовать*, *оплакивать*, *удивляться*. Существует ли у подобных глаголов особое значение, в котором они принадлежат к полю речи? Мнения на этот счет расходятся. Л. М. Васильев не включил указанные глаголы в рассматриваемый класс, в то время как другие исследователи усматривают у них значение речевого действия, которое обобщенно формулируют так: «Человек X выражает определенную эмоцию по поводу факта или объекта Y, делая высказывание P».

Значение речевого действия усматривается у данных глаголов в двух видах контекстов: 1) когда они вводят прямую речь (*Безобразие! — возмущался Иванов*); 2) когда данный глагол сочетается в предложении с такой лексемой или употребляется в такой лексико-синтаксической конструкции, которая исключает возможность интерпретировать его как глагол эмоционального состояния (*Отец громко восхищался картиной* ≠ ≠ *«*Отец громко испытывал сильную положительную эмоцию, вызванную определенными качествами картины»*).

Первый тип контекста — введение прямой речи — не требует рассматривать глаголы типа *восхищаться* как обозначающие вид говорения. Действительно, конструкции с прямой речью могут быть построены с использованием не только глаголов речи, но и любых глаголов, обозначающих явление или действие, которые могут разворачиваться одновременно с произнесением высказывания: глаголов мысли, глаголов эмоционального состояния (*Где коридорный? — обрадовался Петр Данилыч*), глаголов, обозначающих жесты и мимические движения (*Пойдем? подмигнула она*), симптомы эмоциональных состояний (*Батюшки мои!... — побелела Марья Кирилловна*) и т. д. [20, с. 412—413]. Для интерпретации предложений с прямой речью вовсе нет необходимости толковать глаголы *подмигнуть*, *обрадоваться*, *побелеть*, *возмущаться* или *удивляться* как глаголы речи. Сему «говорить» здесь естественнее считать имплицированной в значении самой конструкции, называемой прямой речью.

Что касается второй группы контекстов, то они представляют более веское основание для выделения у глаголов типа *восхищаться* отдельного значения «выражения определенной эмоции с помощью высказывания». Приведем примеры, в которых реализуется данное значение:

(14) :«...мальчик ...бормотал стихи... или т и х о у д и в л я л с я незаслуженным обидам: „Забавно!“» (Ю. Нагибин, Царскосельская аллея).

(15) : «Александра Павловна н е с к о л ь к о р а з п р и н и м а л а с ь а х а т ь и у д и в л я т ь с я необыкновенному уму Рудина» (И. Тургенев, Рудин).

В примере (14) наречие *тихо* требует интерпретации *удивляться* как «выражать удивление словами». В примере (15) конструкция *«несколько раз приниматься* + инфинитив» не совместима с толкованием *удивляться* как предиката состояния, в данном случае эмоционального (ср.: * *несколько раз принималась огорчаться*, *пугаться* и т. п.), но вполне совместима с интерпретацией *удивляться* как предиката действия, в данном случае говорения. Как уже отмечено выше, глаголы типа возмущаться выдерживают вопросно-ответный тест. В свете разобранных примеров это является естественным следствием того, что контекст *Он говорил* (*сказал*) *что-нибудь? — Да, он* V... также относится к типу контекстов, требующих интерпретации V как обозначения разновидности говорения. Что же касается импликативного теста, то глаголы данной группы не проявляют себя как глаголы речи, если только они не употреблены в контекстах типа рассмотренных выше примеров (14) и (15). Из того, что *Он возмущался*

(*восхищался и т п.*) *поведением Ивана* не следует, что *Он сказал* (*написал*) *что-то по поводу поведения Ивана.*

Значение эмоционального состояния является у глаголов типа *восхищаться* основным номинативным, а значение словесной манифестации эмоционального состояния — производным номинативным [21]. В этом последнем данные глаголы могут быть отнесены к полю речи.

К числу многозначных глаголов, которые в одном (или нескольких) из своих значений относятся к ядру поля речи, а в другом значении (или значениях) входят в иные семантические поля, относятся также следующие глаголы: 1) *рассматривать*, *замечать*, *отмечать* (в других значениях относятся к полю восприятия); 2) *повторять* (, *что...*) (в другом значении относится к фазовым глаголам); 3) *определять* (какое-либо понятие), *интересоваться* (в других значениях относятся к полю знания) и некот. др. Провести границу между словами, у которых «речевое» значение является языковым, но не единственным их значением, и теми словами, у которых «речевое» значение домысливается исходя из энциклопедической и ситуативной информации, которой располагает интерпретатор высказывания, весьма непросто. Применение ИТ к произвольным высказываниям с исследуемой лексемой в обоих случаях дает отрицательный результат.

В заключение повторим основные выводы: 1) класс глаголов речи имеет ядерную часть, к которой относятся глаголы, дающие положительный результат при применении к ним семантических тестов двух видов — вопросно-ответного и импликативного; 2) на периферии этого класса располагается несколько групп глаголов: а) глаголы, у которых сема «говорить» входит в пресуппозиционную часть их значения (*лгать*, *оговариваться* и т. п.); б) глаголы, вступающие с *говорить* (в узком значении) в отношение несовместимости [*писать*, *печатать* (*на машинке*), *ахать* и т. п.]; в) глаголы-оперативы, у которых сема «говорить» относится к периферийной части их значения (*назначать*, *декретировать* и т. п.); г) глаголы, у которых сема «говорить» входит в ассоциируемую с ними энциклопедическую информацию, фиксируемую в прагматической, коннотативной зоне их словарной статьи (*торопить*, *позволять*, *заманивать* и т. п.).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бахтина В. П.* Некоторые особенности глаголов речи в русском языке.— Уч. зап. Башкирского университета, 1964, сер. филол., вып. XVIII.
2. *Ломтев Т. П.* Конституенты предложений с глаголами речи.— В кн.: *Ломтев Т. П.* Общее и русское языкознание. М., 1978.
3. *Васильев Л. М.* Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи.— В кн.: Очерки по семантике русского глагола. Уфа, 1971.
4. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М., 1974.
5. *Wierzbicka A.* Acts of speech — In: *Wierzbicka A.* Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.
6. *Вежбицка А.* Метатекст в тексте — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
7. *Fillmore Ch.* Verbs of judging: an exercise in semantic description.— In: Studies in linguistic semantics. Ed. by Fillmore Ch., Langendoen T. New York, 1972.
8. *McCawley J.* On lexicography og performative verbs.— In: Proceedings of the Texas conference on performatives, presuppositions and implicatures. Austin, 1977.
9. *Austin J.* How to do things with words. New York, 1962.
10. *Searle J. R.* Speech acts. Cambridge, 1969.
11. *Searle J. R.* A classification of illocutionary acts.— In: Proceedings of the Texas conference on performatives presuppositions and implicatures.
12. *Вежбицка А.* Семантические примитивы. Введение.— В кн.: Семиотика. М., 1983.
13. *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
14. *Leech G. N.* On the theory and practice of semantic testing.— Lingua, 1975, v. 24, № 3. [= *Лич Дж. Н.* К теории и практике семантического эксперимента.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983].
15. *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке.— В кн.: Семантические типы предикатов. М., 1982.
16. *Баранов А. Н., Кобозева И. М.* Семантика общих вопросов в русском языке. Категория установки.— ИАН СЛЯ, 1983, № 3.
17. *Grice H. P.* Logic and conversation.— In: Syntax and semantics. Ed. by Cole P. and Morgan J. V. 3. New York, 1975.
18. *Филлмор Ч.* Основные проблемы лексической семантики.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983.
19. *Nida E. A.* Componential analysis of meaning. The Hague — Paris, 1975.
20. Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 2. М., 1954.
21. *Виноградов В. В.* Основные типы лексических значений слова.— ВЯ, 1953, № 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТЗЫВ НА «СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ» (1789—1794)

«Словарь Академии Российской» (СПб., 1789—1794) был значительным явлением как для русской филологической науки, так и для русской культуры конца XVIII в. в целом. Современники по достоинству оценивали первый труд молодой академии. В 1793 г. в одном из номеров журнала «Новые ежемесячные сочинения» [1] было опубликовано письмо к членам Российской академии. Анонимный автор, называя их труд подвигом, подчеркивал исключительное влияние словаря на развитие отечественной лексикографии: «Россия Вам обязана за словарь свой. Недостатки его исправит время, ибо труд Ваш такого рода, что чрез новые издания онаго исправиться и достигнуть возможного совершенства только удобен» [1, с. 56]. Время подтвердило справедливость этих строк. «Словарь Академии Российской» определил дальнейшие пути развития русской лексикографии вплоть до 50-х гг. XIX в. Многие лексикографы при создании своих трудов опирались на опыт первого академического словаря. Это подтверждено, например, в предисловиях к «Новому российско-французско-немецкому словарю» И. Гейма (М., 1799—1802), «Российско-немецкому и немецко-российскому словарю» И. Шмидта (СПб., 1825), «Общему церковно-славяно-российскому словарю» Н. И. Соколова (СПб., 1834), «Русско-французскому или этимологическому словарю русского языка» Ф. Рейфа (СПб., 1835—1836).

Первый труд Российской академии был высоко оценен и за рубежом. В 1801 г. на страницах «Геттингенских ученых ведомостей» появился отзыв на этот словарь [2] [1]. Помимо общих сведений о создателях словаря в нем содержалось описание состава словника, была раскрыта подготовительная работа, дана подробная характеристика русского словарного дела в XVIII в. Здесь же подчеркивалась особая роль «Словаря Академии Российской» как опорной базы для всего славянского языкознания. В дальнейшем последнее положение подтвердилось не только в лексикографических опытах русских ученых, но и в работах славянских филологов — И. Добровского, С. Линде, И. Юнгмана, В. Караджича, В. Ганки, П. Шафарика и др.

Автором отзыва на словарь был известный немецкий ученый А.-Л. Шлецер (1735—1809) [4]. Интерес Шлецера к русской истории и филологии восходит еще к годам его пребывания в России, когда в 1762 —1767 гг. он находился на службе при Петербургской Академии наук. Вернувшись в Германию, ученый продолжал свои занятия в этой области [2].

Отзыв, названный Шлецером «Словарь Академии Российской», в действительности представляет собой краткий очерк русской лексикографии той поры. Помимо словарей, изданных в России, автор называет и некоторые лексиконы, опубликованные в Германии. Исследователи не могут не обратить внимания на ряд неточностей и ошибок в отзыве. Так, в тексте встречается смешение таких понятий, как «славенский (славянский)», «славенско-русский», «новорусский язык». Даже в отрывке, посвященном «Словарю Академии Российской», Шлецер неверно называет рецензируемый словарь «Славенско-русским». Ошибка эта встречается еще в литературе первой половины XIX в. и объясняется уровнем филологической науки той поры [7].

Перевод публикуется с незначительными сокращениями, не существенными для истории рецензируемого издания и самой рецензии; они отмечены знаком ⟨...⟩. Иноязычные слова и названия цитируемых сочинений, набранные латинским шрифтом, переводятся нами на русский язык. Транскрибированные слова и имена собственные воспроизводятся в соответствии с их общепринятым написанием. Встречающиеся у Шлецера сокращения раскрыты в квадратных скобках. Авторское деление на абзацы и курсив сохранены. Орфография и пунктуация в необходимых случаях модернизированы. Все примечания в предисловии и в самом тексте, а также список литературы принадлежат публикаторам.

Отзыв известного немецкого ученого, без сомнения, будет интересен как для историков словарного дела, так и для широкого круга исследователей, занимающихся историей отечественной науки, русско-немецкими научными связями.

Осипов В. И., Файнштейн М. Ш.

---

[1] В 1794 г. по указанию президента Российской академии Е. Р. Дашковой все шесть томов «Словаря Академии Российской» были посланы в Геттингенский университет [3].

[2] О трудах А.-Л. Шлецера см. [5—6].

Словарь Академии Российской; ⟨. . .⟩ печатан при Академ[ии]нау[к] в 1789—1794 годах, 6 книг в четверть листа, 3—4 печатных листа каждая, всего 7152 столбца, по два на странице; таким образом, все сочинение в целом, при очень разреженном шрифте, достигло объема около 20 печатных листов. Восполняя упущение, мы называем уже вышедшую несколькими годами ранее книгу, которая непременно должна быть упомянута в нашем журнале. Мы и впредь будем делать это также и в отношении других русс-[ких] книг тем более охотно, что при ⟨...⟩ Екатерине II в русс[кой] литературе произошло много больше событий, нежели во времена всех предшествовавших правлений, вместе взятых, о чем, однако, иностранцы, вот уже много лет (русс[кая] библ[иотека Бакмейстера прекратила свою деятельность в 1787 г.) [3] почти ничего не слышали.

Славенско-русс[кий] язык — самый распространенный среди всех языков древнего и современного мира (считая по размеру территории, где он преобладает), и этот замечательный язык, сложившийся как книжный ранее всех существующих в настоящее время европ[ейских] языков (даже в сравнении с англосакс[онским] и исланд[ским]) [4], еще 100 лет тому назад был не более известен иностранцу (исключая, разве, ближайшего соседа, Швецию), чем санскрит. Марпергер [5] приложил на 11 с[траницах] к своему «Москов[скому] купцу» (Любек, 1705) как экзотическую диковину первый русский вокабулярий и речения.

В самой же России в 1728 г. уже была Акад[емия] нау[к], были университеты, гимназии и школы [6]; однако все еще отсутствовал словарь, подобный тем, какие уже были созданы для других наречий славян[ского] языка: польского, чеш[ского] и пр. [7]. Правда, Академия повелела напечатать

1) Вейсманов лексикон немецко-латинско-русс[кий] 1731 г., в четверть листа, на 788 с[траницах], вместе с краткой грамматикой на 48 с[траницах], и в предисловии обещала сделать большее. Однако этим все и закончилось [11] [8]. Таким образом, по-прежнему не существовало ни одного словаря, где можно было бы найти что-либо русское. Лишь в 1746 г. Академия издала

2) нашего Целлария [12], для нужд своей гимназии, 404 стр., в восьмую долю листа. Каждое латин[ское] слово в нем сопровождалось кроме немецкого также и русс[ким]. В конце — список русс[ких], слов по алфавиту на 154 с[траницах], пользоваться которым при поиске рус[ских] слов было очень трудно, поскольку на их значение указывала лишь отсылка на номер страницы впереди.

Впоследствии некий Кирилл *Кондратович* [9] представил в Акад[емию]

---

[3] Имеется в виду одиннадцатитомное «Обозрение современного состояния литературы в России» (1772—1778) историка и библиографа Л. И. Бакмейстера, выходившее на немецком языке в Риге и Лейпциге.

[4] Вероятно, Шлецер имеет в виду то обстоятельство, что у славян с IX века был свой литературный язык, в то время как народы Западной Европы в качестве «книжного» языка пользовались латынью. Но памятники англосаксонской и исландской письменности также восходят к VII—IX вв. [см. 8—10].

[5] Марпергер, Пауль Якоб (1656—1730) — автор сочинений по политической экономии, поэт. Член Научного общества в Берлине (1708).

[6] Под университетами, очевидно, подразумеваются Славяно-греко-латинская академия в Москве (основана в 1685 г.) и университет при Петербургской Академии наук (основан в 1725 г.).

[7] Шлецер не точен. К моменту написания им статьи в славянской лексикографии еще не было полных словарей. Но уже в XVII—XVIII вв. существовали параллельные лексиконы, например, «Латино-польский лексикон» Я. Мончинского (Крулевец, 1564), «Польско-латино-греческий тезаурус» Г. Кнапского (Краков, 1621), «Новый польско-французско-немецкий словарь» М.-А. Тротца (Лейпциг, 1764), «Лексикон трипартиум» К. Вусина (Прага, 1700), «Словарь чешско-немецко-латинский» Ф. Томсы (Прага, 1794). Полный «Словарь польского языка» был выпущен С. Линде только в 1807—1814 (Варшава), а «Чешско-немецкий словарь» И. Юнгмана — в 1834—1839 гг. (Прага).

[8] Словарь был переиздан в 1782 и 1799 г.

[9] Кондратович, Кирьяк Андреевич — академический переводчик середины XVIII в., автор ряда литературных произведений и словарей. Шлецер во время пребывания в Петербурге скопировал рукописный словарь Кондратовича [см. 13].

огромную рукоп[ись], содержавшую в себе действительно русс[кий] Целларий, все производные и составные, расположенные под их корнями, с лат[инским] переводом. Но поскольку эта достойная похвалы работа могла быть напечатана лишь после просмотра рукописи, то она осталась лежать безо всякого употребления.

3) *Лексикон российский и французский.* Русс[кий] и француз[ский], Петерб[ург], 1762, 753 стр., в восьмую долю листа, анонимного автора: это первый лексикон, пригодный для пользования. Однако русс[кий] шрифт здесь устаревший, и расположение весьма странное: русс[кие] и франц[узские] слова и выражения размещены друг против друга в виде столбцов. В конце 17 стр. опечатки, причем только во француз[ских] словах!

4) *Новый лексикон* ⟨...⟩. Новый лексикон француз[ско]-немецко-лат[инско]-русс[кий], печат[ан] при Акад[емии], без обозначения года, в бол[ьшую] восьмую долю листа. Авт[ором] этой первой части, которая доходит лишь до буквы F и содержит 1062 стр[аницы], называет себя асесс[ор] Сергей *Волчков* [10]. Вторая часть вышла в 1764 г. на 1282 с[траницах], без указания имени завершителя и даже с несколько измененным заглавием: Нового *Вояжирова* Лексикона ⟨. . .⟩, 2-я часть.

В 1766 г. новый директор Акад[емии], г-н граф Влад[имир] Орлов предпринял издание русс[кого] словаря, без всякого, однако, успеха.

Общество [11], занимавшееся переводом хороших иностранн[ых] книг на русс[кий] язык, в 1773 г. возымело намерение для неотложных нужд своих ⟨...⟩ переводчиков с француз[ского] перепечатать слово в слово весь «Словарь *Французской Академии*» по 4-му парижскому изд[анию] 1762 г., поручив акад[емическому] переводчику *Волкову* [12] дать русс[кий] перевод каждому слову, каждому выражению.

5) *Словарь Французскою Академиею сочиненный* ⟨. . .⟩. Словарь, сочиненный Француз[ской] Акад[емией] — таково было заглавие первой части, которая содержит лишь букву А; Петерб[ург], 1773, 222 стр., в лист, два столбца на каждой странице. Цена 1 рубль 25 коп.! Однако, как это легко можно было предвидеть, словарь не сдвинулся дальше этой первой части и буквы А.

То, чего не смог за 40 лет сделать целый коллектив, удалось, наконец, как нередко бывает в таких случаях, частному лицу. Некий немец, в прошлом проповедник на Эзеле, м[агистр] Франц Гёльтергоф (в то время лектор немецкого языка, позже экстраорд[инарный] проф[ессор] при Московском университете) был первым, кому выпала честь благодаря подписке выпустить в свет настоящ[ий] русс[кий], по коренным словам, расположенным впереди, и немецкий Целларий. ⟨. . .⟩ Его заглавие:

6) Российский Целлариус ⟨...⟩ М., 1771. Грамматика начинается со стр. 635 [14].

Через семь лет, в 1778 г., за этим *Российским* Целларием последовал того же автора

7) *Российский* лексикон ⟨...⟩ [15]. Русс[кий] *алфавитный* словарь с немецким и латин[ским] переводом, напечатан там же, 942 стр., в бол[ьшую] восьмую долю листа.

Тем временем, в 1773 г., по настоянию Синода, был выпущен в свет

8) *Церковный словарь* [16]. Церковный лексикон, толкование старославен[ских] слов, которые встречаются в славен[ском] переводе Библии и в других старых церковных книгах, коих в России оказалось неожиданно большое число; составлен московским протоиереем Петром *Алексеевым*, печат[ан] опять же при Московском университете, в бол[ьшую] восьмую

---

[10] Волчков, Сергей Саввич (1707—1773) — секретарь и переводчик Петербургской Академии наук.

[11] Имеется в виду основанное при Петербургской Академии наук Собрание старающееся о переводе иностранных книг на российский язык (1768—1783). Его участниками были видные писатели и ученые той поры: П. П. Богданович, С. И. Гамалея, П. Б. Иноходцев, Я. Б. Княжнин, Н. Я. Озерецковский, А. Н. Радищев, В. Г. Рубан, А. С. Шишков и др. Собрание перевело 112 сочинений.

[12] Волков, Борис — академический переводчик середины XVIII в.

долю листа. За этим изд[анием] последовало *Дополнение* 1776 г. и *Продолжение* 1779 г. Все три книги по 396, 290 и 324 с[траниц] каждая. Кто поверит, что здесь не явлено ни малейшего следа знания греческого языка? Ведь известно, что русс[кая] церковь заимствовала у греч[еской] все свои богослужеб[ные] слова. Сколь необходимо было бы здесь провести сравнение почти каждой страницы хотя бы с Дюканжем [13].

Следующее десятилетие 1780—1790 годов, после того как Гёльтергоф проложил пути в области этимологических, а также и алфавит[ных] разработок, было для русс[кой] лексикографии более благоприятным. В 1780 г. придворный и академ[ический] книготорговец в Петербурге Вейтбрехт [14] объявил об издании *Французско-русского* словаря, который должен был состоять из 4, частей в бол[ьшую] четверть листа, и стоить подписчикам 10 рублей. Одновременно он обещал выпустить три других громадных труда: *Немецко*-русский, *Русско*-немецкий и *Русско*-французский словари. Однако вышли лишь две части первого сочинения, до бук[вы] К, под названием:

9) *Французско-русский* словарь, составленный на основе словаря Французской академии, для императорских учебных заведений, возглавляемых ⟨...⟩ г. *Бецким*, издан обществом литераторов, 684 стр., по два столбца на каждой, 1780.

Вторая же часть L — Z, 693 стр., появилась лишь в 1786 г. Вейтбрехт более не значится издателем, даже заглавие приобретает несколько иной вид (как выше, ном[ер] 4): *Полный* французско-русский словарь, составленный по *последнему* изданию Словаря Французской академии обществом литераторов. И никаких других указаний касательно всех этих изменений, кроме того, что данное продолжение напечатано в имп[ераторской] типографии в Петербурге. О трех других обещанных сочинениях не было даже речи.

В лучшем положении оказался в это же самое время

10) *Российский* с немецким... *словарь*... Русс[кий] словарь, с немецким и француз[ским] переводом, надворного сов[етника] Иоганна Нордстета; издан и прекрасно напечатан Шнором в Петербурге, 1780 и 1782, 886 стр., в бол[ьшую] четверть листа, на каждой по два столбца; цена для подписчиков 5 рублей. Еще и поныне этот словарь является самым полным и наиболее подходящим для иностранцев, которые желают научиться по-русс[ки] не писать, но понимать. И вот в Ригу приезжает Гарткнох [15] и издает:

11) *Российский* лексикон по алфавиту. Русско-немецкий лексикон в алфав[итном] порядке. Одновременно он выпускает Немецко-русс[кий] словарь, также по алфавиту. Тот и другой составлены Як[обом] Родде, секретарем и переводчиком при магистрате в Риге, оба в 1784 г. (однако под предисловием стоит еще 1781 г.), первый в 418, второй в 758 стр[аниц], в бол[ьшую] восьмую долю листа.

К этому времени вышел

12) *Краткий Словарь Славянский* ⟨...⟩ . Славенский словарь, 1784, печат[ан] при двор[янском] Сухопутном Кадетском корпусе в Петербурге, при котором авт[ор] оного Евгений состоял тогда иеродьяконом; 127 стр., в восьмую долю листа. Супротив славен[ских] слов помещен перевод на новорусс[кий] язык. В начале книги — краткая, но очень толково изложенная славен[ская] грамматика, и изъяснение все еще употребительных и часто встречаемых в церковной печати сокращений.

В 1783 году, 21 окт[ября] была учреждена Российская Академия с 64 членами из раз[личных] сословий. Президентом ее стала княгиня *Дашкова*. Эта деятельная дама сочла, что первым делом новой Академии должно явиться осуществление проекта, к которому часто приступали, но выполнить который никогда не удавалось, и объединенными усилиями членов

---

[13] Дюканж, Шарль (1610—1688) — французский историк и лексикограф, знаток классических языков.

[14] Вейтбрехт, Иоганн Якоб (1744—1803) — известный книготорговец в Петербурге.

[15] Гарткнох, Иоганн Фридрих (1740—1789) — книготорговец в Риге, издатель сочинений Канта и Гердера.

Акад[емии] выпустить более полный Славенско-русский словарь. Этим словарем является

13) вышеобозначенное большое сочинение, 6 томов которого были завершены в течение 6 лет. Это поистине подарок своему народу: ибо все в нем русское, слова (за исключением лишь натуралиев, см. ниже) и выражения объяснены не иначе, как только через русс[кие] же синонимы или описания. Однако любой ученый иной славен[ской] нации сможет много почерпнуть из этой общей сокровищницы языка для своего поч[тенного] наречия, ежели только он пожелает взять на себя необременительный труд выучиться читать по-русски. План, коему следовали в этой работе, изложен в предисловиях, особенно к первому и второму томам. Расположение — этимологическое; все производные и составные приведены под их корневыми словами. Бесспорно, наиболее удачным является расположение в части древних языков, таких, как славен[ский], немецкий и др., чего нельзя сказать относительно прочих, которые, как, например, француз[ский], и др., возникли лишь в результате порчи и смешения нескольких языков. Тем читателям, что встретят затруднение в поиске корневого слова какого-либо производного или составного, поможет полный алфавит[ный] список, помещенный в конце каждого тома.

Но словарь отнюдь не ограничивается одним только новорусским языком; в него вошло также большое число чисто старославен[ских] слов из перевода Библии, многих церковных книг и даже (правда, меньше) из старых хроник. Не исключались и иностранные, но русифицированные слова: так, в самом начале сразу наталкиваемся на слова *адмирал*, *актуариус*, *акустика*, *акцыз*. Иные немецкие слова из их числа благодаря русс[кой] орфографии стали неузнав[аемыми] для самих немцев (напр[имер], Гзымз. Gesims). Включено было также множество выражений и пословиц, коими неисчерпаемо богат народ,— но все это в рамках определенных ограничений.

Из собственно сотрудников, притом добровольных, между которыми была распределена работа, в предисловии ко второму тому названы 38. Среди них немало архиепископов, епископов и других лиц духовного звания, ряд сиятельных особ, «их превосходительств» и профессиональных ученых; в последующие годы добавилось еще несколько человек. Сначала решено было сделать алфавитный перечень всех славенско-русс[ких] слов, тогда сотрудники распределили буквы между собой, даже президент взял 3 буквы. И эти перечни при печатании были утеряны. После Академия стала проводить регулярные заседания, посвященные выбору, этимологическому расположению и толкованию этих слов (особ[енно] тех, которые относятся к наук[ам] и искусствам). Последним вопросом занимались 6 членов Акад[емии] нау[к]: г-н *Румовский*, имеющий, помимо того еще и выдающиеся заслуги во всем этом труде, взял на себя математические и астрономические, г-н *Лепехин* — естественноисторические, четверо других — технолог[ические], медицинские и пр[очие] технические термины, каждый сообразно своему предмету. Натуралии из всех трех царств природы (т. е. животного, растительного и минерального.— *В. О.*, *М. Ф.*) имеют не только обязательные латин[ские] обозначения по Линнею, но, сверх того, описаны еще и по всем правилам, зачастую обстоятельно и с особыми пометами касательно их употребления. Это сделано даже и в отношении тех существ, которые не являются принадлежностью русс[кой] природы, напр., Elefant (слон), Strauss (струф) и т. д. (В «*Католиконе*» Шмидлина [16] это порицалось всеми как излишество). Труд сей заслуживает похвалы также и за то, что над всеми словами проставлены знаки ударения, ибо к ударению русс[кий] разговорный язык удивительно чуток. Справедлива, но вместе с тем мало известна высказанная в пред[исловии] мысль, что славен[ский] язык, в том виде, в каком он еще сохраняется у русских, своим богатством, своей силой, великолепием и гибкостью чрезвычайно многим обязан греческому... Как мало приобрели наши язы-

---

[16] Имеется в виду «Католикон, или универсальный словарь французского языка» И.-И. Шмидлина, вышедший в семи томах в Гамбурге (1772).

ки в смысле своего строя, от латинского, на котором нам столь долго пришлось молиться!

После этой первой, патриотической, многотрудной, но все-таки удавшейся попытки литература ожидает появления, быть может в близком будущем, всеобщего Славенского глоссария, ⟨. . .⟩ Такое вполне возможно, если бы в России появилась вторая *Дашкова*, которой бы удалось объединить трех ученых, обладающих совершенно различными, но необходимыми для этого познаниями: одного, знакомого с визант[ийской] и прежде всего с греч[еской] церковной историей средневековья, другого, знающего 6 остальных славен[ских] главных наречий, третьего, кому ведомы ⟨. . .⟩ древние славен[ские] летописцы, каковых имеет одна только Россия.

Позже, в 1796 г., надворный сов[етник] и проф[ессор] в Москве, г-н Иог[анн] Гейм [17] предпринял большой труд, подобный Вейтбрехтову ном[еру] 9·

14) «Новый полный словарь, первое отделение, содержащий немецко-русско-французский словарь; первая часть А—К». Печатан в Москве, 1796, в среднюю часть листа, 663 страницы, на каждой два столбца; издан Ридигером и Клаудием [18]; составлен по большому Аделунгову словарю [19]. Согласно предисловию, вторая часть L—Z должна была выйти уже к рождеству 1796 г., а после пасхи 1797 г. — два других словаря в нескольких томах: Русско-немецко-французский и Французско-русско-немецкий. Были ли выполнены эти обещания и вышла ли, по крайней мере, вторая половина первого сочинения, или же этот проект, как и Вейтбрехтов, именно в силу своей грандиозности не удался и в этот раз, рец[ензенту] неизвестно [20]. Не попадались ему пока на глаза и словари, упомянутые г-ном Геймом в предисловии: анатомический, минералогический и ботанический.

15) Украинский Идиотикон 1798 г., состоящий всего лишь из 24 страниц, уже упоминался в нашем журнале за этот год, стр. 351 [21].

(Две брошюры, вышедшие по случаю вступления русских в Германию в 1799 г.: «Алфавитный рубрикон крайне необходимых русских слов, речений и чисел, каковые должны произноситься на немецкий манер, с обозначением долготы и краткости звуков», в Аугсбурге, 6 листов в четверть, и «Собрание самых необходимых русских слов с французским произношением (⟨...⟩ для господ дворян корпуса *Конде*)» [22], Регенсбург, 8 листов в восьмую долю, столь убоги по содержанию, что не достойны вообще никакого упоминания, не говоря уже о бесчисленных опечатках, которыми пестрит каждая страница).

Вот какого труда стоило создать словари одного из важнейших языков мира! Если бы господа авторы, издатели и директора при осуществлении предприятий такого рода изучили историю литературы, ⟨...⟩ то все это произошло бы на 50 лет раньше ⟨...⟩ [23].

ЛИТЕРАТУРА

1. Новые ежемесячные сочинения, 1793, сентябрь, ч. 86.
2. Göttingenische Anzeigen von gelehrten Sachen. 1801, Bd. 2, S. 1463—1472.
3. Архив АН СССР, ф. 8, оп. 3—1795, № 6, л. 1.

---

[17] Гейм, Иван Андреевич (1759—1821) — лексикограф, историк, статистик. Профессор и ректор Московского университета.

[18] Владельцы университетской типографии.

[19] Имеется в виду «Опыт критико-грамматического словаря верхне-немецкого наречия» известного немецкого лингвиста и историка И.-Х. Аделунга, который издал свой пятитомный труд в 1774—1786 гг. в Лейпциге.

[20] Позже И. Гейм выпустил в свет «Новый российско-французско-немецкий словарь» (М., 1799—1802).

[21] Шлецер имеет в виду небольшой украинский словарик, приложенный к сочинению И. Котляревского «Енеида на малороссийский язык перелицованная» (СПб., 1798).

[22] Имеется в виду разговорник, выпущенный для офицеров — французских эмигрантов, служивших в корпусе принца Конде. В 1797—1799 гг. в составе русской армии корпус Конде принимал участие в военных действиях против Франции.

[23] Шлецер приступил к изучению славянских языков в 1763 г. [см. 17] и уже, видимо, тогда ощутил потребность создания полного словаря русского языка, а также сравнительного словаря славянских языков.

4. *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. Т. 1. СПб., 1904, с. 246.
5. *Иконников В. С.* Август Людвиг Шлецер. Киев, 1911.
6. *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 2. Л., 1965, с. 231—242.
7. *Виноградов В. В.* История русских лингвистических учений. М., 1978, с. 209—211, 292.
8. *Истрин В. А.* Развитие письма. М., 1965, с. 258—318.
9. Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. М., 1962, с. 218.
10. Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., 1966, с. 202.
11. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе при имп. Академии наук печатию издан. СПб., 1731.
12. Христофора Целлярия Краткий латинский лексикон с российским и немецким переводом, для употребления Санкт-Петербургской гимназией. СПб., 1746.
13. *Макеева В. Н.* История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М.— Л., 1961, с. 30.
14. Российский Целлариус, или этимологический российский лексикон, купно с прибавлением иностранных в российском языке во употребление принятых слов, также с сокращенною российскою этимологиею изданный магистром Франциском Гелтергофом... М., 1771.
15. Российский лексикон по алфавиту, с немецким и латинским переводом, изданный Франциском Гелтергофом..., М., 1778.
16. Церковный словарь, или Истолкование речений словенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах... М., 1773.
17. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная.— Сб. ОРЯС, 1875, т. XIII, с. 108.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ИСАЕВ М. И., ТОКАЗОВ Х. А.

ОСЕТИНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЗАДАЧИ

Осетинское языкознание достигло вполне зрелого, двухвекового возраста. С этой вершины можно окинуть его взглядом, чтобы наметить основные вехи осетиноведения и указать на перспективные пути его дальнейшего развития.

Со времени появления первых значительных сведений об осетинах и их языке (конец XVII в.) ученые не прекращают своих занятий в области осетинского языка. Не прерывается и преемственная традиция в их работах.

Историю осетиноведения можно разделить на четыре основных этапа, три из которых приходятся на дореволюционный период, а последний, наиболее содержательный, охватывает советскую эпоху.

Первый, начальный этап осетиноведения характеризуют сведения об осетинах и их языке, имеющиеся в сочинениях путешественников XVII—XIX вв.: Николаса Витсена Иоганна Антона Гюльденштедта, Якоба Рейнеггса, Юлиуса фон Клапрота [1]. Значение их сочинений заключается в том, что они зафиксировали языковой материал определенной исторической эпохи, изучение которого важно для истории такого по существу младописьменного языка, каким является осетинский.

Что касается начала подлинно научного изучения осетинского языка, то оно связано с именем русского академика Андрея Шегрена (1794—1855), чей классический труд «Осетинская грамматика (с кратким словарем осетинско-российским и российско-осетинским)» [2] составил целый период (второй этап) в истории осетиноведения. Основоположник осетинского языкознания А. М. Шегрен, являвшийся также одним из крупнейших финноугроведов XIX в., начал заниматься осетинским языком в середине 30-х годов XIX в. Ученый провел на Кавказе около двух лет. Его занятия осетинским языком проходили не только во Владикавказе, но и во многих аулах и селениях Осетии. Сначала А. Шегрен исследовал иронский (в его терминологии — «тагаурский») диалект, затем дигорский.

Ученый благодаря интенсивным занятиям в совершенстве усвоил осетинский язык по двум основным диалектам: иронскому и дигорскому. Собрал по ним колоссальный языковой материал, вошедший в его «Осетинскую грамматику», вышедшую из печати в 1844 г.

Грамматика А. Шегрена, ставшая ныне библиографической редкостью, представляет собой большой том в 380 страниц. В книге подробнейшему анализу подвергаются все стороны языка: фонетика, морфология, синтаксис. При исследовании фонетики осетинского языка Шегрен уделил большое внимание вопросу об осетинском алфавите, который не раз ставился еще до него, но так и не получал удовлетворительного решения. Проблема осетинского алфавита была решена А. Шегреном, который в своей Грамматике предложил алфавит, основанный на русской гражданской азбуке. Как объясняет сам автор, он остановил свой выбор на последнем, главным образом принимая во внимание «будущую судьбу осетин». В этом большая заслуга А. Шегрена, правильность решения которого подтвердило и последующее развитие осетинского алфавита.

Используя несколько усовершенствованный алфавит Шегрена, великий осетинский поэт Коста Хетагуров (1859—1906) заложил основу осетинской литературы и осетинского литературного языка. Определенное удовлетворение результатами своего труда получил и сам автор. «Я имел

удовольствие,— писал он,— оставить Кавказ с тем внутренним убеждением, что успел сделать все, что мне было только возможно, и в исходе 1837 года возвратился в Петербург, совершенно лишенный зрения на поврежденном глазе и почти с отмороженными от жестокой зимы на обратном пути конечностями, но обогащенный изобильными и по возможности достоверными материалами к пространному грамматическому изложению осетинского языка по двум его наречиям, тагаурскому и дигорскому» [2, с. с. XIII—XIV].

Как показал дальнейший ход истории, целый ряд не только научных, но и практических вопросов развития осетинского языка решены были акад. А. Шегреном правильно. Это прежде всего относится к вопросу становления осетинской письменности. Высоко ценили прогрессивные представители осетинской интеллигенции тот огромный вклад, который внес в развитие культуры осетин А. Шегрен. Например, на большое значение «Осетинской грамматики» указывал замечательный революционный поэт и выдающийся публицист Георгий Цаголов, современник Коста Хетагурова. Он писал, что по справедливости А. Шегрен «должен считаться отцом современного осетинского алфавита», что «по его грамматике изучало свой родной язык старшее поколение осетинской интеллигенции» [3].

Ценность «Осетинской грамматики» А. Шегрена и ныне состоит, в частности, в том, что это наиболее полный и своеобразный памятник осетинского языка середины XIX в., содержащий разнообразный диалектный материал, столь необходимый для исторического изучения языка.

Третий период в истории изучения осетинского языка мы называем «миллеровским этапом», этапом всестороннего изучения осетин, этапом начала исторического и сравнительно-исторического исследования их языка.

Русский академик Всеволод Федорович Миллер (1848—1913) был «вторым корифеем осетинского языкознания», как называет его В. И. Абаев [4]. Являясь одним из крупнейших представителей русской гуманитарной науки конца XIX и начала XX в., он интересовался широким кругом научных дисциплин: сравнительное языкознание и мифология, иранистика и кавказоведение, этнография и археология, история, литература и фольклор. Во всех этих областях он оставил глубокий след своими превосходными исследованиями. Вместе с тем в центре внимания выдающегося ученого была арийская (индоиранская) ветвь индоевропейской семьи языков, научные изыскания в области которой закономерно привели его к иранским языкам народов России. Особую ценность среди них для компаративистики, как известно, представляет осетинский язык. Интерес В. Ф. Миллера к этому языку усугублялся еще и тем обстоятельством, что уже тогда выявилась преемственная связь его носителей с сарматами и скифами, а также аланскими племенами средневековья.

В. Ф. Миллер занимался осетинским языком в основном в самой Осетии, первую поездку куда он совершил в 1879 г. На месте «полевым способом» был собран обширный языковой материал, послуживший основой для первой части его известных «Осетинских этюдов». Для углубления своих познаний в осетинском языке и сбора нового материала ученый приезжал в Осетию в 1880 и 1881 гг. Следующие две поездки на Кавказ состоялись в 1885—1886 гг. В процессе своих пяти поездок на Кавказ В. Ф. Миллер изучал языки, этнографию, фольклор и историю различных народов. Много работ написано им и по кавказским языкам. В то же время основной интерес ученого был связан с осетинами и их языком. Главным трудом В. Ф. Миллера не зря считаются его «Осетинские этюды» (ч. 1 — 1881, ч. 2 — 1882, ч. 3 — 1887), появление которых было выдающимся событием не только для осетиноведения, но и для иранистики в целом. С опубликованием «Этюдов» иранское и, шире, индоевропейское языкознание пополнилось исключительно важными сведениями о происхождении, становлении и структуре такого архаического языка, как осетинский. В этой связи характерно, что труды Миллера получили самую высокую оценку среди его коллег во всем мире.

Исследования Миллера по осетинскому языку в основном носят диахронический характер. Среди них следует выделить «Осетинско-русско-немецкий словарь», к составлению которого ученый приступил с самого начала своей осетиноведческой деятельности. Особую ценность своего лексикологического труда автор видел главным образом в двух основополагающих принципах. Во-первых, словарь должен охватывать материал обоих осетинских диалектов — иронского и дигорского. Это исключительно важно, так как расхождения между ними исчисляются несколькими тысячами лексем. Поэтому, разумеется, материал ни одного из диалектов не мог быть достаточно репрезентативным. Кроме того, у осетин в то время еще не существовало литературного языка, в становлении которого важную роль должна была сыграть лексика каждого из диалектов.

Во-вторых, словарь, по мнению Миллера, должен быть трехъязычным ввиду особой ценности осетинского языкового материала для индоевропейского сравнительно-исторического языкознания.

К сожалению, работа над Словарем затянулась, и позднее, из-за чрезвычайной занятости, Миллер уже не смог уделить ей необходимого времени, в результате чего словарь после смерти автора остался в рукописи (около 8000 карточек), которая поступила вместе с библиотекой Миллера в Азиатский музей Академии наук.

Издание «Осетинско-русско-немецкого словаря» было осуществлено чл.-корр. АН СССР А. А. Фрейманом, благодаря усилиям которого все три тома увидели свет (т. I — 1927 г., II — 1929, III — 1934).

К изучению истории и языка осетин В. Ф. Миллер приступил с конкретной программой: «Мы предполагаем,— писал ученый,— издать ряд материалов и исследований, имеющих целью изучение языка осетин, их эпических сказаний, религиозных воззрений и их прошлого... Какая судьба загнала осетин в нынешние места их поселения, какое воспоминание сохранили они о своем прошлом, какие сведения сохранились о них в исторических документах, каков склад их жизни, каковы их религиозные воззрения, какое место занимает их язык в группе иранских языков, каков современный его строй, на какие наречия он распадается, каковы произведения осетинской поэзии — вот вопросы, которые занимали нас в наших занятиях и на которые мы по возможности старались дать ответ» [5]. Эта впечатляющая программа была реализована в многочисленных трудах ученого, среди которых особое место занимают его «Осетинские этюды», справедливо названные В. И. Абаевым «своего рода энциклопедией осетиноведения». Давая общую оценку трудам В. Ф. Миллера, следует учитывать, что, во-первых, в них окончательно установлен иранский характер осетинского языка, определено его место среди индоевропейских языков вообще и среди их иранской ветви в частности; во-вторых, материал осетинского языка введен в русло сравнительного индоевропейского и иранского языкознания; в-третьих, своими трудами В. Ф. Миллер построил твердый фундамент истории осетинского языка, а также древней истории осетин, осетинской этнографии и фольклористики. К этому надо добавить, что языковой материал, зафиксированный в трудах ученого (особенно тексты), представляет большую ценность для последующих исследований языка, этнографии и устного народного творчества осетин.

Разумеется, отмеченные достижения стали возможными прежде всего благодаря превосходным личным качествам В. Ф. Миллера-исследователя. Он получил хорошую подготовку филолога и лингвиста, глубоки были его познания в санскрите и Авесте, а также в новых иранских языках. Ученый отличался исключительным трудолюбием. Успехам В. Ф. Миллера способствовали и другие, объективные, факторы. Дело в том, что ко времени его занятий осетинским языком (80-е годы XIX столетия) индоевропейское и иранское сравнительно-историческое языкознание достигло уже довольно высокого уровня развития. Исследовательские методы этой дисциплины были уже в достаточной степени отработаны на материале других индоевропейских языков.

Таким образом, задача глубокого сравнительно-исторического изучения осетинского языка, которая была невыполнима во времена Шегрена,

стала осуществимой спустя полвека. Но для этого нужны были определенные личные качества ученого, которыми в столь высокой мере был наделен академик В. Ф. Миллер, чьи труды подняли осетиноведение на огромную высоту, составив новый этап, этап начала исторического и сравнительно-исторического изучения осетинского языка, этап всестороннего изучения осетинского народа.

Четвертый, советский этап осетиноведения также можно характеризовать рядом специфических особенностей. Так, прежде всего бросается в глаза огромное количество появившихся за годы Советской власти осетиноведческих работ (оно в десятки раз превышает число работ, вышедших до революции). Другая особенность данного этапа — отпочкование более специальных научных дисциплин, что, несомненно, служит признаком зрелости всякой науки вообще.

Первоначально происходит размежевание истории и филологии осетин. Вслед за этим определенную «автономию» получает внутри истории осетин этнография. Одновременно осетинская филология распадается на две дисциплины: языкознание и литературоведение. Далее наблюдается определение фольклористики в качестве самостоятельной научной дисциплины, которая занимает, однако, стыковое положение между этнографией, литературоведением, а также языкознанием.

Одновременно с увеличением числа осетиноведов в самой Осетии различные проблемы осетинского языка продолжают изучать также в Москве, Ленинграде и Тбилиси, а также в некоторых научных центрах за рубежом.

Характерная особенность нынешнего периода развития осетиноведения заключается и в том, что его стержень и сердцевину составляют многочисленные труды замечательного советского ученого-лингвиста Василия Ивановича Абаева, которому в этом году исполняется 85 лет (именно этой юбилейной датой навеяна главным образом данная статья).

В результате долголетней и неутомимой исследовательской работы В. И. Абаев внес существенный вклад в разные области советского языкознания — теорию этимологических и историко-лингвистических исследований, иранское и индоевропейское языкознание. Но особенно много сделано ученым в области всестороннего изучения осетин [см. 6]. В осетиноведческих трудах Абаева глубокому исследованию подвергаются все основные проблемы осетинской грамматики и лексикологии, а также Нартские сказания.

Ученый с самого начала своего научного пути уделяет большое внимание вопросам осетинской фонетики. В ряде его трудов мы находим детальную разработку закономерностей такого сложного явления, как осетинское ударение. В основе успеха работ исследователя лежит открытие им в осетинском языке так называемого фразового ударения. Эти работы ученого имеют важное значение и для литературоведов, так как являются надежной базой дальнейшего изучения некоторых вопросов стихосложения. В. И. Абаев окончательно устанавливает наличие в осетинском не трех, а четырех рядов смычных (звонкие, глухие, смычно-гортанные и смычные «четвертого ряда»). В результате В. И. Абаев подтверждает и развивает положения, высказанные о последней группе фонем проф. Г. С. Ахвледиани. Тонкие наблюдения над смычными согласными дают ясную картину их возникновения и противопоставленности друг другу.

Из достижений В. И. Абаева в области осетинской фонологии следует указать также на его исследование смычно-гортанных. Опираясь на высказывания по этому вопросу, с одной стороны, В. Ф. Миллера, а с другой — Н. Я. Марра, В. И. Абаев изучил случаи употребления в осетинском языке смычно-гортанных фонем *къ*, *пъ*, *тъ*, *цъ*, *чъ*. Ученый показал на конкретном языковом материале, что смычно-гортанные не имеют в осетинском такого распространения, как в кавказских языках, и что «в период формирования осетинского языка они не составляли органического элемента его фонологической структуры. Они входили в язык вместе с кавказской лексикой и лишь постепенно в некоторые некавказские слова. Так как освоение их требовало известных усилий и сопровождалось

напряжением артикулирующих органов, то они стали охотно употребляться для выражения понятий физического усилия и для звукоподражаний соответствующего круга» [7, с. 524]. С ростом числа слов, содержащих смычно-гортанные звуки, последние стали приобретать смысло-различительное значение, т. е. превратились в фонемы осетинского языка.

Много нового можно найти в работах В. И. Абаева по морфологии осетинского языка. В частности, он уточнил системы падежей Шегрена—Миллера.

Много внимания Абаев уделяет осетинской диалектологии, что объясняется исторической направленностью большинства его осетиноведческих исследований. Продолжая линию своих предшественников Шегрена и и Миллера, Абаев во всех своих основных трудах параллельно изучает оба главных диалекта — иронский и дигорский, представляющих собой как бы два этапа эволюции одного и того же языка. «Неоценимой сокровищницей для историка осетинского языка,— пишет В. И. Абаев,— является в особенности дигорский диалект. Достаточно сказать, что в области фонетики и отчасти морфологии он отражает нормы, переходные от древнеиранских к современным иронским» [7, с. 360]. В этом плане трудно переоценить материал обоих диалектов не только для истории осетинского языка, но и для выяснения прошлого ряда других иранских языков.

В главном диалектологическом труде Абаева «Очерк расхождений иронского и дигорского диалектов» систематизируются, обобщаются и получают дальнейшее развитие положения А. Шегрена и Вс. Миллера по данному вопросу. Автор подвергает тщательному анализу грамматический строй и лексику обоих диалектов. Исследование ведется в сравнительно-историческом плане. К работе приложены тексты на обоих диалектах. Прилагаются также Словарь дигорско-иронских расхождений и Обратный иронско-дигорский указатель, что еще более повышает ценность работы, так как до сих пор нет еще дигорского областного словаря.

Почти полностью принадлежит В. И. Абаеву разработка проблемы кавказского субстрата в осетинском языке. Дело в том, что во времена В. Ф. Миллера осетинский язык рассматривался лишь в аспекте его иранской основы и его современное состояние выводилось исключительно из древнеиранского праязыка. Инородное влияние на язык осетин сводилось к внешним заимствованиям, которым уделялось незначительное внимание.

В трудах В. И. Абаева предложена новая концепция становления и исторического развития осетинского языка, согласно которой в качестве фактора, определяющего его характер, наряду с иранской основой, рассматривается кавказский субстрат.

Как известно, в ряде исследований 40—50-х годов В. И. Абаев обосновал теорию кавказского субстрата [8, 9]. В результате рассмотрения субстратных явлений в различных звеньях языка ученый пришел к ряду принципиальных выводов, основными из которых являются следующие:

а) в фонетике, морфологии и синтаксисе осетинского языка кавказский субстрат выступает как конструктивный элемент, а не как просто «заимствование»;

б) в лексике осетинского языка кавказский элемент вторгается в основной словарный фонд, что нельзя объяснить иначе, как на почве длительного двуязычия;

в) общенациональные элементы идут преимущественно по иранской линии, а диалектизмы — по неиранской. Это может свидетельствовать о том, что иранская речь играла роль межплеменного языка для тех микроэтнических групп, которые составляют кавказский субстрат осетинского народа.

Исследованиями В. И. Абаева в 60-е годы были значительно расширены горизонты понимания исторических путей становления осетинского языка.

Вскрытые в одном из его наиболее значительных трудов «Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада» факты привели ученого

к мысли об особой близости осетинского языка к языкам европейского ареала — славянским, балтийским, тохарскому, германским, кельтским. По ряду признаков — лексических, фонетических, грамматических — осетинский язык смыкается именно с этими языками, обнаруживая расхождения с иранскими.

По новой концепции В. И. Абаева, иранский элемент существовал на юге России по крайней мере с начала II тысячелетия до н. э. В дальнейшем эта общность распалась, часть составлявших ее племен двинулась на юг и на восток. Предки будущих скифских племен остались в Европе и в течение ряда веков находились в условиях контактного развития с народами средне- и восточноевропейского ареала. Отсюда и появление разносторонних скифо-европейских изоглосс [10].

Немаловажное значение имеет также предложенная В. И. Абаевым периодизация трехтысячелетней истории осетинского языка. Первый период охватывает I тысячелетие до нашей эры и называется «скифо-европейским». Второй период — «алано-кавказский» — простирается от первых веков нашей эры до монгольского нашествия. Третий период назван «новейшим» и начинается с XV в. Этот период, кроме прочего, характеризуется значительным снижением так называемого «престижного потенциала» осетинского языка, что накладывает свой отпечаток на характер его контактирования с другими языками [11].

Взгляды ученого по различным вопросам осетинской грамматики систематизированы в его «Грамматическом очерке осетинского языка», выдержавшем уже несколько изданий и положенном в основу двухтомного коллективного труда «Грамматика осетинского языка».

Из лексикологических трудов В. И. Абаева прежде всего назовем «Русско-осетинский словарь» (М., 1950), вышедший уже вторым, дополненным изданием (М., 1970). Эта книга явилась необходимым пособием для переводчиков, учителей, журналистов и других работников осетинской культуры. В словаре представлен многолетний опыт решения проблем осетинской синхронной лексикографии.

Однако основное направление лексикологической работы В. И. Абаева носит исторический характер, в связи с чем особо следует сказать о главном труде ученого — «Историко-этимологическом словаре осетинского языка» [12]. В этом обобщающем труде нашли отражение основные достижения автора в различных областях осетиноведения — фонетике и диалектологии, истории и грамматике, лексикологии языка, а также в нартоведении. Более того, Словарь впитал и то принципиально важное, что содержится в трудах Абаева по общетеоретическим проблемам языкознания.

Словарь В. И. Абаева общепризнанно принадлежит к числу незаурядных явлений в нашей филологической науке. Поэтому его сейчас трудно оценить по достоинству. Подобные фундаментальные труды проходят проверку временем. Но и в процессе появления первых томов специалистам стало ясно, что они имеют дело с выдающимся исследованием новаторского характера. Прежде всего это проявляется в принципах, положенных в основу Словаря.

Существующие этимологические исследования до сих пор опирались на три главных принципа — фонетический, морфологический и семантический, которые в общем обеспечивают значительную достоверность этимологий. Однако Абаев пошел намного дальше и в качестве нового важного принципа выдвинул необходимость учета так называемого «исторического контекста», т. е. реалий, учет которых нередко становится гарантом адекватных этимологических решений. Именно благодаря применению такого комплексного подхода к этимологии Абаеву удалось значительно повысить надежность устанавливаемых им историй слов, а порой исправить промахи, допущенные при объяснении происхождения слов. Скажем, известный норвежский иранист Г. Моргенстиерне давал этимологию названия осетинского летнего месяца *амистол*, разделяя это слово на *ами* и *стол*. Для первой части он находил авестийское соответствие со значением «лето», но для второй не нашлось никакого объяснения. Опираясь на реалии, В. И. Абаев предложил совершенно иную этимологию, возведя это слово

к русскому *апостол*, т. е. «месяц апостолов», на который действительно приходится праздник Петра и Павла (29 июня).

Как по основополагающим принципам, так и по построению словарь В. К. Абаева относится к работам новаторского характера. Так, в данном труде впервые в лексикологической практике совмещены элементы пяти разных словарей: двуязычного (осетинско-русского), документированного, этимологического, исторического и реального. Эти пять аспектов, как указывает сам автор, наилучшим образом способствуют выполнению задачи словаря: «Разработка истории осетинской лексики на широкой сравнительно-лексикологической базе; определение как исконного иранского наследия, так и равно субстратных и заимствованных элементов в словарном составе языка» [12, I, с. 5].

Работа над «Историко-этимологическим словарем осетинского языка», над созданием которого автор в одиночестве трудился более полувека, завершена. Из четырех томов три уже вышли в свет, а четвертый находится в печати. Выход каждого из томов восторженно встречен специалистами, о чем свидетельствуют рецензии и многочисленные письма автору от его советских и зарубежных коллег. «Дорогой Василий Иванович! — писал, в частности, чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин.— Великое спасибо Вам за третий том Вашего словаря! Вы один из немногих языковедов, который с полным правом может о себе сказать: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный". Хочется скорее увидеть окончание труда, нужного всем нам, живущим и будущим поколениям» [6, с. 59].

Существо этой образной оценки основного научного труда В. И. Абаева едва ли можно оспорить. Действительно, вслед за «Осетинской грамматикой» Шегрена и «Осетинскими этюдами» Миллера «Историко-этимологический словарь осетинского языка» становится третьей вершиной осетиноведения, значение которого простирается далеко, охватывая историческую лексикологию других иранских и даже многих индоевропейских, а также кавказских и других языков. Более того, немало ценного найдут в словаре Абаева также историки, этнографы и фольклористы. Несомненно и другое. С завершением этого капитального труда имя В. И. Абаева оказывается в едином ряду имен «корифеев осетиноведения», выдающихся отечественных ученых, академиков А. М. Шегрена и В. Ф. Миллера, с одной стороны, и среди наиболее выдающихся советских филологов-языковедов, с другой.

В ряде своих работ Абаев выступает и как литературовед. Им опубликовано около десяти статей, посвященных наиболее выдающимся осетинским писателям — Коста Хетагурову, Сека Гадиеву, Георгу Малиеву, а также отдельным теоретическим проблемам литературоведения. Методологическая продуманность, глубина анализа и выводов, блестящая форма подачи материала, вполне соответствующая содержанию — сделали эти работы основополагающими в осетинском литературоведении.

Многие теоретические обобщения сделаны ученым на материале иранских языков, чаще всего — осетинского. Однако в некоторых своих работах он выступает и как теоретик общего языкознания.

Так, еще в середине 30-х годов он пишет статьи: «Язык как идеология и язык как техника» [13] и «Еще о языке как идеологии и как технике» [14], которые имели большой резонанс в лингвистических кругах. В них автор, отдавая дань модному в то время и господствующему в языкознании марризму, по существу подверг глубокой ревизии концепцию самого «нового учения». «Мы,— писал Абаев,— не собираемся отнюдь обращаться в замкнутую секту, облюбовавшую себе особую область палеонтологии... Напротив, мы претендуем на всю область лингвистики без исключения. И учение о технизации является одним из выражений этой нашей претензии» [14, с. 7]. В период расцвета марризма, когда всю традиционную лингвистику называли «буржуазной» и отказывались от ее несомненных достижений, В. И. Абаев, непосредственный ученик Н. Я. Марра, отстаивал необходимость использовать все ценное, чего добились представители старой лингвистики. В то же время он стремился в своих работах выйти за рамки, определенные «новым учением» Марра.

Идеи вышеназванных теоретических работ получили дальнейшее развитие в конце 40-х годов. Так, в статье «Понятие идеосемантики» В. И. Абаев останавливается на вопросе о семантике слов, которая представляется ему в двух аспектах. С одной стороны, семантика как общеобязательный минимум смысловых функций, определяющий современное коммуникативное использование слова. Ее автор называет «малой семантикой», «сигнальной» или «технической». С другой стороны, выделяется семантика «как сумма тех сопутствующих познавательных и эмоциональных представлений, в которых отражается сложная внутренняя жизнь слова в его прошлом и настоящем, это — „большая семантика"» [15]. Ее автор называет также «идеосемантикой».

Для Абаева-теоретика характерно стремление к методологически четким обобщениям и формулировкам. Но прежде чем перейти к ним, он ищет точку опоры в марксистской диалектике. Его полемическим работам присуща острота и прямая постановка общетеоретических проблем. Известен Абаев как страстный пропагандист марксистской материалистической теории и идейной чистоты советской науки. В частности, он не раз выступал в защиту историзма как одного из основополагающих принципов научного познания. «Историзм,— говорит В. А. Абаев,— может оказаться той основной водораздельной линией, по которой пройдет размежевание между двумя главнейшими направлениями в развитии общественных наук вообще и языкознания — в частности. Отход от историзма характерен для большинства „модернистических" течений в зарубежной науке. Представители этих течений склонны третировать историзм как устарелый пережиток XIX столетия. Верно, что историзм — порождение XIX века. Марксизм — тоже детище XIX века, и, однако, не видно, чтобы он сколько-нибудь устарел» [16].

Как это нередко бывает в теоретических работах В. И. Абаева, ученый рассматривает конкретные лингвистические вопросы на широком социологическом и методологическом фоне. Существенным недостатком многих публикуемых дискуссионных статей по теоретическому языкознанию он считает как раз то, что в них лингвистические проблемы обсуждаются в отрыве от общей ситуации и идеологической борьбы нашего времени. «Борьба за человека и созданные им ценности,— пишет В. И. Абаев,— против уродливого поклонения силе и военному потенциалу — вот сущность современного гуманизма. Наш век оправдает себя, если он войдет в историю не только как век атома и космонавтики, но также как век гуманизма и духовного обновления. В противном случае и атом, и космонавтика неизбежно обернутся для человечества катастрофой и самоуничтожением. Техника — слепая сила, которая принесет жизнь или гибель в зависимости от того, будут ли зрячими или слепыми владеющие ею люди. Угрозу человечеству несет не атомная эра, а духовное состояние людей в атомную эру. Сделать людей духовно зрячими — такова задача гуманистического воспитания. И вот тут огромная ответственность ложится на науки, которые по самой своей природе призваны формировать идейный мир человека,— науки общественные. Специфика этих наук состоит, между прочим, в том, что в них *познавательные задачи неотделимы от идейно-воспитательных*. В наше время последние приобретают особое значение. Участие в гуманистическом воспитании людей становится важнейшим, если не решающим, моментом при оценке любой общественной науки. Антуан Сент-Экзюпери, замечательный французский писатель, очень хорошо сказал: „Быть человеком — значит сознавать свою ответственность". Мы бы добавили: быть гуманитарием — значит сознавать свою ответственность вдвойне» [17].

Именно со столь определенных мировоззренческих позиций подходит Василий Иванович к решению сложных общетеоретических проблем советского языкознания.

Говоря о многогранной деятельности Абаева-ученого, необходимо особо остановиться на его исследованиях в области фольклористики, точнее, нартского эпоса. И здесь он выступает продолжателем разысканий основоположника отечественного нартоведения В. Ф. Миллера. Ныне Абаев

считается общепризнанным главой советского нартоведения, в чьих трудах получили основополагающее освещение все узловые вопросы нартского эпоса, распространенного наряду с осетинами у ряда других народов, главным образом, адыгских и нахских.

Думается, что вся глубина анализа проблем эпоса, проведенного Абаевым, до сих пор не вполне оценена по достоинству, а некоторыми авторами и не понята. Об этом свидетельствуют, в частности, поверхностные «споры» с Абаевым, к которым прибегают в отдельных книгах их авторы, не затрудняющие себя изучением самого материала, а пользующиеся цитатами из различных работ.

Наш рассказ об Абаеве-ученом не будет сколько-нибудь полным, если не отметить, какое большое значение он придает языку и стилю своих публикаций. В. И. Абаев проявляет тончайшее чувство как родного, осетинского, так и русского языка. Стиль его работ служит предметом глубокого восхищения не только «рядовых» читателей, но и многих его коллег-ученых. Так, один из крупнейших советских иранистов проф. Б. В. Миллер (сын академика В. Ф. Миллера) в связи с юбилеем Василия Ивановича писал: «В заключение отмечу, что все работы нашего талантливого юбиляра написаны прекрасным, свободным и красивым русским языком, которым он владеет лучше многих русских лингвистов! Да и не удивительно! Ведь он сын одаренного осетинского народа! Вспомним Коста Хетагурова, тоже замечательно владевшего русским языком!» [6, с. 130].

Личность Абаева-ученого примечательна и во многих других отношениях. Например, хорошо известна его научная добросовестность. Это сказывается и в том, что он всегда дает точную ссылку на работы своих предшественников и коллег. В его историко-этимологическом словаре немало указаний даже на устные источники тех или иных сведений.

Известны также научная принципиальность, исключительное трудолюбие и несокрушимая воля ученого. Именно сочетание этих личных качеств позволило В. И. Абаеву совершить тот научный подвиг, каковым является его бескорыстное служение науке на протяжении шестидесяти пяти лет.

Партия и правительство высоко оценили заслуги В. И. Абаева перед советской наукой — он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями, а также Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР; он лауреат Государственной премии СССР 1981 года.

Особенно велик вклад В. И. Абаева в дело культурного строительства в Осетии, что также не раз отмечалось правительством СО АССР. Так, в дни 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции (1957) ему присуждено почетное звание заслуженного деятеля науки Северо-Осетинской АССР. Весьма характерно, что первым лауреатом премии СО АССР им. К. Хетагурова стал именно В. И. Абаев (1965). Ему присуждено также почетное звание заслуженного деятеля науки Грузинской ССР.

Заслуги В. И. Абаева высоко оценены также за пределами нашей страны. Об этом свидетельствует избрание его действительным членом Азиатского Королевского общества Англии (1969) и членом-корреспондентом Финно-угорского общества в Хельсинки (1973).

Имя В. И. Абаева исключительно популярно среди советских ученых-гуманитариев, прежде всего лингвистов, затем историков, философов, этнографов, литераторов. Характерно, что воздают должное глубине его научных познаний и аргументации даже те коллеги, которые не всегда разделяют его взгляды. Велико уважение к ученому среди научной интеллигенции народов нашей страны, отдельными вопросами истории, культуры и языков которых он занимался. Но особенное уважение и трогательную любовь к Абаеву проявляет осетинский народ, который обнаруживает в нем многие сходные черты с другим своим великим сыном — Коста Хетагуровым. И это неудивительно, ведь Васо Абаев (как любовно называют ученого на родине) весь свой яркий талант, всю свою могучую энергию исследователя, всю свою пламенную любовь, всего себя

посвятил изучению и дальнейшему развитию истории, культуры и языка скифов—алан—осетин!

Судьба Абаева — выходца из горской бедноты, достигшего высочайших вершин современной науки — является убедительным свидетельством того, какие возможности открыты в нашей стране перед представителями всех национальностей для раскрытия их творческих способностей и таланта. Вместе с тем она говорит о том, что путь к вершинам науки не усеян розами, а сопряжен с необходимостью проявления воли, принципиальности и исключительного трудолюбия.

Труды А. Шегрена, В. Ф. Миллера и В. И. Абаева составили прочный фундамент осетиноведения, в развитие которого немалый вклад внесли и вносят также другие ученые.

Много лет посвятил исследованию осетинского языка один из крупнейших советских иранистов чл.-корр. АН СССР проф. А. А. Фрейман, подготовивший к печати «Осетинско-русско-немецкий словарь» В. Ф. Миллера. Отдельные вопросы языка освещены в его других иранистических работах. Значительны заслуги А. А. Фреймана как руководителя иранской кафедры Ленинградского университета, подготовившей немало специалистов-языковедов из числа осетин.

Различные аспекты осетинского языка затрагивает в своих работах проф. Ленинградского университета чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбов. Ленинградский иранист В. С. Соколова впервые в советской науке опубликовала работы по осетинской фонетике, основанные на экспериментальном изучении звуков речи [18]. Эти исследования послужили надежной базой для дальнейших занятий осетинской фонологией. Проблемами осетинской эпиграфики успешно занимается проф. Г. Ф. Турчанинов.

Значительный вклад в изучение осетинской фонетики внес проф. Тбилисского университета чл.-корр. АН СССР Г. С. Ахвледиани [19]. Опираясь в основном на речь южных осетин, Г. С. Ахвледиани в своих работах исследует вопросы истории, фонетики и диалектологии осетинского языка. Немало сделано им и для подготовки осетиноведческих кадров. Заслуги Г. С. Ахвледиани в области осетинского языкознания высоко оценены правительством и общественностью Осетии, что выразилось, в частности, в присвоении ученому почетного звания заслуженного деятеля науки Северо-Осетинской АССР.

В Тбилиси активно работает группа его учеников — М. К. Андроникашвили, О. Г. Тедеева и др.

После Великой Октябрьской социалистической революции в Осетии наблюдается рост национальных научных кадров, занимающихся изучением своего языка, фольклора, истории и этнографии края. Историческим событием в культурной жизни осетин явилось открытие в 1925 г. Осетинского научно-исследовательского института краеведения, который, как и Педагогический институт в г. Орджоникидзе, развернул широкую подготовку национальных кадров.

У колыбели осетинской филологической науки суждено было стать старейшим осетинским профессорам Б. А. Алборову, Гр. А. Дзагурову, О. Н. Туаевой и некоторым другим энтузиастам, благодаря научной и научно-организаторской деятельности которых во многом стали возможными позднейшие успехи осетиноведения.

Другая сфера деятельности, выпавшая на долю первых национальных кадров осетиноведения,— это всемерное служение делу культурного строительства Осетии. Всенародная социалистическая культурная революция потребовала срочного составления учебников, развития письменности, словарной и терминологической работы. Большая и незамедлительная филологическая помощь требовалась также молодым осетинским писателям. Кроме повседневной культурно-организаторской деятельности, осетинские филологи вели большую научную работу.

В первые десятилетия Советской власти по различным вопросам осетинской филологии были написаны десятки работ, печатавшихся главным образом в «Известиях Северо-Осетинского НИИ», «Ученых записках Северо-Осетинского государственного пединститута» и «Известиях Юго

Осетинского НИИ». После реорганизации Осетинского научно-исследовательского института в 1930 г. и образования в нем специального отделения осетинского языка лингвистическая работа в Осетии получили новый импульс. Расширяется деятельность филологов и по другим линиям: созданию учебников, терминологической работе и т. д.

Заметный рост осетинского языкознания наблюдается в послевоенный период. Наряду с названными выше первыми осетинскими учеными к исследовательской работе подключились их бывшие ученики Б. Б. Бигулаев, К. Е. Гагкаев, Н. К. Багаев, Н. Х. Кулаев, а позднее также А. Дз. Цагаева, Т. А. Гуриев, Т. З. Козырева, З. С. Тлатова, А. А. Гутиева и др. Осетиноведение обогащается книгами по различным проблемам языкознания, истории осетинского письма, школьными и описательными грамматиками, словарями, по отдельным разделам осетинской грамматики и т. д. В Юго-Осетинской АО изучением осетинского языка занимались или занимаются А. А. Тибилов, Д. Г. Бекоев, А. Х. Бязров, Н. Я. Габараев, З. Д. Цховребова, З. А. Битарова, Ф. Д. Техов и др. Они успешно разрабатывают различные вопросы истории, структуры, диалектологии и развития осетинского языка.

Определенный вклад внесли в разработку осетинского языкознания и наши зарубежные коллеги. Среди них прежде всего можно назвать имена известных венгерских ученых Б. Мункачи, Я. Гарматты и Ю. Немета, норвежских лингвистов Г. Моргенстиерне, Г. Фогта и Ф. Тордарсона, английских иранистов Г. Бэйли, И. Гершевича и Е. Моррисон, виднейшего французского кавказоведа Ж. Дюмезиля, иранского ученого М. А. Касеми и др. Отдельные вопросы осетиноведения затрагивают Л. Згуста, а также К. Боуда, Е. Леви, Д. Герхардт и некот. др. [подробнее см. 20].

Достигнутый в трудах названных ученых уровень осетиноведения несомненно высок. Но перед осетинским языкознанием ныне стоят новые задачи, решение которых явно назрело.

В этой связи прежде всего хочется сказать о многотомном толковом словаре осетинского языка, работа над которым началась в Юго-Осетинском НИИ более двадцати лет тому назад, однако продвигается до обидного медленными темпами. Для выполнения этого большого и необходимого труда ныне имеются все условия и нужно пожелать составителям словаря скорейшего его завершения.

Лингвистами Северной Осетии планируется работа над осетинско-русско-английским словарем, выход которого может иметь не только научное, но и практическое значение. Осетиноведы заняты также многочисленными вопросами, связанными с орфографией, терминологией, составлением учебников и различных пособий для средних школ и вузов. Однако перед ними стоят и задачи, еще не числящиеся пока в исследовательских планах. Одна из безотлагательных задач — составление диалектологического атласа Осетии: миграция населения все больше затемняет диалектологическую картину, так необходимую для дальнейшей разработки истории языка.

Долгом осетиноведов все еще остаются различные аспекты изучения языка осетинских писателей разных поколений, особенностей разных стилей языка художественной литературы вообще.

Практика культурного строительства выдвигает перед осетиноведами также немало социолингвистических проблем языковой жизни осетинской нации. К ним прежде всего можно причислить вопросы становления и развития осетинского литературного языка, осетинско-русского двуязычия, культуры родной речи, а также русской речи у осетин.

Думается, что в настоящее время существуют необходимые объективные условия для выполнения стоящих перед осетиноведами задач. В этом, по-видимому, им в значительной степени поможет усиление координации своей работы. Кроме того, местные кадры ученых, как всегда, нуждаются в действенной помощи со стороны академических лингвистических центров. Эта помощь всегда оказывается, в частности, Сектором иранских языков Института языкознания АН СССР, а также ленинградскими и грузинскими

иранистами. Большим подспорьем в работе осетиноведов (как и иранистов вообще) является возможность получения в высшей степени квалифицированной консультации у старейшины современной иранистики Василия Ивановича Абаева, чья неутомимая исследовательская деятельность продолжается вот уже седьмой десяток лет.

ЛИТЕРАТУРА

1. Осетины глазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе, 1967, с. 71 и сл., 302 и сл.
2. *Шегрен А.* Осетинская грамматика. СПб., 1844.
3. Газета «Терские ведомости», 1915, № 240.
4. *Абаев В. И.* История изучения осетинского языка в России и СССР. Дореволюционный период.— В кн.: Очерки по истории изучения иранских языков. М., 1982, с. 86.
5. *Миллер В. Ф.* Осетинские этюды. Ч. I. М., 1881, с. 3.
6. *Исаев В. И.* Васо Абаев. Орджоникидзе, 1980.
7. *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. Т. I. М.— Л., 1949.
8. *Абаев В. И.* О взаимоотношении иранского и кавказских элементов в осетинском.— В кн.: Осетинский язык и фольклор. Т. I. М.—Л., 1949, с. 109 и сл.
9. *Абаев В. И.* О языковом субстрате.— ДСИЯ, 1956, т. IX.
10. *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965, с. 5 и сл.
11. *Абаев В. И.* Значение ареальных контактов в истории языка.— В кн.: Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977, с. 6.
12. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.— Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979.
13. *Абаев В. И.* Язык как идеология и язык как техника. Когда семантика перерастает в идеологию.— В кн.: Язык и мышление. II. Л., 1934.
14. *Абаев В. И.* Еще о языке как идеологии и как технике.— В кн.: Язык и мышление. VI—VII. Л., 1936.
15. *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики.— В кн.: Язык и мышление. XI. Л., 1948, с. 15.
16. *Абаев В. И.* Об историзме в описательном языкознании.— В кн.: О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960, с. 56.
17. *Абаев В. И.* Общегуманитарные аспекты теоретического языкознания.— ИАН СЛЯ, 1973, № 6, с. 525.
18. *Соколова В. С.* Очерки по фонетике иранских языков. Вып. 1. М.— Л., 1953, с. 5—58.
19. *Ахведиани Г. С.* Сборник избранных работ по осетинскому языку. I. Тбилиси, 1960.
20. *Исаев М. И.* Очерки по истории изучения осетинского языка. Орджоникидзе 1974, с. 92 и сл.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1985

ПШЕНИЧНОВА Н. Н.

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Коллектив диалектологов Института русского языка АН СССР завершил работу по созданию своего главного труда — Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) [1]. Завершился важный этап в развитии русской диалектологии, и, следовательно, наступило время, когда необходимо снова поставить вопрос о том, в чем же теперь состоят актуальные проблемы русской диалектологии [2].

Чтобы определить задачи русской диалектологии, целесообразно обратить внимание на ее существенные особенности. «...если... поставить вопрос о том, в чем заключается основное достижение русской диалектологии как науки за истекшие сорок лет,— писал Р. И. Аванесов в 1958 году,— то, думается, ответ должен быть такой: за это время русская диалектология из придатка к этнографии, каким была раньше, окончательно утвердилась — на базе имевшихся уже раньше предпосылок — как наука о структуре диалектной речи, точнее — как наука о структуре русского языка в его диалектах. Этот процесс нетрудно проследить на ряде отдельных исследований последних десятилетий. Однако он особенно заметен в самой крупной работе всего истекшего сорокалетия — в лингвистическом атласе русского языка» [4] [3].

К началу 50-х годов для диалектологии в целом еще не был характерен системный подход к языку, учитывающий особенности языковой структуры (ср. [6]). Не случайно в статье Т. М. Судник и С. М. Шур говорится: «...диалектология до последнего времени оставалась областью языкознания, недоступной для применения структурных методов исследования...» [7]. В качестве первых по структурной диалектологии (после работ 30-х годов Н. С. Трубецкого и некоторых других) авторы рассматривают исследования У. Вайнрайха (1954), Э. Станкевича (1958), Р. Стокуэла (1959). И даже значительно позднее, в 1983 г., в статье Н. Л. Сухачева [8] в качестве программной по структурной диалектологии также называется работа У. Вайнрайха 1954 г. [9], а анализ довольно значительного количества работ, созданных вслед за Вайнрайхом [4], приводит автора к следующему выводу: «Хотя структурная диалектология так и не пришла к каким-либо позитивным результатам, за исключением бесспорного положения о важности системного подхода к изучению территориальных различий языка, идеи Вайнрайха нашли отражение в некоторых работах по проблемам общего языкознания и диалектологии. Термин „диасистема“ вошел в обиход в его первоначальном (вайнрайховском) смысле — обобщение частных систем» [8, с. 43—44].

Между тем в русской диалектологии уже к началу работы над диалектологическими атласами сформировался системно-функциональный подход

---

[1] Подробно работа над ДАРЯ, а также характеристика материальной базы, теоретических основ и методов составления ДАРЯ представлены в [1]. См. также [2, 3].

[2] Для того, чтобы координировать свою работу с теми исследованиями, которые ведутся в других научных центрах и вузах нашей страны, коллектив диалектологов ИРЯЗ АН СССР обратился в эти центры с двумя вопросами: 1) Над чем Вы сейчас работаете в области русской диалектологии? 2) Какие проблемы русской диалектологии являются, по Вашему мнению, сейчас наиболее актуальными? Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу анкету. При формулировании очередных задач русской диалектологии мы учитываем полученные нами ответы.

[3] Здесь имеются в виду составленные к тому времени региональные атласы, и прежде всего вышедший из печати [5].

[4] Из трудов советских ученых Н. Л. Сухачев рассматривает работы [10—13].

к языку и был предложен соответствующий этому подходу метод описания диалектных систем (ср. также [14]). Так, идея «сложной системы», или «системы систем», получившая большую популярность ввиду ее продуктивности, была высказана Р. И. Аванесовым еще в 1947 г. в [15]. И лишь позднее, в 1954 г., У. Вайнрайх в упоминавшейся уже работе употребил в том же значении термин «диасистема».

К этому времени, т. е. в 50-х годах, в русской диалектологии уже определилось целое научное направление: была построена целостная теория лингвогеографии, основанная на системном подходе к языку (ядро этой теории — типология диалектных различий), разработан метод сравнения диалектных систем в рамках этой теории и, что особенно важно, построенная теория и соответствующий ей метод были применены к огромному материалу русских говоров.

В 1947 г. Р. И. Аванесов сформулировал основные идеи теории московской школы лингвогеографии, а спустя два года, в 1949 г., вышла из печати его книга «Очерки русской диалектологии» [16], в которой идея «сложной системы», или «системы систем», была применена к описанию фонетического уровня системы русского диалектного языка [5].

Разные аспекты этой теории рассматриваются в других работах Р. И. Аванесова [18—24] и его последователей. В разработке теории принимали участие С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, С. С. Высотский, Л. П. Жуковская, В. Г. Орлова.

Воплощением предложенной теории в 50-х годах явился Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы [5]. Во вступительных статьях к Атласу, написанных его главным редактором Р. И. Аванесовым, содержатся основные положения теории московской школы лингвогеографии. Наиболее полное изложение этой теории и развитие ее по отношению ко всем уровням языка представлено в коллективной монографии «Вопросы теории лингвистической географии» [25] [6].

В ходе работы над атласами [региональными и сводным (ДАРЯ)] теория московской школы лингвогеографии получила дальнейшее развитие. Так, в [34] рассматриваются те особенности строения диасистемы русского диалектного языка (ДЯ), «которые дают непосредственную информацию об общих свойствах структуры языка как совокупности его диалектов» [34, с. 111]. В работе вводится ряд новых для диалектологии понятий, таких, как ядерные элементы, или сильные звенья системы ДЯ ~ периферия, или слабые звенья системы ДЯ; идеально простая и идеально сложная модели языка; диапазон диалектного варьирования, величина которого определяется через отношение между идеально простой и идеально сложной моделями и характеризует меру структурных расхождений между диалектами данного языка; вводится понятие междиалектной парадигматики. Предложенные в работе характеристики структуры ДЯ позволяют делать выводы диахронического характера: определять относительную устойчивость разных сторон языкового строя, изучать направление развития языковых систем. «Подытоживая сказанное выше о способности описательной диалектологии посредством моделирования диалектного языка давать информацию об общих свойствах языка как совокупности его диалектов, есть все основания усматривать в этом принципиально новую ступень в развитии этой науки, выдвигающую ее в число языковедческих дисциплин первостепенного значения. Именно описательная диалектология способна на современном этапе ее развития формулировать основные закономерности строя языка и тенденции его развития, выявлять определяющие черты его междиалектной парадигматики» [34, с. 115].

Таким образом, будет справедливым утверждать, что с того времени, когда в начале работы над диалектологическим атласом Р. И. Аванесов поставил вопрос о языке народа как о «сложной системе» (иначе «системе

---

[5] Содержание термина «диалектный язык», обоснование его необходимости см. в [17, 14].

[6] См. также [26] и другие работы московских диалектологов. Теория разрабатывалась и была реализована при описании диалектных различий в словоизменении [27—29]; в синтаксисе [30—31]; в лексике [32—33].

систем»), русская диалектология стала развиваться как отрасль языкознания, изучающая стуктуру диалектных систем в их субстанциональном воплощении и функционировании с использованием разных, в том числе и структурных, методов анализа и сравнения. Все направления развития русской диалектологии определяются этими идеями.

Основными направлениями диалектологических исследований Р. И. Аванесов, как известно, считал следующие: 1) описательную диалектологию, состоящую из двух разделов: а) учения о системе диалектного языка как о сложной системе с ее постоянными и вариативными звеньями (ядро этого учения составляет теория диалектных различий); б) учения о диалектах (или диалектном членении); 2) историческую диалектологию, объектом которой является изучение временного варьирования диалектов и диалектных различий [см. 23—24]. Эти направления предполагают изучение диалектов соответственно в плане синхронии и диахронии.

В качестве основных типов диалектологических исследований, представляющих собой «разные этапы диалектологического изучения языка», Р. И. Аванесов называет: 1) описательные монографии по отдельным диалектам (так называемая интенсивная диалектология); 2) лингвогеографическое изучение (экстенсивная диалектология); 3) исторические монографии по отдельным диалектам; 4) диалектную лексикографию. «При этом следует иметь в виду, что как монографическое, так и лингвогеографическое изучение диалектов исходит из идеи о языке как о структуре. Экстенсивное изучение соотносительных варьирующихся элементов структуры языка на более или менее обширной территории и интенсивное изучение структуры диалектов в отдельных территориальных точках дополняют друг друга и вместе взятые дают наиболее полное и адекватное представление о диалектном языке. На базе этих двух разнокачественных материалов возможна уже работа над монографиями, историческими по своему характеру. Работы по диалектной лексикографии могут вестись параллельно на всех этапах» [35, с. 559].

Названные направления, представленные разными типами исследований, составляют собственно предмет диалектологии и ориентируют на разработку проблем как в плане развития теории, так и в плане практического изучения диалектных систем. Следовательно, в этих направлениях и должны проводиться диалектологические изыскания, но удельный вес того или иного конкретного направления, тех или иных типов исследований в зависимости от разных обстоятельств, в разные периоды и для разных говоров может меняться [7].

Так, в русской диалектологии, с одной стороны, в отдельные периоды ее развития оказалась неодинаковой степень разработанности разных языковых уровней; с другой стороны, территория распространения русского языка настолько велика, специфика развития русских говоров и их функционирования настолько различна, что все это обусловливает неизбежность многоплановости, многоаспектности самых актуальных диалектологических исследований.

В русской диалектологии с самого начала работы над Диалектологическим атласом и далее, в период его создания, менее других уровней была изучена лексика. Не случайно в 1964 г. в докладе Р. И. Аванесова на заседании Бюро ОЛЯ говорилось: «Необходимо приступить к созданию разных типов диалектных словарей — однодиалектных и многодиалектных, полных и дифференциальных, „лексико-семантических“, („от слова к значению“) и идеологических („от значения к слову“). Для улучшения качества работ в этой области требуется разработка проблем диалектной лексикографии...» [35, с. 558—559].

Лексика в русской диалектологии, как и в языкознании в целом, наиболее интенсивно стала разрабатываться в 60-е годы. С этого времени мно-

[7] Ср., например, этапы изучения немецких диалектов и основные задачи современной немецкой диалектологии, определяемые прежде всего другой историей и другими условиями существования немецких диалектов [36, с. 16—30 и 38—46]. Проблематика русских диалектологических исследований в русле указанных направлений рассматривалась ранее в [37—38].

гие исследователи и целые диалектологические коллективы переключились на лексикологическое и лексикографическое изучение говоров. В частности, в 1961 г. лексикографами Словарного сектора ИРЯЗ АН СССР начат капитальный лексикографический труд — Словарь русских народных говоров [39]. Вполне логично, что сейчас очень многие исследователи наиболее актуальными для русской диалектологии считают теоретические и практические проблемы лексикологии и лексикографии, а важнейшей практической задачей — активно содействовать завершению той работы по составлению региональных словарей, которая ведется в вузах, и опубликованию словарей, уже созданных.

В круг задач, связанных с изучением лексики, входит составление Лексического атласа русских говоров, который необходим для полного лингвогеографического исследования русских говоров. Серия обобщающих трудов по диалектной лексикологии и семасиологии, диалектному словообразованию, выполненных по единому плану, определенной общей программе, дополненная картиной лингвогеографического ландшафта в Лексическом атласе, способствовала бы исчерпывающему изучению узловых звеньев того пласта русской диалектной лексики XIX—XX вв., который безвозвратно уходит в прошлое [см. 40—41].

Таким образом, сейчас возрос удельный вес проблематики, относящейся к лексико-семантическому уровню русского диалектного языка. И это естественно.

С другой стороны, русские говоры, распространенные на огромной территории, различаются своей историей, условиями бытования, степенью изученности, а следовательно, для разных говоров актуальны разные проблемы. Так, прежде всего различаются говоры территории наиболее древнего поселения русских и говоры территории позднего заселения. Наиболее древние поселения русских, где диалектные группы русского языка складывались примерно в период до XV в., занимают центр Европейской части РСФСР. Примерная граница этой территории на востоке «идет от Сольвычегодска к Ветлуге, затем к 45° в. д., отклоняясь от него на уровне Саранска к западу, направляется к Тамбову и Воронежу» [26, с. 232] [8]. Говоры территории позднего заселения, в самом грубом приближении, можно разделить следующим образом: 1) говоры Европейской части СССР; 2) говоры Урала; 3) говоры Сибири и Дальнего Востока. Говоры Сибири, в частности, делятся в свою очередь, по крайней мере, на четыре типа: 1) старожильческие (чалдонские) — те, которые существуют на территории Сибири около 400 лет; 2) говоры смешанного типа; 3) говоры новоселов и 4) так называемые «островные» говоры.

Диалектологическое изучение говоров территорий позднего заселения проходило в несколько иной последовательности, чем территории наиболее старого поселения русских. Эти говоры исследуются сразу по многим направлениям: лексикология и лексикография; интенсивная и экстенсивная диалектология, т. е. изучение говоров целых регионов и отдельных частных диалектных систем (ЧДС), в описательном, в том числе лингвогеографическом, и историческом аспектах.

Важно отметить, что лингвогеографическое изучение говоров территории позднего заселения проводится в соответствии с той же теорией, которая лежит в основе изучения говоров, представленных в ДАРЯ (см., например, [46—49]), и при собирании диалектного материала широко используется та же программа [50]. В результате такого изучения диалектологи получают сведения, сопоставимые с данными, зафиксированными на исконно русской территории [9].

---

[8] См. также [42, с. 6; 43, с. 29—32]. В ДАРЯ включена территория примерно до 62° с. ш. В более северных районах русские расселены неравномерно, главным образом по течению рек, часто чередуются с нерусским населением. Подробнее об этом см. [26, с. 231—232]. Сейчас говоры этих районов активно изучаются. Особенно интенсивно исследуется лексика. Ср. работы [44, 45].

[9] К числу наиболее крупных мероприятий по лингвогеографическому изучению говоров территории позднего заселения следует отнести работу по составлению Атласа русских говоров территории Среднего и Нижнего Поволжья, которая ведется с 1979 г. преподавателями вузов Поволжья под руководством проф. СГУ Л. И. Баран-

Для территории наиболее старого поселения русских основное внимание долгие годы уделялось лингвогеографическому изучению говоров, главным результатом которого является Диалектологический атлас русского языка. Завершение работы по составлению ДАРЯ важно для всей русской диалектологии, для всех направлений ее развития. Разработка самых актуальных проблем русской диалектологии во многом будет связана с ДАРЯ. Атлас должен стать базой, фундаментом дальнейших диалектологических исследований и исследований по истории русского языка, стать как бы новым импульсом для дальнейшего развития теории. Данные Атласа необходимы для всех аспектов изучения русского диалектного языка.

Как известно, одним из существенных компонентов теории диалектологии является интерпретация лингвогеографических данных. В процессе работы над ДАРЯ, в трудах, выводы которых базируются на оценке данных Атласа, вырабатывалась методика интерпретации лингвогеографических карт (см., например, [43, 51—55] и другие работы московских диалектологов). Теперь, когда работа над ДАРЯ закончена и огромный уникальный материал становится достоянием широкой научной общественности, открывается новый этап развития русской диалектологии. На этом этапе изучение и оценка данных Атласа становится главной задачей. Данные Атласа могут анализироваться в разных планах. Все направления и типы диалектологических исследований, о которых писал Р. И. Аванесов, по-прежнему актуальны, но удельный вес их меняется.

Наиболее важными для русской диалектологии являются сейчас проблемы исторической диалектологии: история формирования диалектных различий и диалектов русского языка. Основные задачи исторической диалектологии — интерпретация данных диалектологического атласа в тесной связи с данными внутренней истории языковых явлений, с одной стороны, с данными письменных памятников и историей самих носителей диалектов, с другой [10].

Еще в 1949 г. Р. И. Аванесов писал: «Следует, конечно, иметь в виду, что такой основной вопрос исторической диалектологии и истории русского языка, каким является вопрос о происхождении и составе русского языка, может быть разрешен лишь после того, как будет закончена работа над диалектологическим атласом русского языка и на основе этого атласа, а также когда будет значительно расширен круг изученных с лингвистической точки зрения древних письменных памятников. До этого времени все новые попытки в этом отношении не могут не оставаться лишь на положении более или менее правдоподобных гипотез» [16, с. 5].

Проблематика, которую считали очень важной для русского языкознания такие ученые, как Р. И. Аванесов, В. И. Борковский, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, В. Г. Орлова, Ф. П. Филин и др., — «развитие исторической диалектологии, которая должна дать ценные материалы для построения полной истории языка» [11] — сейчас, когда создан Диалектологический атлас русского языка, должна считаться самой актуальной.

Историческая диалектология требует интерпретации лингвогеографических данных русского языка не изолированно, а в связи с данными других восточнославянских языков — белорусского и украинского. В докладе на Бюро ОЛЯ Р. И. Аванесов поставил вопрос и об атласе восточнославянских языков: «Эта работа в основном обеспечена материалом и не требует специальных затрат; она может быть осуществлена в сравнительно короткий срок, а ее научное и культурное значение трудно переоценить» [35, с. 560].

никовой и в тесном контакте с коллективом авторов ДАРЯ. Этот атлас является продолжением ДАРЯ как в территориальном отношении, так и в плане отражения в нем диалектных различий русского языка.

[10] Факторы, определяющие ценность атласа для изучения исторического развития языка, подробно рассматриваются в [56].

[11] См. обсуждение доклада Р. И. Аванесова на Бюро ОЛЯ [35, с. 560—561].

Сейчас изучение восточнославянских изоглосс является одной из наиболее актуальных проблем русской исторической диалектологии как составной части диалектологии восточнославянской [12].

Изоглоссы многих диалектных различий, пересекающие территорию восточнославянских языков, показывают тесную связь, которая существовала в истории восточнославянских языков: выделение языков русской, украинской и белорусской народностей из их общего источника — древнерусского языка, дальнейшее развитие этих языков. Так, многие диалектные явления, по-разному объединяющие современные русский, украинский и белорусский языки, восходят к очень древнему, племенному периоду, другие относятся ко времени феодальной раздробленности, третьи возникли в разных языках независимо друг от друга, но свидетельствуют о структурной общности восточнославянских языков. Как справедливо отмечает С. В. Бромлей, «территории разных восточнославянских областей не имеют собственно языковой границы» [57, с. 74].

Актуальными остаются и некоторые проблемы описательной диалектологии. Так, степень изученности русских говоров, с одной стороны, и разработанность учения о системе диалектного языка, — с другой, позволяют осуществить структурную классификацию русских говоров. Теоретические основы, на которых строится Диалектологический атлас русского языка, определили создание таких карт, которые позволяют моделировать систему диалектного языка, содержащую все основные структурные характеристики русских говоров. Пространство признаков, образующее систему диалектного языка (или его диасистему), и может быть принято в качестве основания структурной классификации [13].

В результате исследования классификационной структуры совокупности говоров должны быть определены (а не даны заранее!): 1) тип совокупности в целом и тип каждой из совокупностей всех последующих уровней классификационного деления [условно: а) «дискретный» тип, б) «континуальный» тип и в) совокупность состоит из нечетких множеств [14]; 2) число уровней деления; 3) число групп каждого уровня. Это позволит более объективно выделять единицы диалектного членения разных рангов, а также более четко формулировать их определения [15].

Как результат исследования классификационной структуры совокупности говоров должны быть также получены (а не даны заранее!) отдельно для каждой группы каждого уровня классификации: комплексы признаков, представляющих диасистему разных групп разных уровней диалектного членения, а из числа этих признаков, также отдельно для каждой группы каждого уровня деления, — комплексы признаков, оказавшихся наиболее существенными для выделения данной группы. Для каждой группы говоров может быть определена мера ее компактности, или иначе степень ее однородности.

Осуществить подобную классификацию на таком многочленном, иерархически сложном основании, каким является русский диалектный язык, для очень большого числа говоров невозможно без применения математических методов и использования ЭВМ. Такая классификация может быть проведена, например, на основе использования вероятностно-статистического метода.

---

[12] Необходимость исследования восточнославянского языкового пространства как целостного объекта лингвогеографии обосновывается в [57, с. 73—75].

[13] Постоянные элементы системы диалектного языка в процедуре деления, естественно, не участвуют.

[14] «Тип совокупности» — условное обозначение классификационной структуры данной совокупности: «дискретный тип» — совокупность делится на группы говоров, однородные по принятым критериям; «континуальный тип» — групп выделить нельзя, и, следовательно, совокупность может быть разделена лишь условно; «совокупность состоит из нечетких множеств» — отмечается некоторая концентрация говоров в группы, и в то же время выделяются переходные зоны. Подробнее об этом см. [58, 59].

[15] Мы не касаемся здесь такой экстралингвистической стороны проблемы, как оценка полученных результатов сравнением с социально-историческими и культурными данными, что, безусловно, является необходимым.

Структурная классификация должна представлять собой не только различительное описание всего многообразия частных диалектных систем. Ценность ее в большой степени определяется тем, насколько такая классификация позволяет видеть возможности и направление развития диалектных систем, т. е. насколько она позволяет делать из чисто синхронного исследования диахронические выводы. Возможность последних основывается на сопоставлении названных выше результатов структурной классификации, проведенной вероятностно-статистическим методом, с результатами селинговой рифмической проекции, с одной стороны, и структурными характеристиками русского диалектного языка, с другой.

Так, в частности, для каждой группы каждого уровня классификации могут быть установлены разносторонние соотношения между следующими величинами: ядерные признаки диасистемы [34] — признаки, более всего определяющие специфику группы; — диапазон диалектного варьирования [34] — мера компактности группы (мера ее однородности). Это разностороннее сопоставление структурных характеристик диасистем разных уровней дает ключ к характеристике классификационных позволяет обнаружить возможности структурного развития диалектного языка разных уровней членения разных языковых ярусов. Такие выводы должны иметь значение и для языкознания теоретического, а именно для изучения общих свойств языка [60].

При всей широте проблематики, которую можно рассматривать в качестве наиболее актуальной, общим и самым важным для всех диалектологов-русистов является почвенный сбор диалектного материала и его квалифицированная обработка. Диалекты, как и всякая языковая система, развиваются, причем в современных условиях постоянного и интенсивного воздействия на них литературного языка, с одной стороны, и междиалектного контаминирования, с другой, меняют свой облик особенно быстро, но функционируют при этом, в отличие от литературного языка, только в устной форме. Значит, пока есть диалектные различия, необходим и полезен сбор диалектного материала.

Очередной этап собирания диалектологических материалов должен проходить как интенсивное изучение говоров, т. е. нацеленное на синхронное описание ЧДС, с учетом всех тех показателей, которые приняты при описании отдельных языков (ср. [16, с. 319—320; 61]). Необходимо создать серию синхронных описаний отдельных ЧДС, которые должны репрезентировать основные наречия русского языка и их подразделения. Для полного изучения языка необходимы и экстенсивная диалектология (представленная атласами), и интенсивная: «...как ни велико значение экстенсивных обследований всей территории русского языка методами лингвистической географии для исторической грамматики русского языка весьма важны также интенсивные, исчерпывающие исследования отдельных говоров. Тот и другой метод изучения диалектов в з а и м н о д о п о л н я ю т друг друга» [62, с. 284].

Для интенсивного изучения говоров необходима новая программа, более полная, чем составленная для Атласа. Необходимость ее остро осознается диалектологами-русистами. Учитывая это, коллектив диалектологов ИРЯЗ АН СССР сейчас уже завершил работу над первой частью (Фонетика) новой детализированной программы. Новая программа должна отразить иную, существенно более высокую степень изученности русских говоров, чем та, которая предшествовала созданию программы для Атласа, и иное состояние говоров в их взаимодействии друг с другом и с литературным языком. Кроме того, она должна ориентировать диалектологов на решение более широкого круга задач, а именно, на комплексное изучение говоров, как с точки зрения проблематики, так и с методологической точки зрения (изучение всех языковых уровней в плане синхронии и диахронии, в социолингвистическом, психолингвистическом и других аспектах, с использованием разных методов). Незамедлительно зафиксировать диалектные различия на новом этапе развития русского языка в его говорах, собрать при этом материал, в качественном и количественном отно-

шении позволяющий изучать говоры в самых разных аспектах,— это первостепенная задача диалектологов-русистов.

Сейчас силами многих лингвистов и целых больших коллективов начато огромное предприятие — создание Машинного фонда русского языка. Организация Машинного фонда должна привести к тому, что в целом, в результате усилий многих коллективов, будет создана единая информационная модель русского языка. В эту систему данных войдут и сведения о ЧДС в качестве базы данных по русской диалектологии. Система управления этой базой данных позволит автоматизировать поиск и обработку информации, необходимой для исследований по диалектологии и истории русского языка. Диалектологи ИРЯЗ АН СССР уже начали работу по введению диалектологических материалов в память ЭВМ.

В целом проблемы русской диалектологии, относящиеся к числу наиболее актуальных, могут быть сформулированы следующим образом.

I. Дальнейшая разработка теории диалектологии.

II. Направления исследований (связаны с интерпретацией данных ДАРЯ, а также с дальнейшей разработкой как материалов ДАРЯ, так и тех новых диалектологических материалов, которые должны постоянно записываться вновь).

1. Описательная диалектология: 1) полные описания частных диалектных систем в структурном и функциональном планах с учетом современной языковой ситуации [16] (в частности, в связи с вопросом о влиянии на говоры литературного языка) — интенсивная диалектология. Описания должны строиться таким образом, чтобы была обеспечена их сопоставимость для исследований в разных аспектах; 2) лингвогеографическое изучение отдельных языковых явлений и говоров отдельных регионов — экстенсивная диалектология. Восточнославянские изоглоссы.

2. Историческая диалектология: 1) история формирования диалектных различий; 2) история формирования диалектов русского языка.

3. Лексикология, лексикография, а также лексический атлас русских говоров как база для синхронных и диахронических исследований в области лексики.

III. Практические задачи.

1. Незамедлительное издание ДАРЯ.

2. В плане осуществления Проекта создания Машинного фонда русского языка, а также для интенсификации диалектологических исследований— создание информационной автоматизированной базы данных русских говоров. Автоматизация лингвистического картографирования.

3. Создание новой детализированной Программы для собирания сведений о русских говорах.

4. Собирание диалектного материала. Создание фонотек.

Научные публикации, а также полученные нами письма показывают, что в нашей стране сложились крупные диалектологические центры, которые ведут большую исследовательскую и координационную работу и которым вполне по силам разработка самых актуальных проблем русской диалектологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бромлей С. В.* О диалектологическом атласе русского языка (ДАРЯ).— ИАН СЛЯ, 1977, № 5.
2. *Строганова Т. Ю.* О первом, фонетическом выпуске «Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ)».— В кн.: Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981.

---

[16] Понятие «языковая ситуация» наиболее полно, как нам представляется, раскрыто в [63, с. 133—134]: «...в самом общем виде языковая ситуация может быть определена как модель социально-функционального распределения и иерархии социально-коммуникативных систем и подсистем, сосуществующих и взаимодействующих в пределах данного политико-административного объединения и культурного ареала в тот или иной период, а также социальных установок, которых придерживаются в отношении этих систем и подсистем члены соответствующих языковых и речевых коллективов».

3. *Бромлей С. В.* О морфологическом выпуске «Диалектологического атласа русского языка».— В кн.: Русские народные говоры. М., 1983.
4. *Аванесов Р. И.* Достижения современного языкознания в области русской диалектологии.— ИАН ОЛЯ, 1958, № 1, с. 16.
5. Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. М., 1957.
6. *Жирмунский В. М.* О некоторых проблемах лингвистической географии.— ВЯ, 1954, № 4.
7. *Судник Т. М., Шур С. М.* Диалектология и структурная типология.— В кн.: Исследования по структурной диалектологии. М., 1963, с. 216.
8. *Сухачев Н. Л.* Что изучает структурная диалектология?—В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983.
9. *Weinreich U.* Is a structural dialectologie possible? — Word, 1954, v. X, № 2—3.
10. *Пиотровский Р. Г.* Структурализм и языковедческая практика (Возможна ли структурная диалектология?).— ВЯ, 1957, № 4.
11. *Пиотровский Р. Г.* О структурной диалектологии.— Труды I Всесоюзного совещания по романскому языкознанию. Кишинев, 1963.
12. *Пиотровский Р. Г.* Структурные схемы и типологическая классификация диалектов.— В кн.: Вопросы теории и истории языка. Сб. в честь профессора Б. А. Ларина. Л., 1963.
13. *Аванесов Р. И., Бернштейн С. Б.* Лингвистическая география и структура языка. О принципах Общеславянского лингвистического атласа.— В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы и дискуссии. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
14. *Мораховская О. Н.* Системный подход к языку и диалектология.— Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1984.
15. *Аванесов Р. И.* Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка.— ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 32.
16. *Аванесов Р. И.* Очерки русской диалектологии. М., 1949.
17. *Калнынь Л. Э.* Диалектологический аспект проблемы язык и диалект.— ИАН СЛЯ, 1976, № 1.
18. *Аванесов Р. И.* Лингвистическая география и история русского языка.— ВЯ, 1952, № 6.
19. *Аванесов Р. И.* Достижения современного языкознания в области русской диалектологии.— ИАН ОЛЯ, 1958, № 1.
20. *Awanesów R. I.* O atlasie gwarowym języka rosyjskiego i jego podstawach teoretycznych.— Poradnik językowy, 1958, zesz. 3.
21. *Аванесов Р. И.* Об очередных задачах диалектологического изучения языков Советского Союза.— ИАН ОЛЯ. 1959, № 3.
22. *Аванесов Р. И.* О теоретических основах диалектологического атласа русского языка.— Slavia, 1959, vo . 28, seš. 1.
23. *Аванесов Р. И.* Описательная диалектология и история языка.— Славянское языкознание. Доклады советской делегации на V Международном съезде славистов. М., 1963.
24. *Аванесов Р. И.* О двух аспектах предмета диалектологии.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965.
25. Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962.
26. Русская диалектология. Ред. Аванесов Р. И., Орлова В. Г. М., 1964.
27. *Бромлей С. В., Булатова Л. Н.* Морфологические различия русских говоров.— Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964.
28. *Бромлей С. В., Булатова Л. Н.* Об эталоне сопоставительного описания русских говоров.— ВЯ, 1965, № 4.
29. *Бромлей С. В., Булатова Л. Н.* Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.
30. *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* О типах синтаксических различий русских говоров.— ИАН ОЛЯ, 1961, № 4.
31. *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* Синтаксические различия русских говоров и их картографирование.— В кн.: Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974.
32. *Жуковская Л. П.* Типы лексических различий в диалектах русского языка.— ВЯ, 1957, № 3.
33. *Мораховская О. Н.* Исследование предметной лексики русского языка с применением методов лингвогеографии: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1982.
34. *Бромлей С. В.* Роль описательной диалектологии в характеристике общих свойств структуры языка.— ИАН СЛЯ, 1979, № 2.
35. *Аванесов Р. И.* О состоянии и задачах научных исследований в области диалектологии.— ИАН ОЛЯ, 1964, № 6.
36. *Филичева Н. И.* Диалектология современного немецкого языка. М., 1983.
37. *Мораховская О. Н.* Проблематика исследований, связанных с методом лингвистического картографирования.— В кн.: Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964.
38. *Мораховская О. Н.* Проблематика и построение описательной диалектологии в ее отношении к истории языка.— В кн.: Исследования по русской диалектологии. М., 1973.
39. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—19. М.— Л., 1965—1983.
40. *Попов И. А.* Лексический атлас русских народных говоров (Проспект). Л., 1974.

41. *Попов И. А.* Актуальные проблемы лингвогеографического изучения диалектной лексики.- В кн.: Проблемы изучения русских говоров вторичного образования. Кемерово, 1983.
42. Диалектологический атлас русского языка (Проспект сводного атласа). М., 1969.
43. *Захарова К. Ф., Орлова В. Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.
44. Архангельский областной словарь. Под ред. Гецовой О. Г. Вып. 1- 3. М., 1980—1983.
45. *Комягина Л. П.* Лексические диалектные различия в говорах Архангельской области: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972.
46. *Баранникова Л. И.* К проблеме изучения языков и диалектов на территориях позднего заселения.— В кн.: Вопросы славянского языкознания. Саратов. 1968.
47. *Баранникова Л. И.* Говоры территории позднего заселения и проблема методов их изучения.— В кн.: Проблемы изучения русских говоров вторичного образования. Кемерово, 1983.
48. *Баранникова Л. И.* К проблеме лингвогеографического изучения говоров Среднего и Нижнего Поволжья.— В кн.: Говоры Поволжья и их изучение. Куйбышев (в печати).
49. *Здобнова З. П.* Типология русских говоров в Башкирии. Уфа. 1981.
50. Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. М.— Л., 1947.
51. *Орлова В. Г.* История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959.
52. *Горшкова К. В.* Очерки исторической диалектологии северной Руси. М., 1968.
53. *Касаткин Л. Л.* Прогрессивное смягчение задненебных согласных в русских говорах. М., 1968.
54. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. Под ред. Орловой В. Г. М., 1970.
55. *Горшкова К. В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
56. *Бромлей С. В.* Русский диалектологический атлас как источник изучения истории языка.— В кн.: Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981.
57. *Бромлей С. В.* Лингвогеографическое изучение восточнославянской языковой области.— В кн.: Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений. Душанбе. 1979. М., 1979.
58. *Пшеничнова Н. Н.* О значении статистических приемов в диалектологических исследованиях.— В кн.: Проблемы изучения русских говоров вторичного образования. Кемерово, 1983, с. 23.
59. *Пшеничнова Н. Н.* Лингвогеографический и статистический анализ стяжения в русских говорах.— В кн.: Русские народные говоры. М.. 1983, с. 75.
60. *Пшеничнова Н. Н.* О структурной классификации русских говоров вероятностно-статистическим методом.— В кн.: Автоматизация научных исследований. Л. (в печати).
61. *Калнынь Л. Э., Попова Т. В.* Синхронное описание одного говора как особый вид диалектологического исследования.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1979. М., 1981.
62. *Аванесов Р. И.* Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974, с. 284.
63. *Швейцер А. Д.* Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М., 1977.

РЕЦЕНЗИИ

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда. Казан: Татарстан китап нәшрияты. I—1977, 476 б.; II—1979, 726 б.; III—1981, 832 б.

Тюркская лексикография в послевоенный период развивалась целенаправленно и динамично: издавались словари различных типов, совершенствовалась структура словарных статей, пополнялись картотечные фонды. Последние десятилетия были ознаменованы углублением лексикографической теории, ростом выпуска словарной продукции и, в частности, выходом в свет больших толковых словарей азербайджанского, казахского, киргизского, татарского, туркменского и узбекского языков.

Толковые словари — важный этап развития социалистической культуры народов СССР, свидетельство зрелости и жизненности национальных языков. В них обобщается многовековой путь совершенствования языка, насыщенный семантическими переходами, сужением и расширением содержания собственных и заимствованных слов. Издание таких словарей всегда воспринимается как событие, заслуживающее особого внимания.

Трехтомный Толковый словарь татарского языка подготовлен группой сотрудников Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР. Составители — Н. А. Абдуллин, Р. Г. Ахметьянов, Г. Х. Ахунзянов, С. Б. Вахитова, Р. М. Газизова, Л. Р. Гайнанова, Ф. А. Ганиев, Р. Р. Мингулова, М. Г. Мухаммадиев, Р. К. Рахимова, Ш. С. Ханбикова, руководитель — Л. Т. Махмутова, являющаяся одним из ведущих лексикографов и диалектологов республики. Словарь как бы подводит итог продолжительному изучению татарского языка, представляя в наиболее полном виде его лексику и фразеологию.

Идея создания толкового словаря татарского языка возникла в 1829 г., когда профессор Казанского университета Ф. Эрдман подготовил его проект, который, однако, по ряду причин не был реализован.

В 1895—1896 гг. появился двухтомный словарь крупнейшего татарского просветителя и ученого Каюма Насыри под названием «Лөгәт-әл татар» («Словарь татарского языка»). Он включает в себя более 10 тысяч слов и «отличается богатством представленного в нем материала живого общенародного языка. Это — первый толковый словарь в истории тюркских языков» [1; см. также I, с. V].

В 20-е годы нынешнего столетия предпринимается попытка создания полного словаря татарского языка: в 1927—1928 гг. Дж. Валиди издал две части первого тома, охватывающие буквы «алиф», «ба» и «та» (издание осталось незавершенным). Дж. Валиди впервые пользовался картотечным методом составления, причем в его картотеке нашли отражение и произведения художественной литературы, и образцы разговорного языка, собранные многочисленными информантами.

Рецензируемый словарь охватывает лексику татарского языка, начиная с XIX в. до наших дней. Он составлен на основе картотеки, насчитывающей свыше 3 миллионов карточек, и содержит более 42 тысяч словарных статей.

Формирование картотеки осуществлялось путем сплошного расписывания произведений классиков татарской литературы, ряда современных писателей, а также общественно-политических, научных, научно-популярных и учебных изданий. Среди источников картотеки особое место занимают фольклорные тексты.

Корпусу словаря предшествуют введение, список источников и сведения, необходимые для пользования им.

При разработке лексических материалов составители опирались на многочисленные словари: толковые, диалектологические, двуязычные, терминологические, фразеологические, орфографические, а в ходе решения таких вопросов, как объем словника, хронологические рамки словаря, структура словарной статьи, толкование слов и др., учитывали достижения отечественной науки, опыт работы над толковыми словарями других языков, сложившиеся традиции татарской лексикографии.

Основу словаря образует «общеупотребительная лексика и фразеология современного татарского языка» (I, с. XI). Наряду с общепринятыми в современном литературном языке словами, представлены диалектная и просторечная лексика, неологизмы, устоявшаяся терминология, лексика, характерная для языка классической татарской литературы конца XIX — начала XX вв. (произведения Г. Тукая, Ф. Амирхана, Г. Камала, Г. Ибрагимова, Ш. Камала и др.), нередко привлекаемая современными писателями в целях стилизации речи персонажей или для создания исторического колорита. Таким образом, принцип нормативности сочетается с принципом справочности и это сочетание следует считать правомерным, что, кстати, соответствует установившимся взглядам на целесообразность включения в толковые словари определенной части ненормативной лексики [2].

В самом деле, диалектная лексика — постоянный источник обогащения литературного языка, так или иначе она активно проникает в язык художественной

литературы, и включение диалектизмов в словник нисколько не противоречит задачам составления толковых словарей. Приведем примеры: *биртәк* «заплка», *буйдак* «холостяк», *сыкы//зыкы* «изморозь, иней», *тожым* «паутина (летающая осенью)», *ымсыну* «соблазняться, прельщаться (чем-л.)», *өрфия* «очень тонкое кружевное или тюлевое покрывало; очень тонкий», *аклан* «лесная поляна», *бакакый* «раковина, ракушка», *иәр* «охотничья собака», *исәвән* «забывчивый», *катырган* «крыжовник», *коргак* «высыхающий, высыхший; засушливый; сухая погода», *кәкер-чөкер* «еда для чепития», *онта* «мучная пыль», *тасыл* «умение, мастерство» и др. Часть диалектизмов сопровождается пометой «диал.», тогда как другие даются без пометы. Заметим, что некоторые из них, например, *аклан*, *тасыл*, *өрфия* в значении «тонкое кружевное или тюлевое покрывало» отсутствуют в Татарско-русском словаре ([3]; далее — ТРС). Однако встречаются диалектизмы, включение которых в Словарь нельзя считать оправданным, ср.: *алакаю* ~ лит. *акаю* «таращиться»; *кулчә* «шайба», но отсутствует лит. *кулчә* «плевел»; *куләсә* (< русск. *колесо*) ~ лит. *тәгәрмәч* «колесо»; *такай* ~ лит. *апа*, *тути* «тётка, тётушка»; *талта*// // *талда* ~ лит. *юаныч*, *җиңеллек*, *шифа* «утешение, облегчение, исцеление» и т. п.

Что касается малоупотребительных или устаревших слов, то изъятие их из словаря затруднило бы чтение художественной литературы.

Семантический анализ слов и словосочетаний — сложнейший этап лексикографической работы. И поэтому заслуживает высокой оценки исчерпывающий перечень значений многозначных слов, хотя в ряде случаев, как нам кажется, составители не избежали некоторых излишеств. Кроме самостоятельных значений, подмечены оттенки, показаны сочетаемостные возможности слов. Например, у глагола *булу* «быть...» выявлено 39 значений и 18 оттенков (в ТРС — 8 значений), *тарту* «тянуть, дергать...» — 37 и 13 (в ТРС — 7), *төшү* «спускаться, снижаться...» — 66 и 27 (в ТРС — 7), *җибәрү* «посылать, отсылать...» — 28 и 27 (в ТРС — 10 и 8); *төп* «дно, основа...» — 26 и 16 (в ТРС — 7) и др. В целом четко определены значения, раскрыта семантическая структура слов, которые ранее считались однозначными, уточнена степень закрепления в языке индивидуальных образных употреблений. Устанавливается взаимосвязь, соподчиненность главного и второстепенных значений.

Среди различных способов определения значений преобладает описательное толкование, т. е. толкование при помощи слов, являющихся заглавными в словаре. Толкования, как правило, лаконичны, нередко они дополняются синонимами или антонимами толкуемых слов, в случае же необходимости приводятся русские эквиваленты или делаются отсылки. Синонимы используются и сами по себе, при объяснении заимствованных и малоупотребительных слов. Так, для устаревшего *багъчы* приведено общеупотребительное *бакчачы* «садовод», для диалектного *бежгәк* — литературные *сукрануч ан* «ворчливый» и *каргануч ан* «проклинающий». Посредством отсылок объясняются некоторые производные слова и глагольные формы, снабженные грамматическими пометами. Особый тип толкования, применяемый главным образом для заимствованных слов,— перевод на русский или татарский языки, ср.: *аэронавт* — *очучы*, *вали* — *губернатор*, *гектоватт* — *йөз ватт*, *горком* — *шәһәр комитеты*, *камус* 1 — *сүзлек*, *костёр* — *учак*, *перламутр* — *сәдәп*.

Поскольку семантика слов раскрывается в сочетаниях их с другими лексическими единицами, значительное место в словаре занимает иллюстративный материал: речения, цитаты из произведений художественной литературы и устного народного творчества, публицистики, из научных и других текстов. Наиболее живописную часть этих материалов составляют пословицы, поговорки, загадки, фрагменты народных песен. Примеры: *Курайчылар курай уйнамас*, *Башкорт курайлары булмаса* (*жыр*) «Курайисты играть не будут, Коль нет башкирского курая» (песня); *күнче күнне күндерер* «кожевник и кожу уговорит»; *тасылын белгән — таш кискән* (*сыккан*) «искусный разрежет (выжмет) и камень»; *тән азыгы — икмәк*, *җан азыгы — гыйлем һәм мәгърифәттер* «пища тела — хлеб, пища души — знание и образованность»; *кыймәт булса — хикмәте бар*, *арзан булса — гыйльләте бар* «дорого да мило, дешево да гнило».

Бесспорным достоинством словаря является довольно полное и упорядоченное (по первому компоненту сочетаний) отражение в нем фразеологических единиц татарского языка. Некоторые словарные статьи особенно богаты фразеологизмами, ср.: *тел* «язык» — 92 фразеологические единицы, *баш* «голова» — 94, *йөрәк* «сердце» — 97, *җан* «душа, дух» — 134, *күз* «глаз» — 204, *күңел* «душа, настроение» — 213 (при подсчете варианты не учитывались).

В рецензируемом словаре дается подробная грамматическая и стилистическая характеристика слов, осуществляемая посредством системы помет. Детализованы так называемые ограничительные пометы, указывающие на отнесенность слова к тому или иному стилистическому пласту: разговорному, книжному, диалектному, просторечному, жаргонному и т. д.

Естественно, что в большой коллективной работе неизбежны мелкие упущения и недосмотры. Отметим некоторые из них.

В татарской лексикографической практике в качестве заглавного слова для глагола используется форма на *-у*, иногда не поддающаяся привычному морфологическому членению. Очевидно, в таких случаях, следовало бы приводить рядом с ней в скобках глагольную основу, например: *ачу* (*ачы-*) «окисать, сквашиваться», *бию* (*бие-*) «танцевать», *уку* (*уқы-*) «читать».

Иногда значения выделяются на основе одной цитаты, что представляется недостаточно убедительным. Так, диалектизм *алчак* выступает со следующими зна-

чениями: «1) злой, бессовестный; 2) стремящийся действовать, порывистый; 3) приветливый, радушный, почтительный». Между тем в диалектологическом татарском и в Татарско-русском словарях [4, 3] отмечено лишь его третье значение. Наличие первого значения подтверждено цитатами из произведений К. Тинчурина и Г. Камала, тогда как второе значение проиллюстрировано примером из стихотворения Н. Арсланова, в котором, по-видимому, мы имеем дело с индивидуальным авторским осмыслением *алчак*.

Едва ли целесообразно помещение в словарь слова *ватандар* (с пометой «устар.» и отсылкой к *ватанчы, патриот*), встречающегося один раз у Н. Арсланова и являющегося типичным окказионализмом. Окказионализмами являются и такие слова, как *люфа, тавыкбикэ, трилобит*.

Немало в словаре очень специальных терминов, присутствие которых вряд ли оправдано и которые, кстати, не сопровождаются цитатами, например: *кроглас, легирлау, легислатура, легитимация, легитимизм, феод* и т. д.

У слова *бәндә* выделено два значения: «1. пренебреж. Плохой, зловредный человек; бестолочь, недотёпа, растяпа... 2. устар. В сочетании с некоторыми словами и в особом контексте: человек». В цитатах ко второму значению — определительные сочетания: *рәхмәтле бәндә* «благословенный человек» (М. Файзи), *яхшы бәндә* «хороший человек» (Г. Баширов). Сюда же необходимо перенести цитату с сочетанием *хәтәр бәндә* «опасный человек» (Г. Абсалямов), иллюстрирующую первое значение. Кроме того, у *бәндә* есть значение «раб, невольник», что подтверждается двумя цитатами: *Өйрәтте ул [халык] безне кыюлыкка, Бәндә түгел, кеше булырга* «Научил нас он [народ] смелости, Быть людьми, а не рабами» (Х. Туфан); *Мин бер бәндәң, гыйшкыңа әсирә* «Я один из твоих рабов, пленник твоей любви» (Н. Исанбет).

У слова *ас* III «летчик-истребитель» пропущено переносное значение — «виртуоз, мастер в каком-л. деле».

В толковании слова *гуляш* входит слово *блюдо*, которого нет в корпусе словаря. Предпочтительнее следующий вариант: *...икенчегә бирелә торган ашамлык* (вм. *...икенче блюдо итеп бирелә торган ашамлык*) «...даваемое как второе блюдо».

Слово *сукта* приведено как синоним в статье *тутырма* (домашняя колбаса из мяса и крупы). В иллюстрации (Л. Джаляй) упоминаются оба слова, однако *сукта* осталось вне словаря.

Опыт составления других толковых словарей, например, узбекского [5], свидетельствует о том, что выделение заимствований увеличивает информативную и научную ценность словаря. При наличии специальных помет не лишено смысла членение заглавных слов в тех случаях, когда составляющие их компоненты — разного происхождения, например: «*Арманда* (*арман* п.+ *-да*). Неисполненное желание». Иранизм *арман* в татарском языке выступает не сам по себе, а в форме местно-временного падежа, ср.: *Бабалар кабере яньда күңел гар, Аталар руһының армандасы (арман-да-сы) бар* «У могил предков душа жалобно плачет, Над ними витают неисполненные желания отцов» (Дэрдменд). Другой пример: «*Бервакыт(ны)* (*бер + вакыт* ар.). 1. Однажды (в прошлом). 2. 2. Когда-нибудь (в будущем)». Введение элементарных этимологических сведений не нарушает установившегося своеобразия толкового словаря, а лишь расширяет предмет толкования вплоть до средств выражения. Конечно, заимствованная лексика не всегда опознается без трудностей, многие слова неизвестного происхождения все равно остаются без помет и, тем не менее, паспортизация её — важный и нужный участок лексикографической работы.

Список мелких упущений можно было бы продолжить, однако ясно, что они не являются препятствием для выполнения тех задач, которые ставились в связи с подготовкой толкового словаря. Составители проделали большую работу, огромный труд был вложен в редактирование: унификацию структуры статей, уточнение типовых определений, отбор иллюстративного материала и совершенствование системы помет. Устранены многие называвшиеся ранее недостатки Татарско-русского словаря [3], который в общем является лучшим татарским словарем соответствующего профиля [6].

Словарь имеет и научное, и практическое значение. Будучи энциклопедическим собранием татарской лексики и фразеологии, он углубляет наши представления об общенародном татарском языке, о его формах и стилевых разновидностях, о выразительных средствах и приемах обогащения, знакомит с различными проявлениями духовной жизни народа, отразившимися в семантике слов. Практическое значение словаря — в рекомендациях, способствующих повышению культуры речи (см. раздел «Орфография и ударение» — I, с. XV), в пропаганде норм литературного языка, в содействии освоению классического наследства.

Следует также отметить труд работников Татарского книжного издательства, обеспечивших выпуск словаря на высоком полиграфическом уровне.

В заключение можно с уверенностью сказать, что рецензируемый словарь является крупным достижением отечественной лексикографии и выход его — знаменательное событие в тюркологии.

Щербак А. М., Галимова Г. А., Хакимзянов Ф. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Закиев М. З., Сафиуллина Ф. С.*— СТ, 1978, № 2, с. 77.— Рец. на кн.: Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда. I. Казан, 1977.
2. *Гузеев Ж. М.* Проблематика словника толковых словарей тюркских языков. Нальчик, 1984, с. 9 и сл.
3. Татарско-русский словарь. М., 1966.
4. Татар теленең диалектологик сүзлеге. Казан, 1969, б. 36.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I—II. Маъруфов З. М. таҳрири остида. М., 1981.
6. *Юлдашев А. А.* Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 1972, с. 36—43.

Lehrbuch des modernen Arabisch. Teil I. Von Erdl G. und Beuschel W. 3. Aufl. 20 S. Teil II. Von Blohm D., Beuschel W. und Samarra'e A. 1981. 112 S. — Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie

Все возрастающая роль арабских государств на международной арене, интенсификация их политических, экономических, культурных и иных контактов со странами внешнего мира, укрепление в обстановке коренных социально-экономических преобразований позиций национального языка намного повысили интерес к изучению арабского языка в обеих его формах — письменно-литературной и устно-диалектной. Свидетельством этого постоянно растущего интереса является умножение числа издаваемых вне стран арабского мира разнообразных по своим задачам, языковому материалу и методическим установкам учебников и словарей этого языка. Рецензируемое пособие — это многолетней работы языковедов-арабистов Секции Ближнего Востока и Африки Университета имени К. Маркса (г. Лейпциг, ГДР). В этом уникальном в мировой арабистике по объему учебнике [1] авторы на современной методической основе ставят и пытаются решить многие сложные вопросы создания учебного пособия современного арабского литературного языка (САЛЯ).

Новизна рецензируемого учебника определяется его структурой, современностью и многообразием предложенного для изучения текстового материала, детальной и глубокой разработкой грамматики САЛЯ, изобилием разнообразных тренировочных и речевых упражнений. В отличие от большинства существующих учебников, имеющих основной целью обучения чтение и понимание арабских письменных текстов, авторы данного пособия последовательно держатся методической схемы «слушание — говорение — чтение — письмо» и тем самым устраняют недостатки старого филологического метода, еще широко распространенного в востоковедных учебных заведениях. Всем своим содержанием Учебник показывает, что его авторы учли факт превращения арабского литературного языка (АЛЯ) из орудия изучения литературного арабского наследия в живое средство современной коммуникации. Новые задачи изучения САЛЯ, поставленные авторами Учебника, обусловливают необходимость нового решения многих вопросов методики преподавания языка [2], которая должна следовать не только за достижениями лингвистики, но и учитывать особенности языковой ситуации в регионе. Эффективное и целенаправленное освоение громадной по объему совокупности стилистически разнородных текстов Учебника невозможно без учета не только структурных, но и определенных социолингвистических (диглоссия) характеристик арабского языка. В связи с функционально-стилистическим расслоением текстов Учебника, включающих описательные, преимущественно страноведческого содержания тексты и диалогические тексты, имитирующие беседу на САЛЯ студента, изучающего язык, с носителем языка, встает вопрос об употреблении так называемой контекстной и паузальной форм слова, т. е. реализации синтаксической флексии в потоке речи и опущении ее в паузе. В современной арабской звуковой речи, в частности при чтении литературных текстов вслух, корректное воспроизведение контекстных и паузальных форм осуществляется лишь на самых высоких стилистических уровнях, например, при рецитации определенных классических текстов и в торжественных ораторских выступлениях, на средних же и низших уровнях воспроизведение контекстных форм сводится вплоть до их элиминации в разговорной форме САЛЯ [3]. Поэтому учитывая реалии языковой ситуации, вполне обоснованно высказывается мнение, что в основном курсе САЛЯ система синтаксических флексий должна излагаться частично. Однако, как и многие другие учебники САЛЯ, рецензируемый Учебник, очевидно, ставит задачу полной реализации контекстных форм, причем даже в паузе (ср.: *a-ʿāhu ʾalām*, *a-ʿalā ʾakbar*, *ʾilā ʿaqs*, *addī*, *jāʾa muḥammadun* — I, с. 412 и др. [4]). Выбор решения в данном случае должен быть сделан в пользу более естественного и принятого способа выражения.

Описательные тексты Учебника, в основном адаптированные материалы арабской прессы и частично отрывки из художественной литературы, представляют собой типичные образцы современной живой письменной речи и широко отражают современную общественно-полити-

---

[1] Первая часть Учебника состоит из 28 уроков, вторая — из 24. Третья часть (выходящая в свет в 1987 г.) включает 30 уроков. В ней излагаются вопросы стилистики и семантики САЛЯ, теории и практики перевода.

[2] Появлению учебника предшествовали методические статьи основных авторов см. [1—3].

[3] Проблема контекстных и паузальных форм рассматривается в частности, в работах [4—8]. Следует вспомнить, что средневековые филологи аль-Джахиз, Ибн Кутейба, аль-Калькашанди и др. указывали, что экспромтная устная речь должна быть синтаксически нефлектированной, письменная же содержать все флексии.

[4] Возникает вопрос: если имя собственное *muḥammadun* сохраняет флексию даже в паузе, то как нужно читать составные имена *ḥasan rāšid* (I, с. 351), *adnān ʿārif* (I, с. 231) и т. п.? Обсудив вопрос флектирования составного имени собственного в фразе: *sāfara muḥammad al-ḥasan* «Мухаммад Али Хасан уехал», Каирская академия приняла решение употреблять компоненты составных имен в паузальной форме [9]. В современной письменно-литературной арабской речи наблюдается четкая тенденция вывести имена собственные и географические названия из парадигмы склонения.

ческую, экономическую и культурную действительность стран арабского мира, тенденции их демократического развития. В диалогах же стремление авторов дать безупречные с точки зрения САЛЯ грамматические конструкции, создать завершенные и полные высказывания делает язык несколько искусственным и торжественным, не соответствующим содержанию беседы (например, II, с. 50—51, 527).

Эффективность и интенсификация обучения арабскому литературному языку обеспечивается раскрытием в Учебнике подлежащих освоению основных явлений структуры языка. В нем отведено большое место лингвистическому описанию САЛЯ.

Фонетика и письмо. Общетеоретическая часть вводного курса, в которой излагаются сведения по арабской фонетике и письму, предельно сжата: авторы указывают, что фонетика и письмо должны излагаться в самостоятельных учебных пособиях [5]. Однако хотелось бы видеть в Учебнике хотя бы краткие сведения о региональном варьировании словесного и фразового ударений, а также региональной реализации некоторых классических фонем в соответствии с диалектной нормой. К сожалению, как в основном, так и в продвинутом курсах не нашли освещения также вопросы графики и орфоэпии современной заимствованной лексики и особенно терминологии, в изобилии представленной в текстах Учебника. Между тем фонетическое и графическое варьирование заимствований (ср., например, арабские эквиваленты слов «Гонконг», «Англия», «сигареты» и др.), в том числе допустимость двусогласного начала, является важным дифференциальным признаком САЛЯ. Поэтому в поурочных списках слов для современных заимствований необходима фонетическая транскрипция.

Грамматика. Грамматике в учебниках АЛЯ по традиции принадлежит ведущее место — многие из них по существу являются грамматиками АЛЯ, где основное внимание уделяется учению о формах слов. В современной европейской и американской арабистике трудно назвать другое учебное пособие, в котором предпринималась бы попытка столь полного и всестороннего изложения грамматики САЛЯ и, в частности, синтаксиса. Полагаем, что последовательный подход к слову как к лексической, неделимой единице, раскрывающейся в определенном наборе словоизменительных форм,— главная задача основного курса. Четкое выделение в его рамках хорошо организованного минимума сведений по словоизменению, последующее его систематическое расширение с подключением сведений по словообразованию в продвинутом курсе является одной из главных задач учебника САЛЯ. Поэтому преждевременным представляется осуществленное в Учебнике (начиная с четвертого урока первой части) введение понятий «корень» и «модель», абстрактно-теоретическое определение корня как носителя «определенного смыслового значения слова» (I, с. 70), и, как следствие, расположение слов в поурочных словарях по алфавиту корневых согласных. Этот прием, на наш взгляд, осложняет изучение языка на начальном этапе. Очевидно, в пределах основного курса следовало бы, дав понятие о делении слов на части речи, изложить их основные грамматические категории, представить типовые синтаксические конструкции и лишь на продвинутом этапе заняться анализом словообразовательной структуры слова.

При изложении грамматики в Учебнике явное предпочтение отдается описанию форм и конструкций без раскрытия их содержания. Формально-традиционный подход отмечается, например, в описании системы глагольного словообразования, где даются крайне скупые сведения о семантике глаголов с расширенными основами. Опыт преподавания показывает, что изучение словообразовательных форм должно осуществляться одновременно с изучением их содержания. Примером формального подхода является и раскрытие темы «причастие». Упомянув, что причастие является именной формой глагола (I, с. 336), авторы в качестве иллюстрации дают слово *ṭālib*, где значение «студент» является результатом лексикализации причастного значения. Здесь приводятся также имена, хотя и образованные по моделям причастий, но в функции причастий не употребляемые, как *jānib* «сторона», *fākiha* «фрукты», *ʿāṣima* «столица» (I, с. 339), а также единицы, представляющие собой дальнейшие шаги словообразовательного процесса, как *dāʾira* «круг» (I, с. 339), *muškila* «проблема» (I, с. 341), или результат сокращения речи, например, *jāmiʿa* «университет» от *madrasa jāmiʿa* и *ṭābiʿ* «почтовая марка» от *ṭābiʿ al-barīd*. По традиции к причастиям отнесены и образования типа *bannāʾ* «конструктивный», *naffāṯ* «реактивный» (I, с. 341), в САЛЯ функционирующие исключительно как прилагательные, а также образования типа *faʿāla*, в САЛЯ обозначающие инструменты и транспортные средства (I, с. 342).

В противоположность причастию имени действия (инфинитив, по терминологии авторов) сразу интерпретируется как именная форма глагола (I, с. 361) и отмечается, что большинство инфинитивов могут лексикализоваться по схеме «действие — результат действия» (I, с. 363), но не указываются формальные признаки лексикализации. Остается ли инфинитив инфинитивом, образуя форму мн. числа, выступая как субъект, объект, предикат и т. д.?

Отметим также, что структура имени абстрактного истолковывается то как форма женского рода имени относительного (I, с. 326) и, следовательно, суффиксом является *-a*, то как дериват с суф. *-iyya* (II, с. 978). В последнем случае цитируемый лексический материал (II, с. 978—980) свидетельствует, что под именем абстрактным понимается лишь

[5] Как дополнение к рецензируемому Учебнику издано пособие по фонетике АЛЯ [10]. Последним по времени зарубежным учебником арабского письма является, очевидно, [11].

форма безотносительно к выражаемому ею значению. Однако как модель, так и словообразовательный аффикс в АЛЯ может быть носителем нескольких словообразовательных значений, как то имеет место с суф. *-iyya*. Неточным представляется также истолкование собирательной множественности на *-āt* вроде *ḫazafiyyāt* «керамика», *ʾiqtiṣādiyyāt* «экономика» и др. как соотнесенной с именем абстрактным (I, с. 321). Историческое тождество словообразовательных средств АЛЯ на двух этапах его развития (классический арабский язык — САЛЯ) предполагает при описании современного арабского словообразования необходимость особого внимания к его содержательной стороне, к изменению активности отдельных моделей и аффиксов, к перегруппировкам внутри определенных структурно-семантических разрядов производных слов.

Структурные синтаксические связи в Учебнике выявляются путем трансформаций, причем в дополнение к известной терминологии авторы оперируют также понятиями «именная группа», «предложная группа», «главный глагол», «трансформа» (II, с. 14—15). Здесь поражает обилие приводимого языкового материала. Однако при этом не всегда разграничиваются основные и факультативные варианты, не поясняются, например, последствия перестановки главного и придаточного предложений, а в материале о морфосинтаксическом варьировании в пределах синтагмы не отмечена его связь с лексической сочетаемостью, в результате чего появляются неупотребляемые трансформы (примеры их см. I, с. 467, 468; II, с. 273, 307, 320). С синтаксической трансформацией речи тесно связан вопрос порядка слов в предложении. Во многих местах Учебника констатируется по традиции, что нормальный порядок слов в предложении это глагол — субъект (I, с. 87, 164, 226, 276 и др.) и отмечается фиксированность места тех или иных членов предложения в структуре предложения (I, с. 370; II, с. 274—277 и др.). Однако порядок слов обусловлен коммуникативной целью говорящего, и варьирование его широко показано в фактическом материале Учебника.

Грамматические правила сформулированы четко и лаконично и оснащены множеством примеров. Авторы предпочли традиционный для немецкой и вообще европейской арабистики метод изложения грамматики и использовали существующую языковедческую терминологию обосновывая свое решение тем, что научная грамматика САЛЯ пока не создана [6] и что в ходе обучения, особенно на старших курсах, возникает необходимость использовать известные грамматики К. Брокельмана и В. Райта (I, с. 12). Употребляемые немецкие термины дублируются их арабскими эквивалентами в арабской графике, в ряде случаев используются смешанные термины вроде Nisbe-Endung (I, с. 90), Tamyīz-Akkusativ (I, с. 419), Nisbe-Pluralia tantum (II, с. 979). Не избежали авторы в ряде случаев характерного для арабского языковедения дублирования лингвистической терминологии.

Лексика. Тексты учебника содержат богатейший современный лексический материал. Совокупность этой лексики адекватно отражает общую картину состояния современного словаря АЛЯ. Соответствует реальности языковой ситуации употребление в текстах значительного слоя заимствованной специальной лексики и терминологии, в существующих учебниках АЛЯ практически не отражаемой. Авторы делают также попытку использовать, особенно в диалогах, ограниченное количество диалектной лексики (например, лексемы *ḫilw*, *fāḍī*, *ḥakā*, *miši*, *šibbāk*), в том числе и бытовой заимствованной лексики (ср. *ǧāṭō* и др.).

Лексическая система САЛЯ не менее сложна, чем его грамматическая система. Словарь САЛЯ включает лексику общеарабскую и региональную, общеязыковую и терминологическую, исконно арабскую (сюда можно причислить и освоенные классические заимствования) и заимствованную (современные заимствования-европеизмы), литературную и ограниченное количество диалектизмов, употребляемых в письменно-литературной речи. К сожалению, Учебник не содержит сведений по лексикологии АЛЯ, не объясняет особенностей словоупотребления. Между тем составной частью учебного процесса является обучение словоупотреблению в контексте несходных речевых ситуаций, в частности во избежание ошибочной синонимизации слов, имеющих разную функциональную ценность. Так, часть регионализмов не имеет необходимых лексикографических помет: например *ʿanafa* (сир.) — *turbīna* (егип.) «турбина», *ḥamḍiyyāt* (сир.) — *mawālih* (егип.) «цитрусовые», *bāṣ* (сир.) — *ʾutūbīs* (егип.) «автобус», *ṭāwila* (сир.) — *tarābēza* (егип.) — *māʾida* (общеарабск.) «стол» и т. д. Требует разъяснений различие употреблений слов *barrāda* — *ṣallāja* «холодильник», *sāʾih* — *sawwāḥ* «турист», *naft* — *batrūl* «нефть», *jarīda* — *ṣaḥīfa* «газета», *ʾalam* — *waja'* «боль» и др. Функциональные различия выявляются также и в парах «свое — иностранное», например, *taʾšīra* (II, с. 44) — *vīza* (II, с. 293, 312) «виза», *ḫunāq* (II, с. 787) — *diftīriyā* (II, с. 819) «дифтерия» и др., где, как правило, исконное слово — принадлежность письменной речи, заимствованное — элемент устной речи.

При адаптации арабских текстов для Учебника не всегда осуществлялись необходимые лексические замены, в частности, замена менее употребительных слов на более употребительные. Примеры таких словосочетаний: *ʾalġā* (лучше *halla* или *mana'a*) *-l-ḥizb* «распустить партию», *tahzību* (обычно *tarbiyatu*)*-š-šabība* «воспитание молодежи» (II, с. 334). Отмечаются случаи нетипичного огласования слов,

[6] В настоящее время ставится вопрос о создании особой теоретической грамматики САЛЯ, отличной от грамматики классического языка [12, 13]. В арабских странах, в частности в Египте, появляются публикации о необходимости разработки альтернативной грамматики АЛЯ на основе современной лингвистической теории, особенно для целей преподавания арабского языка; см., например, [14] и др.

например, *tašrīn* (I, с. 259) вм. *tiʿrīn* «октябрь», *ʾuḫdum* (I, с. 499) вм. *ʾiḫdim* «служи». Дважды (I, с. 493; II, с. 321) неточно дано государственное название Алжира. Принципиально неверен пословный перевод на арабский язык названий гостиниц «Штадт-Лейпциг» (II, с. 522) и «Штадт-Берлин» (II, с. 524, 527), улицы «Унтер-ден-Линден» (II, с. 957), площади «Александер-платц» (II, с. 1002).

Каждая часть Учебника снабжена арабско-немецким словарем (I, с. 481—536; II, с. 1011—1112). Наблюдаются случаи, когда в них пропущены отдельные слова, употребляемые в текстах уроков, словарь же второй части повторно включает некоторое количество лексики первой части, в том числе «легкие», широкоупотребительные слова.

Мы не приводим здесь примеры опечаток, неизбежных в подобных изданиях за пределами арабских стран. Отметим, что издательство «Энциклопедия» проделало сложную и трудоемкую работу по выпуску данного Учебника на высоком техническом уровне.

Оценивая рецензируемый Учебник как целое, еще раз отметим новаторский подход авторов к проблемам обучения арабскому литературному языку, оригинальность и современность общеметодических установок, солидность аргументации грамматических положений, актуальность текстовых материалов.

Белкин В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Reuschel W.* Zum Problem eines Grundkursmodells.— In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humd.-Universität zu Berlin. Ges.-Sprachw. R. 1974, Bd. XXIII, Hf. 2.
2. *Krahl G.* Lexikalische Probleme im Zusammenhang mit einem Grundkurs für Arabisch.— Там же.
3. *Blohm D.* Minimum und Optimum der im Unterricht zu vermittelnden arabischen Syntax.— Там же.
4. Contributions to Arabic linguistics. Ed. by Ch. A. Ferguson. Cambridge (Mass.), 1960.
5. *Cadora F. J.* The teaching of spoken and written Arabic.— Language learning, 1965, v. XV, № 3—4.
6. *Cowan W.* Notes toward a definition of modern standard Arabic.— Language learning, 1968, v. XVIII, № 1—2.
7. *Beeston A. F. L.* Written Arabic: an approach to the basic structures. Cambridge, 1968.
8. *Сегаль В. С.* О произносительных стилях в арабском языке.— В кн.: Проблемы изучения языковой ситуации и языковой вопрос в странах Азии и Северной Африки. М., 1970.
9. *Anīs I.* Ḥawla ray fī qawliḥim: sāfara muḥammad ʿalī ḥasan.— Majallat majmaʿ al-luġa al-ʿarabiyya bi-l-qāhira, j. 20 (1966), s. 113.
10. *Kästner H.* Phonetik und Phonologie des modernen Hocharabisch. Leipzig, 1981.
11. The Macmillan Arabic course. Book 1. Write to left. Introduction to script and pronunciation. *Francis T., Frost M.*
12. *Reuschel W.* Die Grammatik des modernen Hocharabisch.— Asien, Afrika, Lateinamerika, 1978, № 5.
13. *Blau J.* The renaissance of modern Hebrew and modern standard Arabic. Berkeley, 1981, p. 148, 178.
14. *Ḥusayn M. K.* An-Naḥw al-maʿqūl.— Majallat majmaʿ al-luġa al-ʿarabiyya bi-l-qāhira, j. 27 (1971), s. 24—59.

Воронин С. В. **Основы фоносемантики.—Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 244 с.**

Автор рецензируемой работы, всесторонне осветив явление фоносемантики, предпринимает попытку построить единую научную теорию этой языковедческой дисциплины, имеющей своим предметом звукоизобразительную систему (ЗИС) языка.

Монография состоит из трех разделов, заключения, библиографии и приложения. Разделы формируются из 12 глав и 26 параграфов, имеющих сквозную нумерацию.

Уже само название как бы определило полемичность этой работы. Не случайно автор предваряет Введение словами известного африканиста Д. Вестермана: «Отношение между звуком и значением в языках пытались установить часто, но не всегда успешно. Языкознание сопротивлялось подобным попыткам, подвергая их сомнению или вообще не признавая, так как усматривало в них дилетантство. Все это не мешает, однако, тому что подобные отношения действительно существуют...» [1]. С расширением исследований по звукоизобразительности выявлялись все новые факты, которые не поддавались адекватной интерпретации с позиций теории произвольности, немотивированности знака. Результаты, достигнутые в различных научных дисциплинах и собранные вместе, не составляли, однако, единого целого, их трудно было связать и правильно осмыслить. Таким образом, на определенном этапе возникла необходимость в строгом системном подходе, который носил бы междисциплинарный характер.

Материалом рецензируемой работы послужили 10 500 звукоизобразительных слов из более чем 100 языков, при этом привлекались английский, башкирский, индонезийский, а также селькупский, нанайский, зулу и ряд других языков.

В разделе I «Фоносемантика как самостоятельная дисциплина» излагаются внешние и внутренние предпосылки фоносемантики. Целесообразность вве-

дения фоносемантики в качестве языковедческой дисциплины доказывается тем, что здесь обнаруживаются принципиально новые результаты и закономерности. Как самостоятельная дисциплина фоносемантика уникальна, т. е. не поддается адекватному изучению в рамках любой из существующих дисциплин. Фоносемантика утверждает себя на стыке фонетики (план выражения), семантики (план содержания) и лексикологии (совокупность этих планов) и связана с глоттогонией, с этимологией, со сравнительно-историческим языкознанием, с типологией. В ряде языковедческих дисциплин фоносемантика связана также с психолингвистикой.

К первому и основному методологическому принципу фоносемантики автор относит принцип мотивированности, «непроизвольности» (С. В. Воронин) языкового знака, «не-произвольности» связи между звуком и значением в слове. Утверждая принципиальную «не-произвольность», мотивированность языкового знака, автор не хочет тем самым сказать, что все без исключения слова в современном языке можно квалифицировать как мотивированные: на современном этапе развития этимологии многие слова не могут быть охарактеризованы как мотивированные. Сторонники «не-произвольности» в языке отнюдь не отрицают существования произвольности. В конкретном акте номинации выбирается некоторый признак объекта-денотата, полагаемый в основу номинации,— и в этом принципиальном моменте номинация мотивирована; выбор же именно данного конкретного признака во многом случаен — и в этом более частном моменте номинация во многом произвольна, немотивирована. К принципам фоносемантики относятся также принцип детерминизма (обусловленность звукового облика слова значением слова) и принцип отражения.

Раздел II «Звукоизобразительная система в пантопохронии», снабженный конкретным языковым материалом, имеет сложное деление. В первой части раздела («Синхронический аспект») описываются звукоподражательная и звукосимволическая подсистемы. Попытки субъективного характера связать звуковой (фонетический) облик звукоподражательного слова с характером звукового денотата встречаются у многих исследователей. Автор, однако, стремится в первую очередь установить, какими акустическими параметрами звучания-денотата обусловливается выбор того или иного типа фонем, входящих в состав звукоподражательного слова. В главе «Акустический денотат» устанавливается пять основных параметров звучаний: высота, громкость, время, регулярность (периодичность колебаний), диссонантность; дается классификация классов и типов звучаний (соответственно три и девять); исследуется строение денотата (10 признакотипов). В главе «Звукоподражательные слова» разрабатывается типология звукоподражательных слов, устанавливаются их классы и гиперклассы. Всего в ЗПС языка-эталона (английского) выделяется 18 типов звукоподражания, в башкирской ономатопее — 15, в индонезийской — 13. Психоакустически фонемотипы могут быть представлены как совокупность определенных элементов — квалитативных (четыре) и квантитативных (три). Далее в разделе рассматривается звукосимволическая подсистема, ее психофизиологическая основа — неакустический денотат и, в первую очередь, разнообразные кинемы и синестэмия («соощущения» + «соэмоции»). Синестэмия определяется автором как психофизиологическая универсалия, лежащая в основе звукосимволизма как универсалии лингвистической (ср. *острый вкус*, *сладкие звуки*, *кислый запах* и т. п.). Становятся в связи с этим понятиями признаки звукосимволического слова (в основу номинации здесь могут быть положены признаки объектов, воспринимаемые в любой сенсорной модальности человека, кроме слуховой — в этом случае речь идет уже о звукоподражании). Это могут быть признаки, получаемые главным образом через обоняние, зрение, вкус, осязание. Выявленные на основе анализа звукосимволического материала признаки звукосимволических слов и критерии их идентификации таковы: семантические критерии — 1) эмоциональность и экспрессивность, 2) образность семантики, 3) конкретность семантики, 4) обозначение простейших элементов психофизиологического универсума человека; грамматические критерии — 5) морфонологическая гипераномальность; словообразовательные критерии — 6) редупликация; структурно-фонетические критерии — 7) фонетическая гипераномальность, 8) относительное единообразие формы, 9) фонетическая гипервариативность (протетический сонорный, метатеза, «чередование гласных», «чередование согласных» — по способу, по месту артикуляции, по звонкости/глухости); функциональные критерии — 10) стилистическая ограниченность; интерлингвистические критерии — 11) типологическое сходство (изоморфизм) звукосимволических слов по разным языкам. В ходе эволюции звукосимволические слова обычно утрачивают свою первоначальную семантическую и функциональную ограниченность, «смешиваясь» со словами незвукоизобразительной сферы. Поэтому применение критериев 1—4, 10 оказывается действенным лишь в совокупности с этимологическим анализом.

В разделе II анализируются также и некоторые наиболее интересные разновидности кинесемизмов. В связи с описанием полилабиальных английских перформативов вводится понятие звукосимволической зоны слова с четырьмя основными параметрами.

Помимо фонемного, зависимость действует и на уровне текста (не только поэтического), и на морфемном уровне: ср., например, редупликацию (полную или частичную) или удлинение гласного как показатель множественности, уменьшительные суффиксы. Подробно в работе описываются итеративные RL-форманты в различных языках мира (голл.-*eren*,

-elen: *knetteren* «трещать», *wankelen* «шататься»; индонез. *-er-*, *-el-*: *geridip* «сверкать», *gelebak* «звук от падения мелких фруктов, нескольких книг»).

Во второй части раздела II («Генетический и диахронический/эволюционный аспекты») речь идет о происхождении языка и его эволюции. Автор не претендует здесь на полное освещение этой проблемы; останавливаясь лишь на узловых моментах, имеющих прямое отношение к генетическому аспекту рассмотрения ЗИС, он предлагает свою глоттогоническую концепцию. При обсуждении проблемы автор четко разграничивает два круга вопросов: условия генезиса и собственно генезис (см. схему на с. 126 книги). Приводятся аргументы за и против теории фюсей, анализируется соотнесенность жеста и звука. В своих аргументах автор, опираясь на новейшие данные приматологии и нейрофизиологии, приходит к следующему выводу: языковой знак на начальном этапе филогенеза отприродно (примарно) мотивирован, изобразителен.

В главе «Эволюция языка» широко используются данные по онтогенезу детской речи. Слова детской речи универсальны и в то же время конвенционализированы, как и любые другие примарно мотивированные, звукоизобразительные в своей основе слова. Эволюционируя, знак «удаляется» от означаемого, однако процесс денатурализации знака не означает его демотивации: происходит преимущественная утрата примарной мотивированности, которая в значительной мере компенсируется секундарной мотивированностью — семантической и морфологической. «Маскировка» звукоизобразительной природы слова в процессе его денатурализации является основной причиной недостаточной разработки звукоизобразительных этимологий. Так, по подсчетам автора, объем дескриптивной лексики в ностратическом словаре В. М. Иллича-Свитыча в действительности превышает одну треть объема словника.

Завершив рассмотрение фоносемантики на эмпирическом уровне, автор переходит в разделе III «Теория звукоизобразительной системы в пантопохронии» к обсуждению предмета на теоретическом уровне. Наиболее общими понятиями фоносемантики являются категории «звукоизобразительная система» и «пантопохрония». Категория ЗИС обладает минимум 38 признаками. В онтологическом плане автор выявляет три компонента этой системы. В качестве системообразующего свойства (концепта) здесь выступает звукоизобразительность. Подчеркивается роль элементов мотивационной сферы и особенно роль мотивотипа. Анализируя фонетический субстрат системы, автор выделяет конкретные вариантные элементы (единицы) ЗИС. Категория фонемотипа выступает как основной инструмент исследования лингвистического яруса ЗИС и всей системы в целом. Важное значение имеет также категория словотипа, или модели (см. главу о звукоподражательных словах). Структура системы рассматривается как совокупность внутрисистемных связей. В итоге, ЗИС категориально оценивается как множество элементов разных уровней архисистемы языка, (а) обладающих системообразующим свойством, которое заключается в наличии закономерной «не-произвольной» фонетически (примарной) мотивированной связи между фонемами слова и мотивом номинации, и (б) упорядоченных по совокупности отношений строения (синтагматических, парадигматических, иерархических), функционирования, порождения, развития и преобразования. Вторая наиболее общая категория фоносемантики — категория пантопохронии (пантопия — панхрония). Пантопия включает монотопию (рассмотрение ЗИС одного какого-либо языка) и политопию (рассмотрение ЗИС в любой совокупности языковых ареалов). ЗИС в политопии изучается фоносемантической типологией, основы которой, в сущности, закладываются в рецензируемой работе. В конце раздела рассматриваются фоносемантические закономерности (законы соответствия, гомоморфности, фоносемантические универсалии и др.) и эвристические возможности фоносемантики (в сфере функционирования знака, проблем типологии, происхождения знака, интерлингвистики).

Проведенным исследованием утверждается в правах самостоятельная языковедческая дисциплина, оперирующая своим набором понятий и определений. Важное место в работе занимают формулируемые в ней принципы этой дисциплины. Убедительно доказывается, что материальная сторона языкового знака в своих истоках мотивирована. Автор предлагает перспективную программу дальнейших фоносемантических разработок, в частности, эмпирические системные исследования в отдельных языках, исследование психофизиологических основ звукоизобразительности, фоносемантический анализ лексико-семантических групп в разных языках. Обширная библиография в конце книги, с одной стороны, иллюстрирует междисциплинарный характер исследования, а с другой, свидетельствует о растущем научном интересе к проблеме звукоизобразительности в языке. К положительным характеристикам можно отнести и то, что монография С. В. Воронина располагает к творческой дискуссии по ряду важнейших вопросов языкознания.

Вероятно все же, что многим исследователям идея примарной мотивированности языкового знака покажется преждевременной или гипотетической, так как выявление первоначальной мотивированности звуковой стороны языковых единиц в большинстве случаев представляется сейчас едва ли возможным прежде всего в силу значительной «стертости» первоначального звучания, дефоносемантизации.

Возражение может вызвать и размещение так называемых звукосимволических слов в звукосимволической подсистеме: такие слова, как нам кажется, сплетаются с звукоподражательными словами. В подавляющем большинстве случаев звукоподражательные слова не передают, а символизируют звучание и нередко одновременно звукоописывают форму и некоторые другие признаки предмета или явления, т. е. выступают в роли звукооб-

разов, в принципе не отличающихся от «звукосимволических слов».

Заметим также, что исторически число звукоизобразительных слов может увеличиваться. Существенно также и то, что расширяется и совершенствуется набор фонетических средств, используемых для формирования звукоизобразительных слов. На фоне дефоносемантизации тем более очевидно появление большого числа дескриптивов, мотивированных лишь по форме. Это «корневые» слова с нулевой или «зачаточной» морфологией (например, японские «звуковые» жесты, идеофоны в африканских языках; ср. также англ. *hoity-toity*, нем. *wirr-warr*), которые формируют дополнительный класс слов со специфическими, в том числе грамматическими признаками. Описание аномальной грамматики таких слов могло бы существенно дополнить соответствующий раздел в рецензируемой книге.

Недостаточное количество примеров, сложная система терминов затрудняют понимание отдельных глав. Следует иметь в виду, что большинство читателей, по-видимому, не в полной мере знакомо с проблемами фоносемантики и читать «с листа» в ряде случаев им будет нелегко.

Наконец, резюме на английском языке в конце книги совершенно не раскрывает содержание этой интересной работы.

Журковский Б. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вестерман Д.* Звук, тон и значение в западноафриканских суданских языках.— В кн.: Африканское языкознание. М., 1963, с. 94.

Мартынов В. В. **Язык в пространстве и времени. (К проблеме глоттогенеза славян.** — М.: Наука, 1983. 108 с.

В книге В. В. Мартынова излагаются основные положения теории глоттогенеза (возникновения этноопределяющих языков) и приводится самый необходимый лингвистический материал для обоснования оригинальной гипотезы об этапах развития и прародине праславянского языка. Замысел автора сводится к тому, чтобы в явном виде представить логику рассуждений и важнейшие факты, на которых основана его гипотеза. Заинтересованный или заинтересовавшийся читатель отсылается к работам [1—5], где содержится более полная аргументация отдельных положений и несколько полнее анализируются конкретные факты.

Общие проблемы, возникающие при исследовании глоттогенеза, рассматриваются В. В. Мартыновым во Введении (с. 3—13). Автор исходит из того, что «корректнее ставить вопрос о глоттогенезе этноса, если задача решается лингвистическими средствами» (с. 4). Глоттогенетическое исследование предполагает «строгую ретроспекцию при анализе материала» (с. 4) и классификацию поздних пластов лексики по происхождению. Последнее возможно в том случае, если отказаться от «презумпции исконности» (требующей исчерпать все возможности объяснения на основе данного языка, прежде чем искать иноязычный источник) и принять, что «поиску этимона всегда (даже в казалось бы ясных случаях) должна предшествовать пространственно-временная стратификация слова, а это фактически приводит к приоритету поиска иноязычного источника» (с. 4). Сразу же отметим, что последнее положение можно принять только в том случае, если под этимоном понимается достаточно глубокая реконструкция (например, до уровня и.-е. диалекта).

Из сказанного, однако, вовсе не следует правомерность авторского предостережения «против обычного порядка представления данных», когда «традиционно сначала устанавливается генетическое тождество..., а затем демонстрируется пространственное распределение этих форм...» (с. 5). Очевидно, без предварительного установления генетического родства языков, а, значит, и некоторого множества форм, вопрос о реальном пространстве и времени глоттогенеза не может быть поставлен вообще. Действительно, в первом случае выявляются регулярные (закономерные) отношения, во втором, идет поиск нерегулярностей, отклонений от них.

Установить прародину языка и время его формирования возможно путем обнаружения «контактов данного языка с языками, пространственно-временная стратификация которых известна предварительно» (с. 5). «Лексические соответствия для двух территориально смежных языков...» — если они не восходят к общему праязыковому состоянию — должны «рассматриваться в первую очередь как результат лексического проникновения (инфильтрации)...» (с. 6). Основными критериями определения проникновений являются фонетический, семантический, словообразовательный и лингвогеографический (смежность языков) (с. 7). Проникновениями (инфильтрациями) называются заимствованные лексемы, имеющие синонимические соответствия в языке-реципиенте. Поиск пар идеографически абсолютных синонимов — сугубо лингвистическая процедура, что делает ее методологически важным инструментом исследования (с. 8).

Труднее поддается интерпретации понятие ингредиента, вводимое В. В. Мартыновым (с. 7—8). С одной стороны, это

несомненно мощный слой адаптированных иноязычных заимствований на всех уровнях языка, значительно изменивших его первоначальный облик. В таком смысле говорится об италийском ингредиенте в одном из западно-балтийских диалектов (способствовавших его превращению в протославянский), и о скифо-иранском ингредиенте в протославянском (с последующим развитием праславянского) (с. 7—8, 14—16, 93—95). Но основным ингредиентом называется и собственно протобалтийская основа прото- и праславянского (с. 8, 95). Оказывается, таким образом, что ингредиент ингредиенту рознь, поскольку италийское влияние не привело к включению возникающего языка в число италийских, а иранское — в иранскую группу. Основной ингредиент развивается дивергентным путем, т. е. путем эволюции, он восходит к некоторому общему состоянию языков и диалектов. Различие между контактными и генетическими отношениями языков играет важнейшую роль в теории глоттогенеза (см с. 6, 9), но оно снимается введением понятия «основного ингредиента», в чем нельзя не усмотреть явного противоречия.

Контактное взаимодействие, или конвергенция (с. 8), «диагностирует становление и развитие языка в реальном пространстве — времени» (с. 9); «конвергенция не отрицает, а как раз наоборот, предполагает проходящее в системной связи с ней внутреннее развитие древних унаследованных ресурсов» (с. 9), т. е. дивергентное развитие. Важно отметить, что методика установления конвергентных этапов сначала отрабатывается автором на материале хорошо засвидетельствованных языков, а затем применяется для более древних состояний (с. 12). Такой подход обычно дает надежные и нетрадиционные результаты.

Анализ конкретных фактов, выполненный в работе, служит не только демонстрации возможностей теоретической программы автора, но и составляет основу для реконструкции основных этапов развития праславянского языка.

В разделе «Славяно-германские языковые контакты» (с. 16—35) доказывается существование четырнадцати праславянских заимствований в прагерманский (*datla*, *dailjan*; *hwata*; *malta*; *maþljan*; *neþija*; *plata*, *platja*; *plōga*; *sadula*; *sakan*; *skāpa*; *skatta*; *tita*; *tin-*; *warga*). При их выявлении, согласно автору, «кроме традиционного фонетического критерия были использованы критерии семантико-словообразовательный и лингвогеографический» (с. 16). Аналогичные приемы применяются при внутренней реконструкции, последовательно проводимой автором. Наиболее убедительные решения о направлении заимствования основаны на фонетических критериях; остальные критерии только усиливают их (как, например, словообразовательный при анализе прагерм. *datla*, *dailjan* ← ← праслав. *dělъ*, *děliti*). Фонетический критерий оказывается достаточным в тех случаях, когда в германских языках обнаруживаются двойные рефлексы одной и той же праформы (например, др.-англ. *niþþas* ~ *nift*; *plōg* ~ *fielg* и др.). Словообразовательный критерий такого веса не имеет ни для одного примера. Более того, при анализе прагерм. *sadula* ~ ~ праслав *sedъlo* он оказывается просто несущественным (-ъ- в слав. не находит объяснения). Автор убедительно объясняет *a* в герм. *sad-* как отражение праслав. **e* широкого, но в целом вопрос о соотношении *sadula* ~ *sedъlo* не кажется решенным окончательно.

Семантический критерий усиливает предположение о прагерм. *sakan* праслав. *sočiti* (ср. др.-исл. *segja*, *sǫkja*. Дополнительной аргументации, на наш взгляд, требует идея подвижного ударения в праслав. *xvatъ*. Примечателен этюд о праслав. *tynъ* (< *tyti* «расти») как источнике прагерм. *tyn-*; очень интересна аргументация о связи праслав. *tulo* и *tьlěti*.

Очевидно, вне зависимости от оценки степени надежности отдельных этимологий после работ В. В. Мартынова, в том числе и рецензируемой, вряд ли можно отрицать сам факт существования общегерманских славянизмов. В свою очередь, они гарантируют «локализацию древнейших славяно-германских контактов» в зоне нижнего и среднего течения Одры в V—III вв. до н. э. (с. 93; карту см. в работе [5]).

Кельтский слой заимствований («Славяно-кельтские языковые контакты», с. 35—46) представлен в работе восьмью лексемами; все они имеют исконные синонимические соответствия — (первые в парах) *luža* (*bolto*) — *bagno*, *červo* — *br'uxo*, *rupa* — *jama*, *rešeto* — *klětь*, *sьrxъ* — *korsta*, *tukъ* — *sadlo*, *skъrbь* — *sěta*, *korkъ* — *tragъ*. Фонетика и семантика предполагаемых кельтизмов вполне достаточна для их выявления, так что наличие славянских синонимов здесь только усиливает аргументацию принятого решения. Убедительным является лингвогеографическое доказательство славянского происхождения литов. *klětis*. В паре *tukъ* — *sadlo* (в тексте ошибочно *tunъ*, а также литов. *tankai* вм. *taukai*, лтш. *tanki* вм. *tauki*, др.-прус. *tankis* вм. *taukis*), судя по приведенным материалам, подлинным синонимом к *sadlo* является праслав. *solnina*. Фонетические трудности при доказательстве кельтского происхождения *sadlo* (наличие *-a-* и *-dl-* вм. *-ld-*) автором не преодолены. Доказательно реконструируется история семантического взаимодействия пары *korkъ* — *tragъ* «нога, шаг».

Наличие праславянских кельтизмов позволяет говорить о праславяно-кельтских контактах в бассейне верхней Одры после III в. до н. э. (с. 93, карта в работе [5]; см. также [6]). Кельтские проникновения свидетельствуют о существовании собственно заимствований, обычно появляющихся в ходе контактов до проникновений. В этом отношении наблюдения В. В. Мартынова служат стимулом для исследования дальнейших славяно-кельтских отношений. Поскольку (судя по археологическим данным) кельты растворились в среде населения со-

временной южной и центральной Польши [7, с. 101—104], то не исключены локальные кельтизмы в польских говорах и кельтское влияние на их фонетику.

Слой праславянских (скифо-) иранизмов («Иранский ингредиент в праславянском», с. 46—57), в рецензируемой работе представлен семнадцатью проникновениями, образующими пары *bъsъ — divъ*, *bl'usti — patriti*, *bur'a — dъždъ*, *bъrtviti — gatati*, *bъrzъ — xъrtъ*, *dël'a — radi*, *divъ — bogъ*, (*do—*)*pri—kъ*, *kosa — volsъ*, (*modrъ—*), *polvъ — sinъ*, *ognь — (v)atra*, *onъ — ovъ*, *ǫžь — (j)ašerъ*, *sl va — xvala*, *tesla* (*sekyra*) — *toporъ*, *repa — opoka*, *virъ — mǫžь* (вторые члены иранизмы). Своеобразие их в том, что буквально все эти иранизмы были открыты (или предполагались) ранее. Следовательно, анализ синонимии выступает здесь не столько как инструмент исследования, сколько как способ уточнения семантического ст туса заимствований и, следовательно, вида контактов.

В паре *b sъ — divъ* иранское влияние отражает только семантика (ср. др.-иран. *daeva*). Отсюда следует, что пара *divъ — bogъ* фиксирует исходное состояние после заимствования *baga*. Изучение праславянских иранизмов имеет длительную историю, так что анализ литературы о каждом слове, как показывают соответствующие статьи ЭССЯ (Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 1—10. М., 1974—1983; см. *(v)atra*, *(j)ašerъ* и др.), мог бы составить отдельную работу. По этой причине В. В. Мартынову в каждом случае необходимо было привести максимально убедительную аргументацию, и он достиг этой цели. Набор праславянских иранизмов, рассмотренный им, «заведомо неполон» (с. 56); очевидно, это касается как проникновений, так и собственно заимствований. Важно, что в числе их имеется предлоги (*kъ, radi*) и местоимение *ovъ*. Эти грамматические проникновения наглядно свидетельствуют об интенсивном характере протославо-скифоиранских контактов и о билингвизме (по крайней мере, на части праславянской территории). Приведенных данных явно недостаточно для обоснования утверждения о том, что «праславянский язык следует считать сложившимся после нашествия скифов и уничтожения лужицкой культуры (VI—V вв. до н. э.)» (с. 16). Однако в этом отношении мы полностью солидарны с В. В. Мартыновым, поскольку, как показывает лингвогеографический анализ, абсолютное большинство фонетических изменений в праславянском приурочивает его к иранскому языковому миру (о ерах, в частности, см. [8]). После отпадения конечных согласных и развития тенденции к открытому слогу, палатаций, монофтонгизаций, образования еров и некоторых других явлений сложился фонетический облик собственно праславянского языка, или, по терминологии В. В. Мартынова, осуществился переход от протославянского к праславянскому.

Протославо-скифоиранские контакты локализуются В. В. Мартыновым (в согласии с [9; 7, с. 99—100]) на территории современной Польши (см. карту в работе [5]).

Наиболее яркой частью рецензируемой книги является раздел «Италийский ингредиент в праславянском» (с. 57—92). В научно-историческом смысле В. В. Мартынов продолжает поиски следов древних славяно-европейских контактов, начатые О. Н. Трубачевым [10, 12] (славяно-италийские параллели без генетической интерпретации рассматриваются в работе [13]). По существу же В. В. Мартынову удалось открыть совершенно новую страницу в истории формирования праславянского языка.

Основу списка из тридцати шести лексических пар составили материалы доклада, прочитанного автором на VIII Международном съезде славистов [4]; в рецензируемой книге список предполагаемых итализмов дополнен лексемами (вторые в парах) ((*j*)*dla-*) *igъla*, (*ny —*) *my*, (*jь*)— *vy*, (*smola —*) *pekъlъ*, (*svatъ —*) *gostь*. Этот список, как отмечает сам автор, неоднороден. В двадцати четырех случаях предполагаемые заимствования, согласно В. В. Мартынову, имеют точные параллели только в италийском (с. 90). В действительности же этому требованию удовлетворяют только семнадцать (на возможные италийские формы в таких случаях указывают латинские лексемы): *bernъ — dětъ* (лат. fētū), *desnъ — pravъ* (лат. *prāvus*), *gǫsь — gǫserъ* (лат. (*h*)*anser*), *gъnati — pasti* (лат. *pāsco*), *gъrdlica* (собственно, *gъrdl-*) — *golǫbъ* (лат. *columbus*); *gъrdlo — glъtъ* (лат. *gl tus*), *jara — lěto* (лат. *laetus*), *jarъ — agnъ* (лат. *agnus*), *kǫtъ — ǫgъlъ* (лат. *angulus*), *kъlkъ — bedro* (лат. *femur* < **bhedrom*), *my — ny* (лат. *nōs*), *jь — vy* (лат. *vōs*), *pъrst — palьcь* (лат. *pollex* < **polikis*), *smola — pekъlъ* (лат. *picula*), *starъ — materъ* (лат. *māt rus*), *tesla — sekyra* (лат. *sek ris*), *zъdъ — gъrn* (лат. *furnus*).

Вопреки автору, с меньшей степенью вероятности к парам этого типа относятся *komonь — kobyla* (лат. *caballus, cabo*), поскольку неясно происхождение суффикса *-la-* в славянском и, кроме того, само латинское слово подозревается в заимствовании *kyjь — moltъ* (у лат. *malleus* неясная этимология); *soxa — vidla* (лат. *fibula* также не имеет надежной этимологии); *mǫka — boršьno* (имеется не только лат. *farīna*, но и лат. *barizeius*); при наличии греч. *σῆς σῆς* слав. *snubiti* может указывать на протославо-балканские связи, так что нет оснований сопоставлять его только с лат. *n bo, n here*.

Что касается предположения о заимствованном характере слав. *luna*, то обосновать его трудно. Лат. *l na* и слав. *luna* имеют только одно общее значение (ведь кроме «луна» славянское слово обозначает «слабый отблеск, эхо» и пр., что нехарактерно для латинского слова). Доказательство о том, что прусск. *launna* «возможно, отражает проходившие в этом регионе италийско-балт. контакты» (с. 77), при наличии надежных иранских параллелей вряд ли доказуемо в принципе.

Неубедительно обосновано существование пары *bъrna* — *rydlo* «рыло» и неисконность *rydlo*. Прежде всего трудно доказать семантическое развитие «морда — губа — рыло» у праслав. *bъrna* (тем более, что лит. *purnà* «рыло» при более обычном для него «морда» кажется инновацией). Во-вторых, слав. *ryti* вряд ли есть смысл соотносить прямо с лат. *ruere* «рушиться, обрушиваться, валиться; разрушать, разметать» и под. при наличии литов. *rauti* «рвать, вырывать», *rausti* «рыть»; если это так, то отпадает необходимость трактовать *rydlo* как результат адаптации итал. **rōdtrom* (лат. *rostrum* «клюв, морда, рыло»).

Дополнительной и более основательной аргументации требует отнесение к числу (менее надежных) итализмов праслав. *svinia*, *bykъ*, *loky*, *motyka*, *lěvъ*, *olbodь*, *bolto*, *malъ*, *baranъ*, *plesti*, *gostь*, *tulo*. По нашему мнению, вряд ли вообще можно доказать италийское происхождение *motyka* (при наличии только позднелатинского слова), *loky* (при наличии кельт. **lak-*), *baranъ* (при отсутствии собственно италийских форм), *bykъ* (лат. *bos* отражает позднедиалектный рефлекс италийской формы со свернутым дифтонгом); более вероятным кажется проникновение слов *olbod*, *tulo*.

Для выдвижения гипотезы о существовании древнейших протославо-италийских контактов семнадцати надежных примеров более чем достаточно. Особенно интригует предположение об италийском влиянии на протославянскую систему личных местоимений. Если в дальнейшем оно не будет отвергнуто, то одного его вполне достаточно, чтобы признать гипотезу автора вполне вероятной.

Наличие несомненных италийских проникновений позволяет предполагать и существование просто заимствований из этого источника. Поскольку же речь идет об очень древней эпохе (после XII в. до н. э.), то отличить их от диалектных северо-индоевропейских слов практически невозможно. В этой ситуации в полной мере срабатывает идея поиска и анализа структуры семантических пар, т. е. наличие идеографических синонимов оказывается теперь мощным инструментом поиска следов возможных контактов.

Протославо-италийские контакты локализуются В. В. Мартыновым в междуречье Одры и Вислы, начиная с XII в. до н. э. (с. 94; карта в работе [5]). Это решение основано на данных археологии о распространении на данной территории элементов более южных культур [7, с. 71—81]. Очевидно, носители этих культур названы италийцами условно; более подошли бы термины «венеты» или «иллирийцы», но оба они слишком отягощены грузом разнообразных и не очень обоснованных гипотез, чтобы на них опереться. «Италийцы» В. В. Мартынова могли быть носителями языков, близких к италийским, судя же по наличию латинских соответствий предполагаемых заимствований, не исключен их собственно италийский характер.

Лингвистические данные, приводимые в книге, позволяют автору сформулировать гипотезу об основных этапах развития праславянского языка (Заключение, с. 93—96). Согласно этой гипотезе, после распадения протобалтийской языковой общности на западную и восточную ветви часть западных балтов (носители «основного ингредиента») испытала сильное италийское (т. е. юго-западноевропейское) влияние; в результате конвергентных процессов формируются протославянские диалекты. Протославяне, следовательно, это уже не балты, но и еще не славяне. С VI в. до н. э. начинается протославяно-скифо-иранское взаимодействие; вобрав иранский ингредиент, протославяне дают начало праславянам.

Наличие славянизмов в прагерманском позволяет уточнить северо-западную границу славянской территории в V—III вв. до н. э., а кельтизмов в праславянском — юго-западную. Территория распространения славян с северо-востока и востока была, очевидно, ограничена балтами (что заставляет думать о поисках следов праславяно-балтийского взаимодействия); южные и юго-восточные границы ее пока остаются неопределенными.

Изложенная гипотеза представляет собой дальнейшую конкретизацию и обоснование фактами лексики идей В. Гажелиса [14], опиравшегося, в свою очередь, на наблюдения Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова [15]. Нам она кажется глубоко обоснованной и хорошо согласующейся с известными фактами. В работе не затрагивается вопрос о том, замыкалась ли территория первоначального распространения славян в очерченных В. В. Мартыновым пределах (т. е. междуречьем Вислы и Одера с прилегающими районами), или же она имела значительное юго-восточное продолжение.

В заключение хотелось бы отметить, что книга В. В. Мартынова — это работа исследователя, стремящегося к однозначным решениям и ищущего методы их достижения. Она полемична по своей сути, по заостренным формулировкам, по способу подачи примеров и по гипотезе, в ней содержащейся.

Чекмонас В. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мартынов В. В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.
2. *Мартынов В. В.* Лингвистические методы обоснования гипотезы о висло-одерской прародине славян. Минск, 1963.
3. *Мартынов В. В.* Праславянская и балто-славянская суффиксальная деривация имен. Минск, 1973.
4. *Мартынов В. В.* Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978.
5. *Мартынов В. В.* Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов. Минск, 1982.
6. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древнейшие славяне по данным этимологии и ономастики.— ВЯ, 1982, № 5, с. 9—15.

7. *Кухаренко Ю. В.* Археология Польши. М., 1969.
8. *Чекман В. Н.* К происхождению, фонетической и фонологической интерпретации праславянских еров.— Lingua Posnaniensis, 1974, XVIII.
9. *Sulimirski T.* Kultura łużycka a Scytowie.— Wiadomości Archeologiczne, 1939—1948, t. XVI.
10. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
11. *Трубачев О. Н.* Несколько древних латинско-славянских параллелей.— В кн.: Этимология. 1973. М., 1975.
12. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древнейшие славяне по данным этимологии и ономастики. — ВЯ, 1982, № 4, с. 18—19.
13. *Топоров В. Н.* Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам.— В кн.: Этимология, 1972. М., 1974.
14. *Mažiulis V.* Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai (Declinacia). Vilnius, 1970.
15. *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. М., 1958.

***Черданцева Т. З., Рецкер Я. И., Зорько Г. Ф.* Итальянско-русский фразеологический словарь.** Под ред. Рецкера Я. И. — М.: Русский язык, 1982. 1056 с.

Составление словарей, особенно фразеологических, по праву считается трудоемким процессом. За 30 лет, истекших с момента выпуска фразеологического словаря А. В. Кунина [1], вышло всего несколько словарей подобного типа [2—4]. Это обстоятельство объясняется не только трудностью составления, но и разной степенью разработанности фразеологии различных языков. Как правило, создание фразеологического словаря следует за научными исследованиями в области фразеологии. Поэтому значимость фразеологического словаря двойная: он является, с одной стороны, свидетельством высокого уровня исследованности фразеологии, с другой стороны, стимулом для дальнейших теоретических изысканий. Последнее особенно важно в связи с критикой, высказываемой в адрес фразеологов [5].

Рецензируемый словарь можно с полным правом рассматривать как значительное достижение современного языкознания. Это — первый итальянско-русский фразеологический словарь. По своей полноте (около 23 тыс. ФЕ), методике составления, качеству перевода и иллюстрирования этот труд является свидетельством дальнейшего развития двуязычной фразеографии в нашей стране и теории фразеологии итальянского языка, базу которой заложили труды одного из авторов словаря Т. З. Черданцевой.

Словарь предназначен «для широкого круга лиц, владеющих итальянским языком или изучающих его. Он является справочником для читателей и переводчиков художественной, общественно-политической и научно-популярной литературы, а также для филологов, занимающихся изучением итальянской фразеологии» (с. 6). Такое назначение оправдывает включение в словарь не только устойчивых оборотов, безоговорочно признаваемых фразеологизмами, но и речевых формул.

По параметрам [6] своей структуры словарь аналогичен французско-русскому фразеологическому словарю (ФРФС) [3]. Он использует ту же методику презентации языкового материала: алфавитно-гнездовой порядок статей ФЕ и структурно-алфавитный принцип расположения словосочетаний внутри одной и той же статьи.

Преимущества такой методики, на которые указывал В. Г. Гак во вступительной статье к ФРФС [3, с. 10], подтвердились 20-летней практикой работы с ФРФС. Это дает основания считать алфавитно-гнездовую методику оптимальной для данного типа словарей, и обращение к ней авторов рецензируемого словаря следует приветствовать.

В качестве основного приема семантизации фразеологических единиц используется перевод, в основе которого лежит либо фразеологический эквивалент, либо аналог, либо интерпретация. Особо следует отметить важность внедрения во фразеологическую практику введенного Т. З. Черданцевой понятия идеограммы [7] как одного из важнейших параметров словаря: речь идет о представлении структурно-семантических особенностей ФЕ одного языка средствами другого.

Множество фразеологических единиц снабжено стилистическими пометами, отдельные ФЕ, возникновение которых связано с историческим фактом или обычаем итальянского народа, сопровождаются кратким пояснением. Таким образом, читатель имеет возможность почерпнуть из словаря не только значение ФЕ, но и краткие этимологические и стилистические сведения о тех ФЕ, которые этого требуют (правда, желательно было бы увеличить число помет, касающихся паралингвистической информации).

Важно отметить, что рецензируемый словарь, как и его предшественники, разработан в рамках стройной фразеологической концепции советских ученых, в основе которой лежит понимание фразеологизма как устойчивого переосмысленного словосочетания. По этой причине фразеологические словари, выпущенные в нашей стране, не имеют аналогов за рубежом, где словари под тем же названием по существу представляют собой смешанный лексико-фразеологический

тип. Например, итальянско-испанский фразеологический словарь С. Карбонелла, наряду с устойчивыми оборотами, включает большое количество слов и выражений типа *abito da donna* «дамское платье», *abito da uomo* «мужской костюм» [8].

Наши критические замечания нельзя причислить к недостаткам словаря, а скорее следует считать пожеланиями, которые могут быть учтены при переиздании словаря. 1) ФЕ, образованные на основе омонимичных слов-вокабул, составляют разные статьи в отличие от ФЕ, возникших на основе полисемии слова, которые даны в одной статье. Однако это разделение не всегда четко выдерживается. Например, ФЕ с омонимами *chiasso* «шум» (от лат. *classum*, *conclassare* «кричать, шуметь») и *chiasso* «улочка» (от лат. *classis* «деление, |разделение») образуют одну статью. 2) Не представлена в словаре ФЕ *neppure un acca* «ровным счетом ничего»); 3) ФЕ *levarsi un bruscolo dagli occhi* «ясно увидеть что-либо» помещена не по алфавиту. 4) Во вступительной статье не пояснено значение литерной нумерации.

В заключение следует сказать, что после выхода в свет итальянско-русского фразеологического словаря советская романистика располагает фундаментальными трудами по фразеографии двух языков — французского и итальянского. На очереди — создание аналогичных словарей испанского, португальского и румынского языков, с выпуском которых можно рассчитывать на создание материальной и теоретической базы для всесторонних типологических исследований фразеологии романских языков.

Кириллова Н. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кунин А. В.* Англо-русский фразеологический словарь. М., 1955.
2. *Бинович Л. Э.* Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1956.
3. Французско-русский фразеологический словарь. Под ред. Рецкера Я. И. М., 1963.
4. *Кошелев А. К., Леонидова М. А.* Болгарско-русский фразеологический словарь. Москва — София, 1974.
5. *Парастаев А. Ф., Солнцев В. М., Щербак А. М., Круглов Ю. Г.* О совершенствовании тематики кандидатских и докторских диссертаций по языкознанию.— ВЯ, 1982, № 6, с. 103.
6. *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981, с. 51.
7. *Черданцева Т. З.* Язык и его образы. Очерки по итальянской фразеологии. М., 1977, с. 33.
8. *Carbonell S.* Dizionario fraseologico completo italiano-spagnolo e spagnolo-italiano. Milano, I — 1957, II — 1964.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

19—21 февраля 1985 г. на восточном факультете ЛГУ состоялась научно-методическая конференция, посвященная сорокалетию воссоздания факультета (1944—1984). Работа конференции проходила в шести секциях — языковедческой (руководители — С. Н. Иванов, С. Е. Яхонтов), литературоведческой (руководители — А. Н. Болдырев, В. И. Балин), исторической (история, историография, историоведение; руководители — А. Д. Желтяков, Г. Я. Смолин), теории и методики преподавания языков и литератур Азии и Африки (руководитель — О. Б. Фролова), секции африканистики (руководители — чл.-корр. АН СССР, Д. А. Ольдерогге, А. А. Жуков) и истории востоковедения в Петербургском — Петроградском — Ленинградском университете (руководитель — А. А. Долинина). На открытии конференции с большим докладом «Восточный факультет, храня традиции, вступает в пятое послевоенное десятилетие» выступил декан факультета, чл.-корр. АН СССР, М. Н. Боголюбов. В работе конференции, помимо профессоров и преподавателей восточного факультета, принимали участие и выступили с докладами сотрудники филологического факультета ЛГУ, ЛО Института этнографии АН СССР, ЛО Института востоковедения АН СССР и ряда других научных учреждений Ленинграда и Москвы.

Тематика лингвистических докладов и сообщений, читавшихся на языковедческой секции и секции африканистики, охватывала широкий круг проблем, связанных с типологическим, сравнительно-историческим, ареальным и социолингвистическим исследованием языков Азии и Африки, изучением их фонетического и грамматического строя, лексикологии и лексикографии.

Общетипологические характеристики различных языков Азии и Африки в связи с конкретными проблемами их фонологии, грамматики и словообразования рассматривались в докладах В. Б. Касевича («Сингармонизм, морфонология и восприятие речи»), Д. А. Ольдерогге («О системах счета в африканских языках»), В. Г. Гузева («О категории аспектуальности в староанатолийско-тюркском языке»), Д. И. Еловкова («Морфонология кхмерского и тайского языков»), В. Г. Кондратьева («Тенденция к экономной аффиксации в турецком языке»), Л. В. Малыгиной («Из истории формирования словообразовательных типов имени деятеля в иврите»), В. Ф. Выдрина («О формах множественного числа имени в юго-западных языках манде»), В. А. Андреева («Творительный падеж в чувашском языке»), В. С. Панфилова («О вьетнамском словообразовании»), Е. М. Биктемировой («О звуковом строе языка суахили к моменту появления письменности») и др.

В. Б. Касевич, анализируя различные виды сингармонизма в тюркских и некоторых других языках, указал на тесную связь сингармонизма и агглютинизации. Относясь к сфере морфонологии, сингармонизм является одним из средств выражения «фонетической обеспеченности» словоформы, способствующей ее распознаванию в потоке речи (наряду с ударением, акцентным контуром и т. д.). По аналогии с синтаксическими средствами связи слов — компонентов словосочетания и предложения, сингармонизм может рассматриваться как своего рода «согласование морфем» (наряду с «управлением» и «примыканием», проявлением которых — соответственно — следует считать наличие или отсутствие морфонологических изменений на стыках двух соседних морфем).

В. Г. Гузев сформулировал и обосновал тезис о том, что тюркские сложно-вербальные формы с видовыми и акционсартовыми значениями составляют единую грамматическую категорию,— вопреки онтологическому различию, которое игнорируется языком. Докладчик подчеркнул необходимость дальнейшей разработки теоретических положений о «субъективном» характере видовых и «объективном» характере акционсартовых значений.

В докладе В. С. Панфилова на материале вьетнамского языка рассматривалась проблема конкретного содержания таких общелингвистических понятий, как «словообразование» и «словоизменение» в применении к языкам изолирующего типа и/или — языкам с высокоразвитым аналитизмом.

Целый ряд прочтенных на конференции докладов был связан с различными проблемами сравнительно-исторического и ареального изучения языков Азии и Африки. Доклад С. Е. Яхонтова «Язык гэлао» был посвящен вопросу о позиции, занимаемой языком гэлао (и родственными ему языками — лати, лакуа) в составе тайской языковой семьи, и об отношении этой группы к другим группам тайских языков (дун-шуйские, ли). Анализируя по составу «экологическую лексику» языков гэлао (в частности — этимоны «снег», «иней»), докладчик высказал свои сообра-

жения по поводу местонахождения прародины языков гэлао и тайских языков в целом. В докладе А. К. Оглоблина «К исторической морфологии малийско-яванских языков» обсуждались некоторые проблемы эволюции глагольной системы языков Западной Индонезии. В докладе Т. И. Оранской «Возможные пути образования номинатива (Некоторые процессы в индоиранских языках)» была сделана попытка — на основе анализа имеющих место в современных иранских и индоарийских языках процессов постепенной «грамматикализации» местоименных энклитик,— реконструировать аналогичные процессы в общеиндоевропейском праязыке, приведшие, в конечном итоге, к образованию показателя и.-е. номинатива (*-s). Сообщение Н. В. Гурова «Нахали, кусунда— малоизученные языки Южноазиатского ареала» было посвящено практически неизвестным в индийской ареальной лингвистике языкам Центральной Индии (нахали) и западного Непала (кусунда),— языкам, генетически не связанным ни с одной из распространенных в настоящее время в Южной Азии языковых семей. Характеризуя в общих чертах фонологическую систему и грамматический строй нахали и кусунда, докладчик указывал на то, что эти языки могут являться источником возникновения некоторых свойственных языкам Южноазиатского ареала процессов и явлений. В свете выдвинутой недавно сино-кавказской гипотезы (С. А. Старостин, С. А. Николаев) могли бы представить интерес отмеченные в докладе параллели между языком кусунда и енисейскими языками.

Сравнительно-историческая тематика затрагивалась также в прочитанных на секции африканистики докладах К. И. Поздняковa «Сравнительно-историческая фонетика языков атлантической группы» и Н. А. Добронравина «Хауса-сонгайские параллели».

Значительное место в докладах конференции заняли социолингвистические проблемы, проблемы языковых контактов и — шире — «языкового существования». Эти проблемы рассматривались в докладах Г. М. Демидовой «Объяснение двойной орфографии именного суффикса *-ay* в современном иврите», где описывался характерный случай влияния «условной» орфографии на произносительные нормы и словообразовательные модели; А. П. Векилова «К характеристике современной турецкой антропонимии», в котором автор подробно анализировал проявляющиеся в современном турецком обществе тенденции к выбору личных имен; В. П. Хабирова (Свердловск) «Некоторые черты грамматического строя креольских языков», М. Б. Шевякова «Английский язык в Гане» и др.

В докладе Н. Д. Численко внимание лингвистов-востоковедов было обращено на выявленные в ходе работы докладчика над европейской латиноязычной литературой XVI—XVIII вв. неизвестные источники по грамматике и лексикологии языков Ближнего и Дальнего Востока. Эти источники (грамматические очерки, словари, глоссарии, разговорники) содержат ценные материалы по арабскому, персидскому, сирийскому, турецкому, китайскому, вьетнамскому и др. языкам.

Проблематика современной восточной лексикографии (в частности — способы передачи не существующих в социальном быту страны реалий и понятий в словарях двуязычного типа) явилась темой доклада Я. П. Сикстулиса «Арабская безэквивалентная лексика в арабско-русских словарях».

На заседании теоретико-методической секции был заслушан доклад В. Б. Касевича «Грамматика теоретическая и грамматика дидактическая».

На заключительном пленарном заседании с докладом «К различению методики и методологии грамматических исследований» выступил заведующий кафедрой тюркской филологии С. Н. Иванов.

Гуров Н. В. (Ленинград)

18—20 сентября 1984 г. в г. Череповце проходило координационное совещание «Совершенствование преподавания общелингвистических дисциплин в педагогических институтах РСФСР», организованное Министерством просвещения РСФСР и Череповецким государственным педагогическим институтом им. А. В. Луначарского. В совещании приняли участие представители педагогических вузов РСФСР и некоторых университетов. Доклады и сообщения были посвящены как теоретическим проблемам общего языкознания, так и вопросам методики преподавания общелингвистических дисциплин. П. В. Чесноков (Таганрог) в докладе «О соотношении мыслительного и речевого процессов с точки зрения единства языка и мышления» обратился к психофизиологическим экспериментальным данным, свидетельствующим о невербальном характере идеального содержания, выступающего в качестве замысла следующего за ним речевого высказывания. В докладе «Диалектическое единство формы и содержания в языке» В. В. Бабайцева (Москва) показала, что содержание и форма существуют в единстве и взаимообусловливают друг друга, а также обратила внимание на тот факт, что в работах современных философов и лингвистов вопрос о соотношении формы и содержания дополнен выяснением соотношения между структурой и функцией. На этом же заседании был прослушан доклад В. В. Щеулина (Липецк) «Советское языкознание как качественно новый этап в науке о языке». Проблемам прагматической лингвистики был посвящен доклад В. Я. Мыркина (Архангельск). С сообщением о знаковости фразеологических единиц выступил Р. Н. Попов (Орел).

Вопросам социолингвистики посвятил свое сообщение В. Е. Ушаков (Чебоксары). «О понятии функциональной парадигмы в морфологии» — такова тема сообщения Л. Г. Яцкевич (Гомель).

На последующих заседаниях был прослушан целый ряд разнообразных по тематике докладов. Е. Б. Артеменко (Воронеж) в докладе «Текст в его соотношении с языком и речью» определила статус текста как одного из аспектов речи и показала его роль в обнаружении онтологических свойств языка и речи. В докладе Г. И. Тираспольского (Сыктывкар) «Коммуникативная грамматика Ч. Филлмора и качественная определенность языковых единиц» освещались основные положения «грамматики падежей», которая подвергается критическому анализу. На актуальность изучения основных проблем фонологии обратил внимание В. Г. Руделев (Тамбов). Проблемы семантической типологии в языке обсуждались в докладе И. Г. Куликовой (Ленинград). Вопросы взаимосвязи общего и конкретного языкознания затронула в своем выступлении З. И. Керашева (Майкоп).

Ряд докладов и сообщений был посвящен проблемам преподавания общелингвистических дисциплин в вузах. М. В. Черепанов (Саратов) выступил с докладом «Лингвистическая теория и метод в аспекте формирования профессиональной культуры учителя». Роли общелингвистических дисциплин в профессиональной подготовке учителя посвятил свой доклад Л. Я. Маловицкий (Череповец). В докладе «Методика организации лекционного курса по общему языкознанию» А. Т. Хроленко (Курск) осветил вопросы планирования учебного курса, отбора теоретического и иллюстративного материала, усиления идеологического и воспитательного воздействия на занятиях по общелингвистическим дисциплинам. В. К. Харченко (Белгород) подчеркнула роль межпредметных учебных проблем для активизации межпредметных связей преподавания в условиях высшей школы. В. Ф. Иванова (Ленинград) затронула вопросы теории письма в вузовских учебниках по языкознанию.

Важность разработки и проведения практических занятий по курсу «Введение в языкознание» и «Общее языкознание» была подчеркнута в сообщениях Р. Л. Смулаковской (Череповец) и Д. В. Салминой (Ленинград). Были прослушаны выступления Т. Г. Пономаренко (Ленинград), Е. М. Кубарева (Куйбышев), Ю. Я. Бурмистровича (Абакан).

Интерес у участников совещания вызвало заседание «круглого стола». В. Д. Бондалетов (Пенза) в своем выступлении «Новая научная и учебная литература по общелингвистическим дисциплинам» дал характеристику научных публикаций в СССР и за рубежом, проанализировал действующие программы по «Введению в языкознание», «Общему языкознанию», «Истории лингвистических учений», учебники и учебные пособия. Докладчик внес предложения по усовершенствованию учебного комплекса по дисциплинам общелингвистического цикла. Новая программа и новый учебник по курсу «Введение в языкознание» были в центре доклада В. И. Кодухова (Ленинград). Г. В. Карпюк, старший редактор издательства «Просвещение», рассказал о новых изданиях по языкознанию, которые готовятся к выпуску. В заключение была принята резолюция координационного совещания. Участники совещания признали, что состоявшийся обмен мнениями будет способствовать повышению научного и методического уровня преподавания общелингвистических дисциплин.

Кодухов В. И. (Ленинград)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1985 Г.

СТАТЬИ

Арутюнова Н. Д. Об объекте общей оценки 3
Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды 1
Гак В. Г. К эволюции способов речевой номинации 4
Гухман М. М. Понятийные категории, языковые универсалии и типология 3
Денисов П. Н. Словарь языка В. И. Ленина как новый тип словаря . . . 1
Десницкая А. В. Я. Гримм о структурных функциях вокалических чередований (К 200-летию со дня рождения) 6
Краус И. Языковая ситуация в странах развитого социализма и проблемы культуры языка 1
Пиотровский Р. Г. Лингвистические уроки машинного перевода . . . 4
Серебренников Б. А. Существовала ли финно-волжская языковая общность? 2
Степанов Ю. С. Герундивы и имена действия в древнейшем строе индоевропейского предложения 6
Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. V—VI . . . . . 4—5
Фрумкина Р. М. Смысл и сходство 2
Храпченко М. Б. Текст и его свойства 2
Швейцер А. Д. Социолингвистические основы теории перевода 5

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абаев В. И. Parerga 1. «Синее вино» в «Слове о полку Игореве»; Русский гидро-, топоним *Орша* 6
Адмони В. Г. Грамматика и текст 1
Адрадос Фр. Р. Индоевропейский, славянский, болгарский (Типологические заметки) 1
Александрова О. В. Некоторые вопросы логики, методологии и философии языка 6
Андрющенко В. М. Машинный фонд русского языка: постановка задачи и практические шаги 2
Баскаков Н. А. Части речи и их функциональные формы в тюркских языках 1
Береговская Э. М. Проблема исследования зевгмы как риторической фигуры 5
Бирнбаум Х. О двух основных направлениях в языковом развитии . . . 2
Боголюбов М. Н. Хорезмийские календарные глоссы в «Хронологии» Бируни. I—II 1, 6
Вахтин Н. Б. Некоторые особенности русско-алеутского двуязычия на Командорских островах 5
Вернер Г. К. Енисейское языкознание: результаты и перспективы . . . 3
Гигинейшвили Б. К. К проблеме достоверности реконструкции . . . 2
Говердовский В. И. Диалектика коннотации и денотации (взаимодействие эмоционального и рационального в лексике) 2
Гюльмагомедов А. Г. Роль русского языка в активизации некоторых процессов в лезгинском литературном языке 5
Дашкевич Я. Р. Codex Cumanicus — вопросы возникновения 4
Ершов А. Н. Машинный фонд русского языка (внешняя постановка вопроса) 2
Жеребков В. А. Коммуникативная модель как комплексный метазнак . 6
Кононенко В. И. Функционирование русского языка на Украине 5
Кортландт Ф. Праиндоевропейские глоттализованные смычные (сравнительно-исторические данные) 4
Куркина Л. В. Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы 4
Лукин В. А. Некоторые проблемы и перспективы компонентного анализа . . 3
Луценко Н. А. Вид и время (Проблемы разграничения и взаимодействия) 2
Майрхофер М. Лингвистические результаты изучения Персепольской надписи Ксеркса, полученные со времени ее открытия в 1967 г. 3
Маковский М. М. Проблема лингвистической комбинаторики 3
Мартынов В. В. Глоттогенез славян. Опыт верификации в компаративистике 6
Ониани А. Л. О грамматической категории класса в картвельских языках 3

Панфилов В. С. Вьетнамская морфемика 4
Реснина Т. А. Лингвистические аспекты изучения художественного текста в трудах В. Ф. Шишмарева по истории литературы (К 110-летию со дня рождения) 5
Рогожникова Р. П. Машинный фонд русского языка и словарное дело 4
Сиваак Д. Л. Лингвистика измененных состояний сознания: проблемы и перспективы 1
Филичева Н. И. Языковая общность как лингвистическое понятие . . 6
Шагиров А. К., Дзидзария О. П. К проблеме индоарийских (праиндийских) лексических заимствований в северокавказских языках 1
Шмальштиг У. Р. Эргативность в индоевропейских конструкциях со сказуемым в форме аориста медия 6

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Биткеев П. Ц. Проблема долготности в фонологической системе ойратского языка 5
Бланар В. Лексикология лексикографии 3
Бондарчук Н. С., Кузнецова Р. Д. «Словарь русского языка XI—XVIII вв.» и его значение для изучения истории русского языка . . . 1
Булыко А. Н. Иноязычная лексика в историческом словаре белорусского языка 3
Волков С. С. Общерусские и региональные исторические словари как база для исторической лексикологии русского языка 5
Воркачев С. Г. О некоторых модальных операторах (значение безразличия в испанском языке) 1
Джусти-Фичи Ф. Опыт анализа чужой речи в сопоставительном плане (На материале «Двойника» Ф. М. Достоевского и его переводов) 2
Дмитровская М. А. Механизмы понимания и употребления глагола *понимать* 3
Кобозева И. М. О границах и внутренней стратификации семантического класса глаголов речи 6
Кожевникова Н. А. О соотношении типов повествования в художественных текстах 4
Кожин А. Н. Новые явления в русском языке периода Великой Отечественной войны 6
Козырев В. А. Сопоставление исторического и диалектного словарей . . 3
Колесов В. В. Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке 2
Кутина Л. Л. Элементы этимологического анализа в словаре исторического типа 5
Лашкарбеков Б. Б. Становление системы ваханского глагола на трех стадиях языкового развития 1
Логачева Е. П. О прототипах грамматических терминов в «Органоне» Аристотеля 5
Мейланова У. А. О терминологии свойства в языках лезгинской группы (Опыт сравнительно-исторического анализа) 2
Михайловская Н. Г. Лексика языков народов СССР в современных толковых словарях русского языка 7
Нгуен Куанг Хонг. Общий принцип и разные подходы к выделению основных единиц языка (Опыт сопоставительного изучения европейской и китайской лингвистических традиций) 1
Нгуен Куанг Хонг. Рифмы поэтической речи и фонологический анализ слога 2
Оглоблин А. К. Диахрония и морфонология малайско-яванских языков . 3
Онипенко Н. К. О субъективной перспективе каузативных конструкций 2
Откупщиков Ю. В. Об индоевропейском происхождении лат. *vinum* др.-греч. (ϝ)οἶνος «вино» 4
Судаков Г. В. Лексические диалектизмы и диалектные объединения языка Московской Руси 5
Тураева З. Я., Биренбаум Я. Г. Некоторые особенности категории количества (На материале английского языка) 4
Холодов Н. Н. Проблема отношений аналогичности и неаналогичности в синтаксисе 5
Чарекова С. Л. Об эволюции агглютинативных суффиксов (На материале эвенкийского и бурятского языков) 2
Шведа В. И. Словообразование и текстообразование (На материале современного немецкого языка) 4
Шимчук Э. К. О процессах архаизации лексики русского языка XI—XVII вв. 6
Шульга М. В. К интерпретации падежной омонимии в русском склонении 2

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Первый зарубежный отзыв на «Словарь Академии Российской» (1789—179[illegible] . 6

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Исаев М. И., Токазов Х. А. Осетинское языкознание: становление и задачи 6
Кюннап А. Исследование самодийских языков (1975—1984) 4
Пшеничнова Н. Н. Русская диалектология: итоги и перспективы . . . 6

Рецензии

Белкин В. М. Lehrbuch des modernen Arabisch. 6
Березин Ф. М., Ромашко С. А. *Szemerényi O.* Richtungen der moderner Sprachwissenschaft 3
Богачев Ю. П. Современный русский литературный язык 3
Булатова Л. П. *Кузьмина С. М.* Теория русской орфографии. Орфография в ее отношении к фонетике и фонологии 4
Верещагин Е. М. *Kantor M.* Medieval Slavic Lives of Saints and Princes 3
Гаспаров М. Л. *Григорьев В. П.* Грамматика идиостиля. В. Хлебников 3
Десницкая А. В., Домашнев А. И. *Brang P., Zullig M.* Kommentierte Bibliographie zur slavischen Sociolinguistik 1
Ефимов А. Ю. *Svantesson J.-O.* Kammu phonology and morphology . . . 5
Жовтобрюх М. А. Історія української мови. Лексика і фразеологія . . 2
Журковский Б. В. *Воронин С. В.* Основы фоносемантики 6
Кириллова Н. Н. *Черданцева Т. З., Рецкер Я. И., Зорько Г. Ф.* Итальянско-русский фразеологический словарь 6
Климов Г. А. *Schanidze A.* Altgeorgisches Elementarbuch 1
Кодухов В. И. *Шадури Т. Н.* Общее языкознание 5
Козинский И. Ш. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) 5
Колесов В. В. *Булаховський Л. А.* Вибрані праці в п'яти томах 1
Королева А. А., Слюсарева Н. А. *Десницкая А. В.* Сравнительное языкознание и история языков 4
Кривоносов А. Т. *Бондаренко В. Н.* Отрицание как логико-грамматическая категория 5
Крысин Л. П., Тресков С. И. *Швейцер А. Д.* Социальная дифференциация английского языка в США 1
Луценко Н. А. *Гловинская М. Я.* Семантические типы противопоставлений русского глагола 1
Манасян Н. С. *Казарян Б. К.* Частотный словарь современного армянского языка 4
Мартынов В. В. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) 3
Николаева Т. М. *Гухман М. М.* Историческая типология и проблема диахронических констант 1
Преображенская М. Н. Історія української мови. Синтаксис 2
Пюрбеев Г. Ц., Наранчимэг Ш. *Дамдинсурэн Ц., Лувсандэндэв А.* Орос-монгол толь 2
Садчикова П. В. *Марчук Ю. Н.* Проблемы машинного перевода . . . 1
Толстой Н. И. Lakavisch-deutsches Lexicon 5
Чекмонас В. Н. *Мартынов В. В.* Язык в пространстве и времени. К проблеме глоттогенеза славян 6
Чешко Е. В. Апракос Мстислава Великого 2
Щербак А. М., Галимова Г. А., Хакимзянов Ф. С. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда 6
Юдакин А. П. Filozoficko-metodologické problémy filologick ch věd . . . 2

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . . 1—6

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3— 5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ — Български език
ВДИ — Вестник древней истории
ВИ — Вопросы истории
ВСЯ — Вопросы слаянского языкознания
ВФ — Вопросы философии
ВЯ — Вопросы языкознания
ЕИКЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ — Иностранные языки в школе
РЯНШ — Русский язык в нац. школе
РЯШ — Русский язык в школе
СбНУ — Сборник за народни умотворения
СТ — Советская тюркология
ФН — Доклады высшей школы, Филологические науки
ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh — Archiv für slavische Philologie
AGI — Archivio glottologico Italiano
AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL — Acta linguistica
AmA — American anthropologist
ANF — Arkiv för nordick filologi
AO — Archiv orientalni
APAW — Aphandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist.Klasse
BCLC — Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ — Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS — Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf — Beiträge zur Namenforschung
CAJ — Central Asiatic Journal
CFS — Cahiers F. de Saussure
CJ — The classical journal
FPhon — Folia phoniatrica
FuF — Finnisch-ugrische Forschungen
HR — Hispanic review
IF — Indogermanische Forschungen
IIJ — Indo-Iranian journal
IJAL — International journal of American linguistics
JA — Journal asiatique
JASA — Journal of the Acoustical society of America
JEGPh — Journal of English and Germanic philology
JP — Język polski
JRAS — Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu — Journ. de la Société finno-ougrienne
JФ — Јужнословенски филолог
KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
LM — Les langues modernes
MM — Maal og minne
MSFOu — Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP — Mémoires de la Société de linguistique de Paris
MSOS — Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin

NSS — Nysvenska studier
NTS — Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA — Publications of the Modern Language Assotiation of America
RES — The Review of English studies
REG — Revue des études grecques
RES! — Revue des études slaves
RF — Romanische Forschungen
RKJL — Rozprawy Komisji j,zykowej Lodźk. t-wa naukowego
RKJW — Rozprawy Komisji językowej Wraclawsk. t-wa naukiwego
RLR — Revue de linguistique romane
RO — Rocznik orientalistyczny
RP — Revista de Portugal. Serie A: Lingua portuguesa
RS — Rocznik slawisticzny
SaS — Slovo a slovesnost
SDAW — Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse für Sprachen Literatur und Kunst
SFL — Studi di filologia italiana
SMS — Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu historiu
SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO — Studia orientalia
SWAW — Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA — Traduction automatique
TCLC — Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP — Travaux du Cercle linguistuque de Prague
TIL — Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS — Transactions of the Philological society
UAJb — Ural-Altaische Jahrbücher
UJB — Ungarische Jahrbücher
VR — Vox Romanica
WW — Wirkendes Wort
ZAS — Zentralasiatische Studien
ZCPh — Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA — Zeitschrift für Deutsches Altertum
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh — Zeitschrift für deutsche Philologie
ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH — Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL — Zeitschrift für Slavistik
ZSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for reveiw. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour ctitique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Woprosy Jazyoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrifte entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrucke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

CONTENTS

Articles: Desnickaja A. V. (Leningrad). Jacob Grimm's views on the structural functions of vowel gradations; Stepanov Ju. S. (Moscow). Gerundives and nomina actionis in Indo-European sentence; **Discussions:** Schmalstieg W. R. (Pennsylvania, USA). The ergative syntax of the Indo-European middle aorist; Bogoljubov M. N. (Leningrad). Khwarezmian calender glosses in the «Chronology» of Birūni. II; Abaev V. I. (Moscow). Parerga I. «Blue wine» in «The Igor Tale»; The Russian hydro-toponym *Orša*; Martynov V. V. (Minsk). Glottogenesis of the Slavs. A tentative study on verification in comparative linguistics; Filičeva N. I. (Moscow). On the notion of linguistic community; Žerebkov V. A. (Moscow). The communicative model as a complex metalanguage; Aleksandrova O. V. (Moscow). Some problems of logics, methodology and philosophy of language; **Materials and notes:** Kožin A. N. (Moscow). New phenomena in the Russian language during the Great Patriotic War; Simčuk E. G. (Moscow). Archaization of the word-stock of the Russian literary language in the XI—XVII centuries; Kobozeva I. M. (Moscow). The limits and inner stratification of the semantic class of verbs of speech; **From the history of science:** The first foreign review of «The dictionary of the Academia Rossica» (1789—1794); **Surveys; Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: D e s n i c k a j a A. V. (Léningrad). Jacob Grimm et sa conception des fonctions structurelles des mutations vocaliques; S t e p a n o v Ju. S. (Moscou). Les gérondifs et les noms d'action dans la phrase indo-européenne; **Discussions:** S c h m a l s t i e g W. R. (Pennsylvania, EUA). Syntaxe ergative de l'aorist moyen en indo-européen; B o g o l j u b o v M. N. (Léningrad). Gloses khwarezmiennes dans le calendrier de «Chronologie» de Birouni. II; A b a e v V. I. (Moscou). Parerga I. «Le vin bleu» dans «Le Dit du régiment d'Igor»; L'hydro-toponyme russe *Orša*; M a r t y n o v V. V. (Minsk). Glottogénèse des slaves. Étude sur la verification dans la linguistique comparée; F i l i č e v a N. I. (Moscou). Sur la notion de communauté linguistique; Ž e r e b k o v V. A. (Moscou). Modéle communicatif en tant que métalangue complexe; A l e k s a n d r o v a O. V. (Moscou). Quelques problèmes de logique, méthodologie et philosophie de la langue; **Matériaux et notices:** K o ž i n A. N. (Moscou). Phénomènes nouveaux dans la langue russe pendant la Grande Guerre Patriotique; S i m č u k E. G. (Moscou). Archaization du vocabulaire de la langue russe littéraire de XI—XVII siècles; K o b o z e v a I. M. (Moscou). Limites et stratification interne des verbes de la parole; **De l'histoire de la science:** Le premier compte rendu étranger du «Dictionnaire d'Academia Rossica» (1789—1794); **Revues; Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.08.85 Подписано к печати 28.10.85 Т-16776 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 81,5 тыс. Уч.-изд. л. 17,2 Бум. л. 5,0
Тираж 5751 экз. Зак. 1735

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6